

Таисья Пьянкова

Берегиня



Поклон тебе
моя тайная
ты для меня
и маинка со рна потрение
и поворарь.

Мер



Тайся Пьянкова

Берегня



ББК 84Р7-4
П 96

Пьянкова Т. Е.

П 96 Берегиня. – Новосибирск: ООО «Сибирское книжное издательство», 2013. – 280 с., илл.

ISBN 978-5-904795-53-5

Книга известной сибирской писательницы Таисьи Пьянковой «Берегиня» знакомит читателя с культурными традициями и бытом русского населения Сибири. В произведениях Т. Пьянковой присутствует то сказовое начало, которое определяется понятием «культура языка». Её сказы отличает сознательная ориентация на народно-поэтическое творчество со всеми определяющими произведения фольклора элементами: использование мотивов народных поверий, запевки, прибаутки, временно-географические зачины, использование этнографического материала.

© Пьянкова Т. Е., 2013

© Лазарева Л. П., 2013

ОТ АВТОРА

Перефразируя английскую пословицу, скажу: нет плохих сюжетов, есть плохой язык. По несколько раз на дню, и вольно, и невольно, я вспоминаю бабушку мою, царство ей небесное, Баранову Елизавету Ивановну. Она без мудрого слова народного и гостя не встречала, и солнца не провожала. Не зря, видно, добрые знакомцы зачастую её, малограмотную, именовали профессором; недобрые судили о ней – книжница голозадая. И, действительно, в доме её серьёзному вору взять было нечего, кроме книг. На этот счёт бабушка часто говаривала: исполнением дел праведных не наживёшь палат каменных. Иной раз добавляла: не будешь богат, а будешь горбат. Однако же чувства самоуважения и гордой совестливости она не теряла никогда. Кроме того, она имела талант слышать русское слово и пользоваться им сполна.

Я от родителей своих осталась крохою. В доме Елизаветы Ивановны, помимо меня с сестрою, после многих кряду смертей, сохранилось ещё шесть человек. Я – самая младшая. Кто на работе, кто на учёбе. При хозяйстве обычно суетились бабушка да я. Суетилась-то бабушка, я же при ней присутствовала в посильных собеседниках. За делами она любила рассуждать о людях, о совести, о высших силах.

– Бог есть слово и слово есть Бог! – слышала я часто от неё. – Не на небе, в душе всякого человека жив Господь! – уверяла она меня.

Я была частым свидетелем её бесед со своим Богом, с которым она говорила на равных. Порой она и меня вовлекала в эту компанию. Бабушка не щебетала со мною; каждое ответное слово моё обязано было попадать в цель.

Очень скоро я поняла, что попадание это, хотя и достаётся мне с великим трудом, наполняет меня многодумьем и ответственностью за высказанное слово.

Пустословья и краснобайства бабушка моя не терпела. При ней, помнится, ни одна соседка не позволяла себе по чьему-либо адресу зряшное замечание.

При всём при этом в доме нашем часто собирался народ. Выдумщица и песельница, бабушка привлекала к себе людей умением делать всё. Могла она и шелками шить, и с одного удара завалить кабана.

Маленькая, сильная, проворная, умная и строгая, она отвечала за всякое действие и слово своё.

В шесть лет перенять мелодию речевого склада, осознать неповторимость родимого языка – это ли не подарок, данный мне судьбою на всю мою многотрудную жизнь.

Мне повезло сполна перенять от моей прародительницы умение слушать, слышать и сдерживать в себе ёмкое слово.

Скоро мне пришлось оказаться на людях, которые тут же зачислили меня в разряд недоумков. В ранней юности моей среди сверстников ходила даже такая приговорка: на чох желали – будь здорова, не будь бестолкова, как Тая Пьянкова.

Редко, но встречались на моём пути и такие люди, которые понимали, что живу я в каком-то изначальном мире – в мире чистого и честного слова. В нём нельзя быть понимаемой с ходу, поскольку там невозможно не мечтать, не фантазировать.

Случалось, в моё обиталище врывались особи со словами искалеченными либо пересолёнными, но хуже того, дистиллированными. Вот тогда-то я становилась, как мне говорили, невыносимой, даже озлобленной. Человек, посягнувший на мою святыню, навсегда оставался моим неприятелем. Люди с выхолощенной, бравурной либо щегольской речью также не были мной уважаемы. Зато каким праздником становилось для меня редкое общение с людьми родниковыми, теми, кому и в голову не приходила мысль о словоблудии.

Особенно я, городская, чувствовала отраду, когда мне приходилось бывать в деревнях. Я воскресала засмурневшей душою. Восторг и удивление завладевали мною: жив язык мой, жив родимый! Во мне торжествовала уверенность: нет же, не подменили его пустозвоны парадными восторгами и убеждённостью вокзального диктора. Помимо воли моей во мне шло накопление этого удивления. И когда натура моя переполнилась обрётённым, пришла боязнь утраты мною нажитого. И я взяла в руки перо сказителя.

Поначалу я торопилась как бы законсервировать оценённое. Но с годами поняла, что родник слова русского неиссякаем, что пронизана кровь моя родовой памятью. Однако накапливание шло слишком долго, теперь меня не оставляет беспокойство – успею ли изложиться до предела? И ещё не отпускает страх: заслуживает ли моя работа того, чтобы отнимать у людей самое дорогое – время?

Таисья ПЬЯНКОВА

СОБОЛЁК-КОРОЛЁК



Раньше частенько приходилось слышать, как семейного кормильца отрывали от дома. В рекруты ли забреют, за малую ли вину упекут в казённые работы. С купеческого извозу, случилось, не вертались мужички. Тогда семье один конец – пропадай!

Мыкается-мыкается бабёнка с голодными ребятишками, покуда Господь её к себе не возьмёт, и останутся гнездовики желторотые у жизни под ногами...

Может, люди бы и рады разобрать их по своим семьям, да чтобы чужому дитёнку дать хлеба кусок, надо было своего по миру посылать.

Всякое случалось: и с голоду помирали сироты, и живьём замерзали на зимних дорогах, и за малую кроху покорствовали перед всякой человеческой поганью...

Спасение от сиротства было чуду подобно.

Вот и хотелось бы порадовать добрых людей таким чудом, хотя и осознать нельзя, как могло обернуться настоящим придуманное счастье.

Остались в одной деревне трое ребят безо всякой опоры. Мать ихняя померла последними родами. Не минуло и шести лет, как отца, Михея Пораева, приходской поп батюшка Калистрат спровадил в уезд искать бедняцкую правду. Да где ж было суметь нетёсаному, сучковатому бревну переплыть земскую бумажную реку? И Михей не то на мелководе застрял, не то угодил в самую стремнину. Ещё до Лукерьи-комарницы¹ как ушёл Михей со двора, так уж и бабье лето на носу, а о нём ни слуху ни духу...

Ведь за что привязался к Михею батюшка Калистрат? За то, что как-то попёнка полоснул мужик крепкой вожжей. Тот, дурак, Михееву первенку, девчонку лет двенадцати, столкнул с мостков в ещё ледяную воду и выйти на берег не даёт.

Этому поповскому обалдую никакое другое занятие не приставало, кроме как изгаляться над заботами простых людей.

Батюшка Калистрат куда только ни отсылал своего недопарка ума набираться. И в гимназию старался спихнуть, и в какие-то корпуса добивался. Однако порченное зёрнышко – хоть в райские кущи. Ему, сказывали, долбят про римского владыку, а он, что сытый мерин, знай ржёт да гарцует. Любою оказией, с приписками да сожалениями, присылали попёнка обратно.

В сердцах, бывало, батюшка Калистрат нагвоздит ему встречных, прополощет до рёву наставлениями; матушка попадья рыло слюнявое выкормышу своему подотрёт да и прогонит с глаз долой. Он и пошёл по деревне вытворять, что ему заблагорассудится. Силища-то в нём выдула – ломы гнуть, а укороту никакого.

Парней деревенских попёнок задирать боялся: они бы поговорили с ним по душам – то по шапке, то по ушам. Девчат, у которых братья в бороду пошли, али тех, что успели ухажёрами обзавестись, тоже огибал. Что же перед безбрательными полудевками – выкобенивался, хоть плюнь, хоть разотри...

Те, как могли, остерегались его, а Михеевой девчонке и в голову не западала ещё осторожность-то. Делает и делает свои дела, суетится, не прячется. То на речку – бельё полоскать, то гусят в низине собрать, то по черемшу раннюю пробежаться. Мало ли что?

Вот поповский остолоп, увидевши её на мостках, взял да и выкатал в весенней грязи стиранные рубахи. В обиде она и замахнись на

¹Лукерья-комарница – 26 мая. День святой Гликерии.

него вальком – и тут же в воде оказалась. А Михей Пораев как раз шёл от заречной слободы с вожжою в руках и всё это видел. Так полоснул недоросля, ажно вожжа вокруг обвилась!

Но где пекло, там и чёрт...

На ту беду у батюшки Калистрата гостевал заезжий лекарь. Долго смотрел он слепыми глазами в расписанный Михеем остолопов зад, щупал красный рубец, а потом составил бумагу и велел Михею явиться в земскую управу.

Ушёл мужик и пропал с концом. Видно, у земских губошлёпов лысые головы без подарков не соображали. А где Михею Пораеву столько денег взять, чтобы им всем ума подсыпать? Вот они с самой весны усталились на мужика бесстыжими глазами и сидят. А время идёт!

Девчоночка Михеева замаялась с ребятишками. Да хозяйство ещё – тоже рук просит. Как-никак, семья жила не с чужого стола. Овечки, куры, лошадёнка... Они же землю глодать не станут. Соседи уж и так... И сена им тайком от отца Калистрата поставили, и подкармливали ребятишек, чем могли. Но ведь своих рук им не отдашь?

Особенно с маленькими была забота: пошлёт сестра братьев за реку, травы нарвать ягнятам, глядишь – заигрались. Не то про траву, про день забыли. Она их найдёт с горем пополам, исполосует заднушки хворостиною, сядет да ревёт вместе с ними. А вспомнит, как хорошо ей жилось с отцом-матерью, и вовсе ульёт слезами весь передник.

Когда Пораиха была жива, она дочку всё Малиновкой называла. За матерью и вся деревня повторяла то же самое. Девчоночка и правда была схожа с малиновкой: пела она при матери, не переставая. А то примется выдумывать разные небылицы. Деревенские ребята были готовы её слушать до зари. Вот и собирает всякое, и придумывает. Вроде чепуху говорит, а прислушаться – и большому трудно отойти.

После того, как мать померла, не столь часто, но всё же садилась Малиновка сказывать свои выдумки. Когда же Михея отослали в уезд, забыла девчоночка сказки. Ко всем бедам, поповский недопарок во все распоясался – ещё черти в кулачки не бьются, а уж он у Пораева двора крапиву топчет. Грозится Малиновке, что Михея никогда домой не отпустят.

Одно спасение у сироты: собачонка во дворе. Такая умница! Понимает, что хозяйке частый гость не по нутру, всё норовит повиснуть на его суконных штанах. Скоро собачонке попович понравился так, что, на краю деревни завидя, нахлёстом шла, будто волк на кабана.

– Это что же творится в твоём приходе? – стала долбить попадья отца Калистрата в куриную грудь. – До коих пор собаки будут коман-

довать поповскими сыновьями? Запомни у меня: всучу я тебе ко- чергу – будешь мне по деревне ходить, сына от собак отбивать.

Спорить с попадьёю отцу Калистрату грешно – стал Малиновку страшать:

– Посади собаку на цепь! Не то придётся из-за тебя Божью тварь погубить.

Что оставалось Малиновке делать – хоть из дома беги. Один раз подумалось так, другой раз помыслилось, и засобиравлась девчоночка в город, батюшку выручать.

– А что? – одобрили соседи её намерение. – Пусть поглядят в управе, кого они осиротили. А о хозяйстве не думай – доглядим.

«Ну, а ежели счастье нам навстречу не пойдёт, – собирая утром братьев, думала Малиновка, – так, может, лёгкая смерть догонит».

Просёлочной дорогой девчоночка пойти побоялась – кабы поповский недоумок не догнал, пошла таёжной тропинкой.

Неуспаннные ребятишки сперва квазились, а потом ничего – разгулялись, принялись по кустам бегать, дурачиться. Малиновка же, заботой измаянная, идёт и не видит ни униженных росным бисером паучьих тенёт, ни всполохов ягод спелой рябины... Грустной думою затуманило ей глаза: что, как не найдёт она в городе отца? Тогда хоть выбирай в тайге сосёнку да карабкайся с верёвкой до первого сучка... А братья?!

В страхе глянула Малиновка на высокое дерево и замерла от удивления: на сосновой ближней веточке белый соболёк устроился, выстелил по ветке хвост и, головёнку свесивши, смотрит на ребят. Глазами с Малиновкой встретился, фыркнул озорно, хвост задрал и пошёл по стволу. С высокой маковки ещё раз фыркнул и пропал в густоте хвои.

У девчоночки вроде потеплее на душе стало, как-то надёжней. Заторопила она братьев. Но как ни подгоняла их Малиновка, а время настигло её в лесу. Братья приустать успели, закусились, запыхтели. И опять легла печаль на маленькое сердечко.

Шумнуть бы Малиновке на ребят – отпугнуть громким голосом заботу. Да только горя громким голосом не испугаешь.

Тогда Малиновка вспомнила, как, бывало, сказывала она небылицы деревенским мальчикам, как самые озорные из них становились тихими и послушными.

Вот и запела она ласковым голосом:



Всё идём-ка мы идём
по кусточкам-ельничку,
по тропинке мягонькой,
по дорожке заячьей.
А кто по лесу густому
ходит тихонько,
тот придёт-попадёт
к тётке Дрёмушке.
К тётке Дрёмушке
да ко Сну-Дядюшке.
Они ласковы, приветливы,
понятливы.
До ребяток-сироток
они добрые.
И накормят, и напоят,
в баньке выпарят.
И уложат, и споют
колыбельную:
«Как во том во бору
стоит дом-изба.
Стоит дом-изба
всё дубовая.
Слюдяны оконца в ней
переливчаты,
на конёчке – петушок
Золото Перо!
Припеваючи живёт
в той избе медведь
со своею косолапой,
со медведицей.
С ними детушки –
косматы медвежатушки.
Серый волк при них
игривее козлёночка,
рысь глазастая
им сказки всё мурлыкает...
Забегает к ним порой
зверь невиданный!
Весь он изголуба-бел,
будто первый снег.
А во лбу его звезда
о семи лучах.

Он хитрее шута,
добрей глупого.
Соболёк-королёк
прозывается.
Что тот редкостный зверь
заговорённый.
Заговорённый он,
заколдованный!
Кому сам со звездой
покажется,
знай, заветное желанье
исполнится!
На всю долгую жизнь
будет счастлив тот
всё простым
человеческим счастьем:
ни хозяин лесной
не сомнёт его,
не обидит вовек
ни судья, ни поп...

Заслушались братья Малиновку, идут, рты разинули. Вот уж и позднота стала цепляться им за пятки тенями густых ёлок. Девчоночка шагает, собирает невесть что, а сама прикидывает: где бы ей ребятишек на ночь поудобнее в лесу пристроить?

Углядела сваленный годами старый кедр. Разлапистое корневище его шатром нависло над просторной ямой.

Оставалось только поверх корней накидать лапника да устелить дно ямы мягкой травой – и заходи живи хоть до самой зимы. Вот Малиновка с ребятишками и давай на скорую руку ночлег оборудовать.

Улеглись мальцы, как дома. Прикрыла их Малиновка своим головным платком и рядом села придумывать дальше ласковые небылицы. Скоро занялись курносые дремотой, губёнки распустили. Однако не умолкает Малиновка. Уж и не братьев она заговаривает – судьбу свою горькую заклиняет, чтобы не была такой скупой на её простое бедняцкое счастье. А ночь выдалась непомерно тёплая да лунная. В Сибири часто к Стратилатову дню¹, а то и от первого Спаса кумушка-непогодушка начинает крутой зиме квашню заваривать: то дождичком

¹ Стратилатопляк – 1 сентября.

польёт, то струганым ледком посыплет. Да так ли закрутит весёлкою северного ветра, что и прятаться не найдёшь куда.

А нынче какая благодать держится!

Только рябина в лесу да густые тенёты не дают забыть о скорой осени. Но не хочется думать в лунную погожую ночь, что на носу Федорин день¹, когда уйдёт всякое лето и нагрянут долгие нудные дожди. Разведут они по дорогам непролазную грязь. В тайге толстозадый топтыгин не вынесет Федориных проказ и полезет в тёплую берлогу, отведав прежде весёлых ягод крушины. Сползутся под трухлявые пни, переплетутся клубками полусонные змеи, и в ледяной тишине заснут белые мухи. Насядутся белые мухи стаями на могучие плечи сосен, сровняют в лесу пни да муравейники, и до самой весны только ветер залётный будет петь заснеженной тайге свою голодную волчью песню.

Сидит Малиновка под кедровым корневищем, слушает, как посвистывают носами братья, и покажись ей, что в лесу посветлело. Перед нею на таёжной еланке былинку всякую видать, даже ту, которую днём-то пройдёшь не заметишь.

И вот дрогнула на молодой ёлке ветка, будто её кто озорной сильно пригнул да разом и выпустил из пальцев. Видит Малиновка: с ёлочной хвои на густую траву скатился светлым клубочком зверёк небольшой и кольцами-петлями стал набегать поближе к валежному кедру. Посреди еланки остановился, шустрый, столбиком сел на хвост и огляделся – важный, что барин перед народом. Тут он углядел под корневищем девчоночку, мотнулся на ближний смородинный куст, качался на тонкой веточке, летом перемахнул на совсем близкий от Малиновки подъёлок, там прыгнул на сосну и व्यюном пошёл к самой её маковице.

«Ой! – узнала Малиновка. – Соболёк давешний».

– Ишь, белый! – радостно шумнула она наверх. – Спускайся сюда.

В ответ у неё в ногах хлопнулась сосновая шишка и отскочила в сторону. Другая ударилась о корневище и упала девчоночке прямо в подол.

– Озоруй мне! – засмеялась Малиновка и погрозила собольку пальцем, да подумала: «Должно, рядышком где-то гнездо, вот и прогоняет».

¹ Ф е д о р и н д е н ь – 24 сентября, конец лета.

Третья шишка угодила Малиновке прямо в темечко, хотела девчоночка вернуть озорнику его подарок, да не успела: вот уж соболёк сидит на нижней ветке сосны и посверкивает глазами на Малиновку. А сам то голову наклонит, то вскинет, то спину выгнет колесом, то хвост дудкою поставит... Да цвыркает на Малиновку, да потявкивает, будто разговаривает и сердится на её непонятливость. Ишь ты!

Потом вовсе на землю соскочил и давай перед Малиновкой кренделя выписывать, будто озорной парень на гулянке.

Хочет Малиновка, а соболёк выкамаривает... Сперва девчоночка в ладоши хлопала, а потом сама пошла ногами перебирать...

Соболёк всё Малиновке под руку подворачивается, только тронуть себя не даёт – отскакивает. А Малиновка за ним тянется – погладить охота.

Когда набегалась Малиновка, запыхалась, передохнуть остановилась, увидела вдруг, что шалаша-то рядом нету! Кругом такая глухота да рям, такой подлесок, что между кустов собаке не проскочить! Только одинёшенька сосна высится перед девчоночкой. И самого соболя нигде не видно.

Большого страха Малиновка не почуяла: не столь долго она с озорником играла, чтобы шибко далеко от братьев убежать. Да и выросла она в тайге. Знает, что об эту пору ни один зверь человека не тронет. А вот на соболя маленько осерчала. Но, заметивши в сосне дупло, догадалась:

– А вот ты где! Счас я тебя за белый хвост вытяну! Покажешь мне свою звёздочку о семи лучах...

И тут же подумала: «Опять ерунду горожу».

Сунула девчоночка в дупло палку – нет никого! Полезла рукой – пусто! Нет соболя! Только ореховая мелкота раскатилась между пальцами тяжёлыми камушками. Малиновка щепотью захватила тех странных орешков и на ладонь себе рассыпала.

Ма-мынь-ка! Видит Малиновка при луне: лежат у неё на ладони крупные золотые бусины...

– Лишеньки мне! – шепчет Малиновка. – Где ж это видано, чтобы золото в дупле самородками рождалось?! Должно, чей-то грех тут упрятан да ко мне в руки просится. Господи! Неуж своего горя у меня мало?

Ссыпала Малиновка золотые бусины обратно и заторопилась прочь.

Но, побегавши по зарослям, вдруг опять оказалась на том же самом месте.

«Ну те! – подивилась со страхом девчоночка. – Как такое вышло, что закрутилась я?! Надобно луны держаться...»

И снова принялась кусты раздвигать.

Что ты скажешь! Опять перед нею сосна!

Видать, другая дорога той ночью была ей заказана, поскольку Малиновка и в третий раз оказалась на нечистом месте.

Села девчоночка поодаль от сосны на трухлявую коряжину, уронила руки и собралась помирать. Нашла на неё такая отупень, что ничегошеньки-то ей не надо, никого-то ей не жалко – всё у неё хорошо, и виноватых нет..

Уткнулась Малиновка головою в худые колени свои, покачалась на коряжине и задремала.

В дремоте чувствует: кто-то её по голове погладил! Вскинула она испуганно глаза: «Ой!». Отец перед нею стоит и улыбается.

– Батюшка! Родимый ты мой! – заревела в голос Малиновка да, повиснув на отцовской шее, хлюпает, спрашивает: – Откуда ты взялся?

– С того света, – смеётся Михей. – Не веришь! Вот те крест! А ты пошто в сторонке от шалаша дремлешь? Вона какой ловкий наладил! Спала бы себе вместе с ребятами.

Заикнулась было Малиновка о собольке сказать, да увидела, что и впрямь шалаш рядом и братья в нём посыпёхивают лежат. Должно быть, ни разочку не просыпались.

А Михей удивляется:

– Так вы что тут одни?! Без народу?! Орехи, что ли, втроём наладились бить?

– Не-ет, – замялась девчоночка, чтобы не огорчить родимого скорой заботой. – Место пришли смотреть.

– А что! – одобрил Михей, разглядывая утренние уже кедры. – Ты гляди, какое место! Шишек-то сколько! Чтой-то я раньше не знавал этого кедрача! Неделей надобно сюда вернуться.

– Тебя как отпустили-то? – в нетерпении теребит Малиновка отца.

– Чудом! – опять смеётся Михей. – Истинно чудом. Я и сам до сих пор не верю! Давай-ка сядем потолкуем, покуда ребята спят.

Устроились они рядком у шалаша, и обсказал Михей дочери о странном своём избавлении.

– Меня, – говорит, – до суда в пересыльной держали. Я у них там за подметалу состоял. Днём суeta этапная мешала работе, а ночами самое время убирать...

Вот вышел, значит, Михей с вечера к тюремным решётчатым воротам, начал метлою сор подхватывать. А на часах у ворот стоит такой же мужик, как он сам, только одет в казённое. Хороший мужик – не понукает...

Откуда ни возьмись, бежит тюремный смотритель, чтобы скорее ворота отворяли. Дескать, гости едут, встречать тороплюсь. Глянул Михей на дорогу – вот уж он, возок расписной, к воротам подкатывает. Часовой Михею маячит: дескать, отойди подальше.

Сыздала-то не было у Михея возможности разобрать, о чём толковал с перепуганным смотрителем хозяин богатого возка. Только видно было, как удалой возница всё подмаргивал ему, поигрывал тонким прутиком да посверкивал с белой шапки дорогою звёздочкою.

Так хотелось Михею крикнуть тому вознице, что не бандит он, не убийца какой! Нечего смеяться над чужим горем. А смотритель между тем исприседался перед гостем, исприглашался пожаловать к нему в дом. Но в ответ только хлопнула сердито дверца возка, и возница крутанул над смотрителевой головою тонким прутиком.

С великой досады смотритель влетел в ворота, как сатана в пекло!

Михею ажно почудилось, что тюремный двор сажей подёрнулся, а от казённика искры летят.

Попятился Михей со своею метлою подальше от греха, тут его смотритель и поймал, как волк глупого зайца.

– Кто? – кричит да тычет Михею пальцем прямо в лицо. – Этапный?!

– Не-е, – отвечает Михей, – тутошний я, деревенский. Третий месяц суда жду.

– Какое за тобой дело? – опять орёт.

– Попёнка вожжою огрел...

– Пошёл вон! – визжит смотритель. – Что стоишь, вылупился...

А Михей столбом стоит, ничегошеньки понять не может – хоть убей!

Тогда караульный метлу из его рук выхватил, да метлою, да метлою его по спине...

– Не поймёшь, дурак? Пошёл вон, говорят! – и пинка добавил.

А уж за воротами шепчет по-доброму:

– Слыхал?! Новый губернатор к нам прибывает – смотреть будет, как да за что православных по тюрьмам томят. Ты ступай себе, иди спокойно...

Поклонился Михей доброму караульщику земным поклоном и прямо домой!

– Ночь прошагал – ничо, – объясняет Малиновке отец. – А утром чую – устал. Передохнуть не мешало бы. Тут и шалаш увидел. Сунулся в него – вот те раз! Мои напёрстки лежат, ещё и платком твоим прикрыты. И ты, гляжу, близко сидишь, дремлешь. Ну скажи ты мне: это ли не чудо чудное, диво дивное? И от тюрьмы даром отделился, и с вами в глухом лесу не разминулся. Бывает же такое на свете!

У Малиновки от отцовского рассказа сердце затрепетало, однако заговорить о собольке не насмелилась.

«Вот ещё, – думает, – полезу к батюшке в радость со своими придумками. А всё-таки странно, что у кучера на белой шапке звезда сияла!»

Вовсе по свету повёл Михей Пораев огольцов своих с дочкою обратно в деревню. На подходе к околице Малиновка вспомнила:

– Платок в шалаше оставила!

– Да Бог с ним, с платком, – утешил дочку Михей. – Вернёмся за орехами – подберём. Кому он в лесу нужен?

Стали Пораевы в деревню входить – народ увидел.

– Ты гляди, что на свете делается! – кричит одна баба другой. – Отпустили Михея-то!

– И то!

– Слава те, Господи!

– Уж не по этой ли нужде нарочный из уезду вечер до батюшки Калистрата приезжал?

– А холера его знает.

– А пошто бы матушке провожать-то его со слезами?

– А холера её знает.

– И обалдуй ихний что-то не показывается.

– Да чёрт с ним!

– Ой, чо будет, чо будет...

– Ничо не будет. Приструнят Калистрата. Не одного ить он Михея обижал.

– Дай-то Бог...

Когда Пораевы, перекланявшись со всею деревней, отворили запертую избу, Малиновка первой ступила на порог. Ступить-то она ступила, да заробела у косяка: так чисто в избе, так светло, будто три солнца в окна глядят. Когда же решилась дальше пройти, увидела: платок, ею забытый утром в лесу, лежит разостлан по столу, а на самой его серёдке горит яркой звёздочкой дорогая брошь.



АКЕНТЬЕВО ОЗЕРО



В таёжном углу Среднего Приобья столько озёр, сколько у рябого пятен. Тут и Кривое озеро, и Тухлое, и Глубокое, и Раздольное... Господи! И Лешёво озеро! Рукой махнёшь... Но только к одному Акентьеву озеру была прилеплена дорогая марка – волшебное!

Лежало то озеро среди векового леса, по всему окоёму заболочено и кувшинкою замечено. А серёдка чистая, синяя. Какой бы шальной ветер ни хватывал тайгу за вихры, Акентьева озерка ни одна струя не задевала. словно кто-то умелый дохнул как-то один раз на воду и усыпил её на веки вечные.

Никто не доставал в Акентьевом озере дна. А спорщики отыскивались хваткие, удалые! Бесполезно. Ни один хват ни у кого не выспаривал.

Высоко над озёрным берегом поднимался с поддонной глубины белый камень. По верху он был ровнёхонький, что пень, срезанный пилою. И хватало того срезу ровно на одно подворье.

С белого камня до самой дымки земной видел человек перед собою тайгу и тайгу...

На том озере даже комара не водилось. Ничто не мешало человеку чувствовать, как вливает в него природа здоровье своё, как разговаривают между собой земля и солнце.

Ой, благодать!

И хотелось тогда верить, что открывается озеро перед человеком! Но когда? Каким днём? Каким часом?

Старики успоряли, что были такие удачники, которые своими глазами видели, как однажды поднялась озёрная вода выше тайги, потом упала разом и оставила на ровной середине дворец несказанной красоты! Расположились в том дворце светлые двери: проходи кому хочется, бери добра сколько надо. Однако докладывали, что хозяин озера до жадных больно строг!

Среди окрестных простаешей никто на лёгкую наживу не надеялся, потому и посмеивались над стариками – ну откуда бы в таёжном озере взяться дворцу?

– Пушай не верють, – больше других обижался на чужое сомнение дед Воркуток. – Только волну чохом не собьёшь. Мовет быть, не дворец... А всё-таки кой-то живёт на дне, в самой глыбокой низине. Только об этом до времени никому знать не дано, и я не скажу...

Но к Воркутковой тайне мужики всё же сумели подъехать тем, что привезли ему из дальнего извоза турецкого табаку. Затянулся Воркуток заморским зельем, стрельнул кашлем на всю улицу, перевёл дух и удивился:

– Эко, холера! Не хуже самосаду.

Подарком этим он долго потом угощал стариков да каждый раз посмеивался:

– Чо?! До кишок продрало? С этого с турецкого дымку вы у меня само заморье увидите!

Не отпихнулся тогда Воркуток от мужиков, а приняв подарок, сказал:

– Айда, однако, робя, посидим на белом камне, пождём да послушаем, чего нашебаршит нам Акентьево озеро.

Ежели старый Воркуток, царство ему небесное, и набрехал тогда, то славно набрехал!

...Ещё до времени великого переселения, когда потянулся из Расеи народ в Сибирь да стал обживать в межозёрье, на белом камне уже стояла убогонья халупа старого Акентия.

Не за потраву посевов, не за падёж скота, не за какие другие горести нарекли поселенцы Акентия того колдуном. Видом своим уж больно не сходилась он со всяким другим человеком.

Был Акентий тунгус – не тунгус, алтаец – не алтаец. Может, китайцы либо монголы в своё время тут побывали да обронили в тайге сибирской каплю крови своей?

Коли сравнивать, то монголы от земли высоко не всходят и выше себя не растут; алтайцы – те безбороды; а что про китайцев сказать, так эти в своей основе дробненьки да сухоньки, хотя множатся скорее других.

Никому из них Акентий-колдун во внуки-сыновья не подходил. Бог его знает, какого корню отросток, но только был он и строен, и высок, и борода седая в пояс – будто полощена хозяином в синем озере! Нос орлом, брови моховы! Колдун да и только!

Ежели бы не раскосые глаза, можно было бы принять его за родовитого, но опального русского боярина. От Акентьевых же глаз тянуло какой-то степной дикостью и тайной.

Одним словом, являлся Акентий какому-то старому роду закатным лучом.

И ещё в Акентии была загадка: немтырь его поборол. Люди считали его безъязыким и придумывали то, чего знать не могли, а хотели.

– Дык, это ж ему ватажё, поножовные брательники язык-то остригли, – говорили пугливые.

– От вра-ать! – вставали за Акентия смелые. – Сам он его скусил! Чтобы никомушеньки, при случае, не открывать великой тайны!

– Ы-ы-ы... Дура! Тебе скусить! Дикость вековая кляпом в горле у человека застряла, – оправдывали старика третьи. – Думать надо башкой, чо говоришь...

И летами, и зимами, и в солнцепёк, и в сузморозь ходил Акентий с непокрытой головой. А кто видал его на охоте, тот докладывал:

– Так вот и полощет сединою по сквозному ветру.

Акентий не вот перед расейскими поселенцами пожаловал жить на Синее озеро. Должно, веками стаивали на белом камне прадеды его и пращуры. Веками гляделось им с высоты за тёмные леса, куда в снеготаянье тянулись на летование стаи терпеливых крылунов.

Походило на то, что с Акентием обрывалась его родовая жила, и теперь один-одинёшенек высматривал он вдалеке последние свои дни.

Скорым летом стал Аке́тий ходить каждодневно по улицам новой деревни: идёт вдоль домов; туда-сюда поглядывает. Глазами тянется за оградой, ощупывает встречаемых немимым вниманием. А людей, понятно, знобит от его глядения. Кланяться-то они старику кланяются, но у каждого в груди жилочка поганая трепещется – чур меня! Иди-ка ты, нечистая сила, мимо. Тот, о ком ты соскучился, не в нашем дворе живёт.

И ведь не напрасно тревожились поселяне – не зря ходил Аке́тий по деревне. Выбрал старик из всех людей самого что ни на есть бес-таланного парня – Кондратия Мешкова.

Хоть в больших дураках Кондратий никогда не состоял, но ездили на нём люди, веселясь, поскольку была в нём та самая простота, которая хуже воровства. Жил он между людей беднее обобранного, как верстовой столб на дороге: и не обласкан, и не прикаян, и в тулупе наг, и в пиру тверёз. Люди только диву давались:

– На тебя, паря, и смеху не хватает, и жалости недостаёт.

Когда старик поманил Кондрата на Синее озеро, тот и спрашивать не стал – зачем? Распахнул глаза, лишь бы не споткнуться, и пошагал за колдуном.

Следом побежали ребятишки деревенские глянуть, что же Аке́тий с парнем делать собирается?

А те оба-два поднялись на белый камень, остановились рядом. Тут-то, обнявши парня за молодые крепкие плечи, Аке́тий вдруг заговорил простым, ласковым голосом:

– Это место, брат-Кондрат, хорошего человека любит. Кроме тебя, некого тут оставить. Так что будь моему дому хозяином и никому белого камня не уступай.

Впоследствии ребятишки, переживая заново страх да удивление, много раз повторяли – не отдавай-де белого камня!

Тогда и Кондратий от неожиданности тоже было попятился, отказаться от Аке́тьева подарка хотел, да не успел. И не один он, а и ребята видели, как метнулся колдун с высокого белого камня и пропал в озёрной глубине.

С потерей Аке́тия деревню будто вытряхнули из тёплого мешка прямо в непогоду, будто в летнем саду взял кто-то злой и сломил самый лучший цветок. Людям стало ясно, что проглядели они прекрасного человека. А теперь хоть кукушкой взлетай на ветку да изливай земле сиротскую тоску.

Однако жить надо. Куковать-то кукуй, а про гнездо маракуй.
Стали жить дальше.

Большого счастья Кондрату белый камень не принёс, но Акентьево подворье сгодилось парню – народ стал серьёзнее на него смотреть – хозяин! А когда и невесту себе Кондрат в деревне присмотрел, вовсе признали. За добрым словом стали к нему ходить.

Но не успел Кондрат прожить человеком зарю да зорьку – вот она, беда! Приехала кривая на косой. Поглянулось Синее озеро толстосуму – Савелию Брюхову.

Савелий богатый дом в уезде на самой широкой улице держал. А на белом камне захотелось ему соорудить охотничью заимку. Не столь, поди-ка, для охоты, сколь для барского выгула. И в Сибири тогда хватало всякого такого добра. Финтифлюшки, прищебетники, лизунчики – помогали баровьям чужое проживать.

– Этого нам в деревне только и не хватало! – сокрушались больше остальных матери невест. – На распутство нами только ещё не глядено... Не уступай, Кондрат, белого камня!

– Не уступай, – вторили и остальные селяне. – Ежели что, мы за тебя всюю деревней пойдём.

А Савелий не отстаёт от Кондрата:

– Я тебе столько денег дам – два дома поставишь!

– Нет! – упёрся парень. – Сам я тут живу на птичьих правах. Что как Акентий возьмёт да и воротится?

– Какой Акентий?! – беленился Савелий. – Ты чо, сдурел? Ты слышал когда, чтобы с того свету людей отпускали земные споры судить?

– А ты? Нешто видел Акентия на том свете-то?

– Так ить все говорят, что колдун в озеро канул!

– Озеро – не тот свет, из него и выплыть можно.

Савелия Брюхова такой разговор только заквасил: обидою барин запыхтел, досадою через край полез. И топал-то он, и деньги совал, и криком краснел... Кондратий же тихой водою капает своё:

– Нет, нет и нет!

Не вытерпел Савелий Кондратова упорства – хлестанул несговора ремненным кнутом от уха до плеча. Кровь брызнула. Уж настолько Кондратий Мешков был некипятной парень, а и он огнём вспыхнул – схватил вилы, подогнал хлестальщика к самому краю белого камня, и ничего не оставалось Савелию, как только сигануть в озеро.

Кондратий думал, что напугал барина, да ить клещ рогов не боится. У того ещё и одёжка путём не просохла после купания-то, а уж он явился на Кондратьево подворье со двумя стоялыми холуями. Втроём-то они прижали Кондратия к стене: либо уступай место на белом камне, либо мы тебе чёрный на шею повесим!

Вынудили-таки Кондратия сорвать со стены охотничье ружьё...

Сами трое только за древней опомнились!

Однако барская правда на деньгах пасётся. А на том выпасе мурава сытная. Завсегда правда такая пересилит бедняцкую.

Скоро казённые сизари прилетели и на глазах у всей деревни забрали Кондратия с собой. Хмурых же мужиков ещё и по носам постукали: не вскидываться у нас!

Упекли Кондратия Мешкова скорым судом на дальние рудники, рубить кайлом неистощимую породу. Савелий же очистил от Кондратьева скарба озёрный камень, всё возможное спалил, скотинёшку никакую роздал своим угодникам и... уже работники-плотники пилят, рубят, строгают, мазальщики глину месят, тесаря камень белый долбят, стараются. А баринов приказчик бегаёт по деревне – скупить мужиков норовит, Савелию подмогнуть.

Но ни один простак даже не подумал ухом повести в сторону зазывалы – хоть кучу денег сули, хоть две. И бабёнки как сговорились: все повязались чёрными платками, будто глубокой печалью легла на них Савельева радость.

Понял Савелий, что под ним его же навоз загорелся; ежели так продолжать, то и волдырями недолго покрыться.

Стал он перед деревней улыбаться бегать. Но мужикам-то видно, что из-под Савельевых улыбок всякий раз готовы клыки прорезаться. А там, гляди, и щетина поднимется на загривке. Ой, во-олк!

И всё-таки построился Савелий на белом камне. С богатого своего подворья выдолбил он в камне лесенку прямо к озёрной воде, от нижней ступени отвёл к берегу откидные мосточки, чтобы можно было их убирать перед незванным гостем. Прежний пологий скат обрубил от камня долбёжкой, и стала Брюховская заимка неприступной крепостью.

– Думали, что без вашей подмоги мне не построиться? – как-то спросил на улице Савелий мужиков. – О! Глядите! Скоро новоселье, а вы, дураки, приработок такой упустили.

– Ну что ж, – ответил Савелию из толпы бойкий человек. – Не спели на радостях, подтянем на веселье...

Не пустое молвил Савелию бойкий говорун. Его обещание вспомнилось в укромном местечке удалыми ребятами:

– Посветить бы надо Савелию нонешней ночью. Пущай к новоселью готовится.

– Как ему посветишь? В дом он нас с тобою не приглашал и не собирается. А ежели ему снаружи светить, так уж больно долгая свеча нужна.

– Хо! Есть такая свеча! – порадовал шептунов тот же бойкий мужичок, что с Савелием на улице перекинулся. – У белого камня листовку долгую помните?

– Ну?!

– Ежели умело её подпилить, она вершиною в аккурат на Савельеву крышку ляжет.

– И-и-и! – подивились оговорщики такой простоте. – Умно! Смолла! Она, листовка, будто в керосине варена. Хорошо гори-ит!

– Жалко! – сказал кто-то с обидою в голосе. – Помрёт хорошее дерево.

– Ничо не поделаешь, – ответили ему со вздохом. – Другого выбора нету. Как мы ещё-то Савелия доймём?

На том уговоре и согласились удалые.

Сошлись они к ночи, кто прихватил пилу, кто кресало, а кто и керосину для верности. И отправились к белому камню безо всякого шума.

На подходе видят мужички: стоит кто-то в тени листовницы! Стоит и смотрит на савельевские окна. Вот нечистая сила!

– Брюхан караульного выставил, – ляпнул кто-то.

– Ну да! – не согласились с ним. – Кабы он о чём сдогадался, скорее бы дерево спилил.

– Твоя правда, – поддакнул третий. – Не одни, видно, мы заботимся о Савелии.

Стали они присматриваться.

– О! О! – поразились удалые, когда сторож повернулся к ним бородой. – Акентий!

– Господи, помилуй!

– Живой!

– А-та-та-та-та... Допрыгался Савелий Брюхов!

– Не зря его Кондратий колдуном упреждал.

– Не зря...

– Теперича и нам тут делать неча.

– Как это неча? Поглядим, что дальше будет.

Остались удалые глядеть.

Скоро на савельевском подворье затихла всякая канитель. И приозёрный лес вроде стал похрапывать под ясной луною, и смотрельщики запозёвывали, крестясь, – хоть ложись да руки под голову клади. Но когда Акентий отлип от лиственницы и неслышно стал огибать белый камень, чтобы подойти поближе к воде, глядельщики не то про зевоту, про осторожность забыли.

Однако Акентий даже не оглянулся на ясный шорох позади себя.

– Он чо, спиною видит? – подивился один смотрельщик.

– Понимает, видно, пошто мы тут оказались, – надоумил другой.

– Тихо вы, дьяволы! – шумнул третий.

Остановился Акентий у самой воды. Постоял, послушал ночной покой и потянулся руками вперёд, будто, наскучавшись по милой сердцу вотчине, хотел обнять озеро по всему окоёму. И засветилась навстречу ему озёрная вода, и начала полниться под его ладонями радостным светом...

Чудилось удалым, будто бы кто-то живой сидит в чёрной глубине и одну за другой зажигает цветные свечи. Вот уж полыхнуло из воды и рассыпалось до звёзд несказанное сияние. Колдун же, не отрывая глаз от сквозной глубины, подгрёбнул перед собою руками пустой воздух и подбросил его, будто вызывал из озера неведомые силы. И вот побежала от Акентьевых ног по тихой воде мелконькая зябь, восходящей волной докатилась до середины и стала подниматься горбом!

– Вот страх-то! – потом говорили другим изумлённые глядельщики. – Щас, – думаем, – пойдёт на берег вода стеною – хана! Всю деревню зальёт! И знаем, что бежать надо, только ноги к земле приморозило.

Скоро вода стала опадать и расходиться на стороны неторопкой волной. Не успела она дойти до берега, как на ровной озёрной глади увидели мужики светлый дворец. Да такой, который не нашими руками строился! Кабы можно было его пощупать, тогда бы глядельщики

поняли, из чего сотворена была красота такая, что и смерть перед нею оказалась нестрашной.

Тут на дворцовое крылечко выпорхнула из двери махонькая девчоночка, будто рыбка золотая, заискрилась она своим сарафаном да кинулась бежать по воде, как по заливному лугу, прямёхонько к старому Акентию.

Вот уж обхватила девчоночка его шею, смехом радостным звенит. А старик нагнулся к ней, шепчет что-то на ухо да показывает на темечко белого камня.

Должно быть, девчоночке-то не первый раз Акентия понимать – мотнула она головёнкой и побежала к тому месту, где долблёная лесенка в озеро окунулась. Скоро уж эту стрекозу мужики наверху увидели. Весело помахала она колдуну рукой и скрылась в савельевском доме.

Шибко долго она не заставила себя ждать: вот уж ведёт за руку прямо к воде самого Савелия Брюхова. А тот как спал, так и вышел на луну босой да в рубахе выше колен. Только на голове поштой-то шапка нахлобучена. Спросонья, должно, понимал, что одеться следует, да не сообразил до конца.

– Щас утопит, – шепчутся глядельщики.

Но не-ет! Ничего подобного. Повела девчоночка Савелия по воде, как сама только что шла. Сперва он всё вздрагивал, но скоро осмелел и пошёл босяка вытапывать – может, думал, что сон видит. Девчоночка впереди торопится, а он приотстал, топотит. Когда же увидел, что она успела уже на крылечко взбежать, да ещё и ларец ему навстречу вынести, – галопом попёр.

На берегу Акентий-колдун даже засмеялся.

Взлетел Савелий на дворцовое крылечко и завертелся у ларца. Хвать-похватать! Ни карманов нету, ни пазухи. Хотел было длинную рубаху с себя стянуть – девчоночки постеснялся. Под рубахой-то у него одни родимые пятнушки были.

Ах ты, мать честная!

Давай Савелий тогда из ларца в шапку нагребать.

Девчоночка ему о чём-то толкует, а он, знай, хватает. Нагрёб целую шапку, на пузо взгромоздил и бегом по воде домой! – успеть бы повторить такую радость.

Но оказалось, что шапка не пухом набита. Савелий её и на плечо



вскинет, и на голову вознесёт, и обратно на живот вернёт. Даже с берега видать, как мужик уработался.

Где-то посередине пути Савелий сообразил, что не донести ему до берега ношу свою. Остановился он в досаде, оглянулся – назад вернуться, отсыпать маленько добра-то, но понял, что и обратную дорогу ему не одолеть. Да и светлый дворец стал уже под воду уходить: девчоночка с крыльца Акентию машет – прощается.

Глянул и Савелий в ту сторону, увидел колдуна, и повалилась из его рук шапка. Ударилась шапка о водяную гладь – покатился звон до самого леса. Хотел Савелий шапку поймать, да следом за ней и нырнул в поддонную глубину.

Напоследок вынырнул, заорал – в деревне люди слышали, но спросонья не поняли, в чём дело.

А над водою озёрный туман поплыл. Затянул туман непроглядную пеленой недавнее сияние, канул в гущу его и камыш, и прибрежный сосняк, и Акентий-колдун...

Глядельщики сунулись было уходить, да куда ни ступят, всюду у ног береговая топь. Пришлось повременить. Когда же туман полёг росой на приозёрные травы, оказалось, что небо уже вовсю зарится, звёзды зажмурились от раннего июльского солнца.

– Глянь-ка, робя! – шумнул один из мужиков. – Не то Савелий плывёт?!

– Иде? – кинулись к берегу остальные.

– Да вона! Вон! Видите, вода усами расходится?

– И то! – теперь уж и слепые приметили тёмную точку на воде.

– Эт, твою судьбу мать! Подай-ка палку – щас я его встрену по башке, – вострепнулся самый бойкий.

– погоди ты, стой! – успел охладить его ближний. – Ет же не Савелий! Помереть мне, не Савелий!

– Кто тогда?!

– Да никто. Шапка Савельева плывёт...

– Правда, шапка!

Покружилась шапка, будто живая, между кувшинок и, как щенок, сунулась в берег, где поспособнее было её взять. Потянулся кто ближний, наклонился, причалил её к сухому месту. А она полна золотого добра – только через край не сыплется.

– Как же не потонула?!

– А ты у Акентия спроси...

Хотели бы мужички разом поднять шапку, да не тут-то было! Больно тяжела! Не то в воду – в землю можно провалиться от такой тяжести.

– Ого! – помянули мужики Савелия Брюхова. – Крепкий был барин – вода ему пухом. Не изработанный.

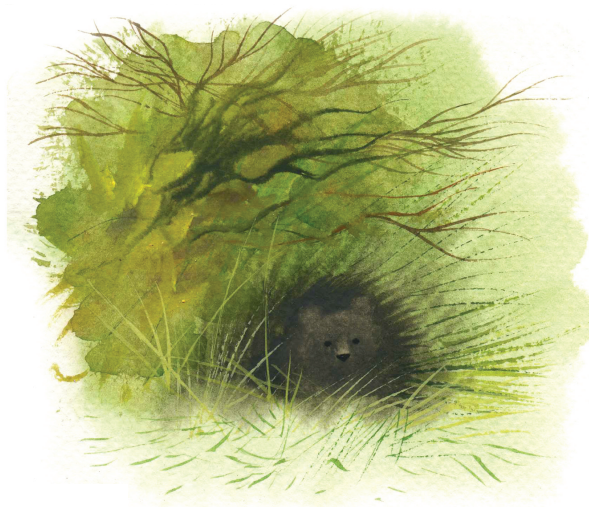
Всею деревней на то Акентьево золото выкупили селяне с каторги Кондратия Мешкова. Далеко успели загнать бедного. Так далеко, что и с этакой деньгою еле до него дотянулись. Вернулся Кондратий, женился и стал в откупленном у казны доме на белом камне жить.

Больше Акентия-колдуна никто не видел. Но памятку об себе ухитрился он людям оставить!

Когда у Кондратия Мешкова, после двух сыновей, появилась дочка, да когда она маленько подросла, так мужики, что были на озере в ту памятную ночь, распознали в ней знакомую девчонку. Как две капли воды схожа она была с тою, что увела Савелия Брюхова в Синее озеро.



МЕДВЕДКО



Затесали обмерщики валежный клин от предела до предела и, ружьишки подхвативши, зачепали по вековому настилу прелой хвои приглядеть к обеду тетёрку зобастую либо куцего пострела. Благо на новой деляне зверьё не пугано, птица не поднята.

Парни молодые, игровые. Мало ли, что знакомство шапошное: молодость, она душу-то наперёд котомки развязывает.

Затеяли парни канитель по лесу, пугать надумали один другого то из-за черёмухи крапивистой, то из-под бояры пучковистой. Один прячется, другой водит.

Гаврилка-то Мотовилов – вот он, на ладошке у каждого-всякого мужика здешнего: тут его и крестили, тут его и растили, тут впервые потянул он носом разливанный дух весенних хороводов. Парень он открытый: вся его колода к долу рубахой. Придись, беда козыря подкинет – ему и крыть нечем. А беда-то, она пронира: ты её в шею, а она к тебе в душу. Найдёт лазок – протянет возок...

Ещё в рассветные Гаврилкины годы мать его, Мотовилиха, бельё на речке полоскала. Полоскала Мотовилиха бельё, да, знать, ласково улыбнулась водяному: утянул он её в омут.

Без Мотовилихи Гаврин отец душой покривился: за что ни возьмётся – всё у него рвётся, за что ни ухватится – всё из рук катится.

В доме, кроме Гаврилки, двое младшеньких ребят с полатей носами шмыргали, видя, как бушует в отце пьяная безысходность.

Кто знает, с какого высокого дерева срывал Гаврила терпенье? Днём парень по вырубкам брёвна ворочал, после работы с худым ружьишком своим охотой малой промышлял, а к ночи домой торопился: братьев приглядеть, отца привередливого уговорить. И всё бегом, всё с притруской. В будни у него побегушки, воскресным днём – постирушки, а до престольного дожил – опять всё то же.

Братья-одногодки ревут, в ученье просятся, а у них – одна заплата на двоих.

Как-то пошёл Гавря в лес на охоту, да скоро вернулся: ведёт из лесу человека на вечерний костёр. Артельным своим говорит:

– Пуцай парень с вами ночь переночует, притомился на пустой охоте.

Артельным что? Ночуй! О чём разговор. Указал Гавря гостю своё место на нарах во времянке, а сам домой пострекотал. Утром, к свету, вернулся на делянку; мужики уж чаю напились, а гость всё ещё нары давит.

Собрались, пошли работать.

Не заладилась в тот день у Гаврилы работа на вырубке: то, глядишь, топор в лесине увяз, то валежина легла на стояк, то сучок середку тянет...

– Ладно тебе, – говорят мужики. – Управимся сами. Иди-ко лучше отоспись. Пойдёшь утром новый клин валежа отмеришь.

Вернулся Гавря в леснушку – гость посапывает.

«Ну и ну, – думает Гавря, – ловок спать! Чисто медведь в зиму».

Подумал так-то и уснул рядом.

Спит и видит себя в густом лесу. Перед ним пень не пень – стол накрыт. Против него медведь на коряжине хозяином развалился. Ест Гаврила не то грибы, не то корешки сладкие, а медведь подкладывает, потчует гостя.

Вот и спрашивает медведь Гаврилу:

– Счастья тебе хочется?

– Счастья?.. – отвечает Гаврила. – Как не хотеться? Счастье, говорят, в хозяйстве пособляет. Только штука-то это крученная. Держать её

надо обеими руками. А какой из тебя работник, когда руки заняты? Счастье держать, что за солнцем бежать: сколько ни старайся, всё равно ночь догонит.

– Да, – соглашается медведь. – Счастье – что свет, на него хозяина нет.

– Ну, а что тогда пустое спрашивать? – вроде упрекает медведя Гаврила.

– Думал, позаришься. Жалко мне тебя. Живёшь, прямо сказать, бросово.

– Это я-то бросово живу? – обиделся Гавря. – Я что тебе, пью-гуляю? Ребятишки у меня сытые, отец тоже по миру не ходит. Подрастут братья, глядишь, люди получатся. А я потерплю: не было бы поля, не цвели бы маки.

– Завидное терпение! – толкует медведь. – А чего б ты стал делать, когда бы сироту потерянного да больного в лесу встретил? Нешто обошёл бы?

– Таких-то сирот, чтобы совсем никому не нужных, редко бывает. Помог бы родню отыскать. Да чего ты меня пытаешь? Один я, что ли, на земле человек?

– А то я пытаю, что просить боюсь. Просьба моя денег стоит. Пожалеешь небось?

– Может, и пожалее. Братья у меня на всходе. А в нашем доме одной работы полно, больше ничего нет. Ружьё моё и то, как немощная собака, только щёлкает. Покуда на выстрел раздобрится, заяц надо мной успеет нахохотаться.

Проснулся на том Гавря. На дворе – вечер. Гостенок с мужиками у костра сидит, пар с чаю сдувает, Андрюхой кличется.

Ладно. Прошла ночь.

Утром, до зоревания, увязался Андрюха за Гаврей место валежное замерять. Вдвоём-то они живо замер тот сладили и, ружьишки подхвативши, пошли обед стрелять. Пошли по обед, а сами прятки затеяли.

Вот Гавря стоит на поляне, глазами ищет, где Андрюха притаился.

Смотрел, смотрел Гавря, надоело. Крепко Андрюха спрятался – нигде не шелохнётся. Тихо в лесу. Папоротник шеборшит, саранки рыжими кудрями трясут.

Солнце сквозь игольчатое сито сосновых веток дух таёжный, парной тянет горячим носом и дрожит от великого удовольствия...

Загляделся Гаврила на благодать земную – тут и хрустнуло в малиннике: знать, Андрюха ягодой занялся.

«Я тебя сейчас подхвачу на лакомом!» – думает Гаврила.

Снял он с плеча ружьё, на траву положил и ползком к тому кусту малиновому. Ползёт, что цыган к чужой лошади. Подкрался совсем под куст да как заорёт! А куст ему в самое лицо как рыкнет! И взвился из куста, что чёрт из пекла, медведь мордастый.

Нос в нос сошлись двое... Заревели оба пуще себя и дранки рвать. Ажно трава следом ложится.

Гавря про ружьё своё уж за сотой сосной вспомнил. Вернулся когда – нет ружья! Топтыга, видать, за лапой утянул.

Тут и Андрюха откуда-то взялся, хохочет:

– Слямзил зверюга у охотника пужалку.

Андрюха хохочет, а Гавре хоть рёвом реви: чем теперь ребяtnю подкармливать? Оно хоть и ружьё-то никудышное, а всё не палец. Гавря в досаде и просит гостя:

– Дай ты мне, Андрей, своо ружья до вечера – догоню чёрта косолапого.

– Э, нет, брат! – скалится гостеван. – Ты погляди, какое у меня ружьё! Ему ж цены нет.

Хвалится Андрюха ружьём, расчёсывает досаду Гаврилке.

– Ты ж, – говорит, – стреляка не Бог весть какой. Где ж тебе косматого одолеть? Чего доброго, ты и моё ружьё медведю подаришь. А мне что же потом, сучок заряжать?

– Ладно! И на том спасибо, что узнать довелось. Хороший ты человек, да уж лучше бы тебя обойти.

Проверил Гавря силку¹ свою на ногте – острая, заткнул за голенище и пошёл, неуёмный, через коряги ноги перебрасывать, медведя в лесу искать.

Андрюха кричит ему со смехом:

– Гавря, эй! Медведя-то под брюхо чапай!

– Вон чо! – воркотнул ходок. – Указал луне время родиться.

Идёт Гавря по лесу, жалеет уже: «Чего расходился? Зря парня обидел. И то... нужда бы охотнику ружьём кидаться. Кто я ему? Сумел же

¹ Охотничий нож.



свое упустить. Да и медведь разве повинен, что я таким полоротым родился?».

Думает так себе и чует: идёт кто-то с ним вровень по тайге, за деревьями хоронится.

Ободрился Гавря, быстрее пошагал, думает:

«Андрей. Видно, подмогнуть решил».

Дотопал до вывороченной лесины, тут и след медвежий пропал. Глянул Гавря под корневища – дыра, валежником прикидана. Палку подлиннее подыскал парень, сунул конец в ту дыру, сам нож на изготовку держит. Покрутил в дыре палкой, там запахныкивало вовсе не по-медвежьи. Раскидал Гавря валежник, а в берлоге малец зачуханный лежит. Гавря ажно сел на хвою.

– Во! Поди ж ты, зверь какой! А ну, вылезай! Чего ты в берлогу заехал? Палаты какие занял! Вылазь, говорю, сюда, не то силой вытяну!

Выполз малец на солнышко, голову поднял да опять уронил.

– Ах ты, белка-сопелка, корешок от маковки... Чего тебя так занозило?

– Захворал я, – отвечает.

– Вижу, что захворал, – говорит Гавря. – Ты мне скажи: из какого гнезда выпорхнул, воробей ты беспёрый! Со двора, чай, убёг али заблудился?

– Убёг, – отвечает малец.

– Давно ль?

– Вестимо...

– Ешь-то что?

– Орехи лузгаю, ягодой живу...

– Вот и долузгался до лихорадки. Спишь тут ли?

– Не, в хоромах!

– Ишь ты! Туда же... Со мной пойдёшь али уговаривать надо?

– С тобой пойду. Я тя, дядька, с мужиками на поляне видал. Только ты, дядька, коли при себе держать меня надумал – я с полной охотой! А так – удеру!

– Во! Чем это тебя от дома отшибли?

– Да уж знаю чем...

Подхватил Гавря мальчика того на руки, а он, гляди, с болезни своей щетиной порос.

Колыхнулось Гаврино сердце от жалости, прижал мальчика к себе, как ласковая matka первенца, и пошагал с ним тихонько. Несёт, а сам ношу заговаривает:

– Вот и ладно, вот и складно... А ружьё-то я пока хозяину оставлю. Пушай себе лешего пугает.

– Какое ружьё?

– Ноне косопалый выпросил у меня ружьё, на косача сходить. Да вот, поди ж ты, вернуть забыл. Али раздумал... Такой, слышь, человек оказался – ружья пожалел.

– Это ты про кого, дядька? Про медведя?

– И про медведя... – смеётся Гавря.

– Чой-то ты плетень плетёшь?

– Вот те крест! – побоялся Гавря. – Тебя как зовут-то?

– Макарка...

– Макар ты, Макар... носом макал... Горемыка ты.

– Горемыка, – согласился малец.

– Те сколько годов-то?

– Десять скоро будет. Большой уж я... Сидеть у тебя на шее не стану. С вами заодно лес пилить буду.

– И то, – соглашается Гавря, – нешто в нахлебниках проживёшь?

Так вот и явились они оба-два на делянку лесную. Мужики артельные с расспросами привязались: как да что?

Гавря шутиху плетёт:

– Ишь, какую птицу вам к обеду доставил. Кочеток с початок, голосок с волосок, сам ещё сопатый, а ума – палата!

Самому Гавре-то дивно: со всей округи мужики тут собрались, а мальчика никто не признаёт. Но что делать теперь? Не гнать же мальчонку обратно в лес.

Хотел он Макарку в деревню отнести, да уж больно слаб малец, еле душа теплится.

На последние деньги заманил Гавря лекаря на делянку, потом сапоги Макарке справил, ещё, чего надо, не пожалел. Всё раскидал и рукой махнул: «Не жили богато, не стоит и начинать».

Прижился Макарка на делянке. Что ни день, добреет малец, наливается на справных харчах. Лесная хвороба от него отцепилась.

Вовсе парнишка оперился.

Скоро Илья Пророк¹ прогремыхал по поднебесью, а там и озимки пошли насвистывать. Жди теперь ихнюю бабушку с белой куделью.

Пришло время шишковать.

¹ И л ь и н день – 2 августа.

На это дело ещё с вечера Макарка в кедрачи с Гаврей запросился. Узелок навязали шишкователи, мешок под орехи скрутили и, не будивши мужиков, ступили утром на росную траву.

Травы в тайге долго живут, и холодные росы блудят по ним до самого Покрова¹.

Им-то чего, шишкователям? Сапоги справные, портянки тёплые – шагай себе да шагай. Выбрались они из лесу, крутым берегом речки Тары пошли.

Над водой туман стелется, сосновые верхушки на том берегу по-над туманом, как ребятнёвы вихры из-за оконной занавески, выглядывают.

Эх ты, мать-тайга сибирская, до чего же ты заковыриста для молодого ума! Нет того дня у тебя, нету ноченьки, чтобы ты не убрала свой могучий лик новой радостью.

Вот где с душою-то говорить!

Ладно...

Идут шишкователи над рекой, молчат от великого; слова запутались в радости, что сосны в тумане. И опять слышалось Гавре: кто-то идёт стороной!

Кому бы это прятаться в лесу? Разве медведю? Нет, медведь – не волк, хитрости в нём никакой. Да и волк в этакую пору сытую бежит от человека. Рысь? Эта рыжая шельма тихо идёт, а тут ясно уловил Гавря сушняковый хруст.

Человек!

Пошто хоронится? Лиходей! Хорошему-то какая причина о коряги спотыкаться?

Остановился Гавря, присел на бережку, вроде портянку перемотать, виду Макарке не подаёт, что лес ухом ловит. Повозился Гавря с портянкой, натянул сапог, встал. Огляделся кругом – нет Макарки! Тут вот только стоял малец – и нету! Как в яму провалился.

Куда осторожность Гаврилова делась: кричать начал, бегать – нету малого! Неладное в лесу творится, нехорошее дело делается! Где искать мальчишку?

Весь ближний лес истолок Гавря, стволы обстукал, коряги облазил... До полудня без толку бился. Вернулся на старое место погля-

¹ П о к р о в – 14 октября, первое зазимье.

деть – может, Макарка шутку шутит? А тут и видит Гавря: на ихнем месте мешок стоймя стоит, тот самый, что под орехи брали.

«Ишь ты, – думает парень, – в мешок забрался! Вот игрован. Щас я тебе вихор-то надеру за такие пряталки».

Подошёл Гавря к мешку, а он крепкою тесёмкой поверху затянут и как есть полон орехов лущёных. Ой, диво!

«Может, – думает Гавря, – чей чужой тут мешок оказался, похожий?» Так нет же – свой мешок! Тут вот и узелок с обедом лежит. Тоже свой – не чужой. А тем узелком да ружьецо придавлено! Не брал Гавря с собою ружья... Поднял парень находку, оглядел: знакомое ружьё!

«Вона, Андрюхино!» – узнал.

Вовсе Гавря потерялся в догадках. Только видит вдруг, что к тому берегу лодка подплывает, в лодке двое людей сидят, большой и маленький.

Причалили те двое к берегу, на песок вышли, лодку по течению отпустили, сами стоят, смотрят на Гаврилу. Потом поклонились оба земным поклоном да выпрямились.

«Во! Ещё не лучше! Андрюха с Макаркою!»

Уже и рукою собрался махать им Гавря, назад звать. Только пошли они к лесу, и уж не Макарка то, да никакой не Андрей, а медвежонок с матёрым медведем...

Постоял Гавря на берегу, поудивлялся. Однако на вырубку идти надо.

Легко дошёл Гавря до вырубки. Будто кто помог ему мешок донести. Показал он мужикам ружьё, орехами похвастался. Всё хорошо! Только мужики будто сговорились: никто не помнит Макарки, никто и Андрюхи в глаза не видал...

Спустя работу, побежал Гавря домой – там радость: отец бросил пить!


С той поры и пошла в гору Гаврина семья.

Сам же Гавря сделался таким охотником, что хоть смотри, хоть на слово поверь. Не знало промаха Гаврино ружьё.

Однако странно: никогда больше не трогал Гавря в лесу косматого хозяина, да и тот на рожон не лез. Поговаривали, что Гавря боится косолапого, да мы-то с вами знаем причину.

ТАЁЖНАЯ КЛАДОВАЯ



се рассказчики мудрёные, да редко который сам про себя... Такое порой нагородят – ума не приложишь, где правда конец свой упустила, а где небыль подхватила его.

А всё верится после байки такой: живы на земле ещё чудеса-невидаль, только не всякому они навстречу идут. Поверить надо в чудо или, наоборот, вовсе рукой махнуть на тайные дела природы нашей, тут она и явится, невидаль-то.

И не так вот, как человека видишь: поглядел да пошёл. А уж повстречавши кого, крепко спросит: кто ты? И ведь не соврёшь ей, не выкрутишься. Знает она, перед кем на дорогу выходить. Потом уж одарит всякого по своему усмотрению.

В старые-то времена, рассказывают, наезжал в таёжные края купец Афиногенов. То ли Томской губернии, то ли ещё откуда нечистая его к нам насылала? А только больно приглядлив был тот Афиноген по купеческому делу своему. С виду посмотреть на него, чисто поганка недельная. Пряма-таки плюнуть не во что. А жаден да хитёр был, собачий хвост, ну хоть ты святых выноси. Особенно шибко Афиноген за соболем ноздрей тянул.

Дознается, где поболе кусок ухватить сподручней, в гости того охотника зазовёт, лисой прикинется и ну потчевать.

Оно, пьяного-то, куда проще облапошить. Глядишь... и обошёл мужика. За спасибо всё подскрёб начисто. Тот и опохмелиться не успеет, как в кармане ветер гуляет. Афиноген сунет ему там муки сколько-то, товару какого, пороху, дроби и приговаривает:

– Смотри, паря, бей зверя в глаз. А то что ж за товар? Да приготовь поболе на обратный мой приезд. Тогда и рассчитаемся за добро моё.

Мужики диву даются: как так получается? К бумагам Финогеновым сунуться – там всё чисто да гладко расписано. А какой навыкнутый в грамоте подвернётся да умом станет на купца напирать, так умнику тому начальство местное хвост приступит да каторгой грозитяся.

Были и посмелей. Домогались правды: прошение там, жалобу напишут... Только где она, правда-то, объявится, коли купцом все власти куплены.

Так и сходило всё лиходею с рук.

Дознается, было, о недовольствах, выйдет на народ, хорохорится: я-де всех вас тут товаром пользую, всех кормлю-одеваю. Без меня бы ходили голыми. Креста на вас нет!

Лет этак пять, а то и того боле, обобирал наш народ мироед трухлявый. Под конец вовсе обессовестил, орать начал:

– Все вы тут у меня в долгах, как в шелках! Мне одному и должно зверя носить! На сторону куда – и думать забудь!

Один год больно добычливый удался: соболя прямо-таки сами шли под выстрел. Вроде кто из тайги гнал их на охотников. «Ну, – думают мужики, – на этот раз откупимся от Финогена!»

Где там! Всё заграбастал, окаянный! Люди опять только руками разводят.

Тут и объявился Ефимка-охотник. Такой, глянуть, кедр! Идёт – земля под ногой гукает. Волосом рус, зубами бел, глазом смел да востёр! На кого поглядит, тот язык зубами прищёлкнет да крепко держит. Откуда такой? Раньше-то и в глаза его никто не видел. А говором да повадками – свой. Всех поименно кличет. Будто отродясь между охотников силу свою буйную копил.

Дня три меж людей разговоры слушал нерадостные, цены на зверя, купцом положенные, распознал да и явился сам к Финогену поганому.

Кинул Ефимка перед купцом штук этак двадцать соболя отборного, голубого с серебринкою, дымком так это вроде таёжным подёрнутого; у купца от жадности дух перехватило.

– Где, – спрашивает, – бил-добывал?

А Ефимка ему отвечает в приговор да с ухмылочкой:

– Где, – говорит, – был, там и бил, а где побывал, там и добывал. Бери, купец, не мешкай, пока в другое место не отнёс.

И цену назвал до того мизерную, что охотники, которые близко случились, косым глазом на Ефимку уставились.

«Ишь ты, леший зубастый, – думают, – добряком да свояком прикинулся. А на вот тебе! На нет цену на соболя собьёт».

Даже Финоген диву дался.

«Ну, – прикидывает, – парень по молодости своей, видно, совсем цены соболю такому не знает». А сам себе на уме. Брови сдвинул и попёр во весь опор на Ефимку:

– Ты, – шипит, – шатун-бродяга, как сумел столько соболя один добыть? Не можно столько одному-то. Держи передо мной ответ: кого ограбил-погубил?! Я тебя за грабёж да разбой потяну куды надо!

Ефимка ничего... не сердится. Хитро так на ерепеню поглядывает да посмеивается, будто жадные струночки в купеческом нутре перебирает.

Совсем Афиноген взбеленился. За властью стал мужиков посылать.

Те вроде к дверям... Да куда там! Повёл Ефимка глазом, они и присохли у порога, прямо рукой-ногой двинуть силы нет.

Повернулся Ефимка к купцу и говорит:

– Ай, купец-удалец! Чего ты скачешь, будто блохи тебя колют? Народ беспокоишь попусту. Правду-то сквозь хитрость да брёх разглядеть – не ох! Да вот хватит-то её ровно на столько, чтобы глаза тебе протереть да на чистую истину глянуть. У моего батюшки в таёжной кладовой такого добра видимо-невидимо припасено для добрых людей. Может, у тебя, купец, охотка имеется сходить-поглядеть? Тут – рукой подать.

От жадности Финоген и про себя забыл. Шубу на ходу напяливает, в рукав попасть не может никак.

– Веди, – хрипит, – меня в свою лесную кладовую. Ежели не брешешь, всё сполна уплачу.



Обмолвился купец так-то, Ефимка и пошёл за дверь. В спешке Афиноген и про ружьишко своё забыл.

Мужики некие увязались следом.

Тоже ведь любопытство осторожность побороло. Страсть как захотелось поглядеть на Ефимкину кладовую.

Вошли в лес. Тут смотрельщики-то незванные потеряли из виду Ефимку с купцом. Вроде как заблудились маленько.

А Ефимка идёт своим делом по тайге, песенки насвистывает. Ровно да неторопко вышагивает. Афиноген же тот, сколь ноги ни подгоняет, всё за парнем успеть не силён.

Долго так шли. Узрел купец, что лес перед Ефимкой сам расходится: где ступит, там дорога наезженная. Купчине же всё бурелом да валежник под ноги подоспеть горазд.

Струхнул Афиноген. Видит, дело тут мудрёное! Загоношился:

– Куда ты меня, к чёрту, ведёшь? Где твоя кладовая?! Шутишь, брат! Не пойду дальше! Сам ко мне своё добро приволокёшь.

Остопился Ефимка, поворотился к купцу: глядит на купца медвежья образина, очами ворочает.

Афиноген со страха глаза руками захлестнул. Подождал, что будет, и отвёл от лица ладони.

Стоит он один-одинёшенек среди тайги дремучей.

Плюнул купец. В сердцах корягу сапогом саданул. Заохала та коряга, зашевелилась и поднялась со хвой стар-старичком.

Сед старичок, борода голубым отливает, искорки серебряные на бороде вспыхивают, во рту трубка-берестяночка.

Опомнился купец, бежать кинулся. А старичок ему вдогонку:

– Куда так торопишься, честной купец? Ишь ты какой оказался зобастый: ни прощай, ни здравствуй! Сынок мой надясь сказывал мне, что охота к тебе припала мою таёжную кладовую поглядеть. Гляди, коль нужда доняла. Денег я не беру за гляденье, только не ослепни, купец.

Упредил так-то старик купца, сам трубку в рот – и задымил. Валом повалил тот дым трубчатый. Голубой весь, с искоркой! Чисто мех соболий, самый дорогой!

С виду получается, что лес горит, да гарью не пахнет. Скоро ветром потянуло. Разошёлся помаленьку дым тот трубчатый, а кругом!.. На деревьях, на кустах разных шкурки соболя, лисы, куньи да прочие какие поразвешаны! Ну как есть лесу не видно.

Купец и про страх свой забыл.

Кинулся купец те шкурки собирать, да на кось, выкуси! Какую рукой ни схватит, та в зверька обернётся – и нет его.

Совсем одурел Финоген: на кусты-деревья бросается безо всякого толку, ругается на чём свет стоит. Всё на себе прирвал-прикончил. Одне отрепья болтаются.

Тут на кусту медвежья шкура подвернулась. Со злости купец хватил её кулачищем. Перед ним и поднялся медведь дыбком! Идёт, на купца зубы скалит, вроде как знакомо ухмыляется.

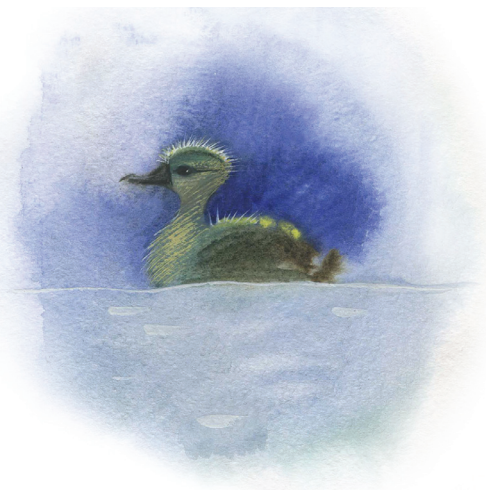
Купца пот холодный прошиб. Куда деться? Как бы ему! Да в ту пору натолкнулись на него мужики, которые навязались было на таёжную кладовую вместе с Афиногеном поглядеть. Пальбу подняли. Убежал косолапый. Кинулись мужики к Афиногену, да лучше бы и не видеть его вовсе. Успел-таки топтыга купца погладить. Так со лба всю шкуру и стянул. Оба глаза ненароком прихватил.

Выжил, сказывали, купец тот. Слепым только на всю жизнь остался.

Говорил он людям про Ефимкину кладовую, да люди на него только рукой махнули: свихнулся, мол, купец со страху, а может, от жадности.



КИРЬЯНОВА ВОДА



Так ли, не так ли дело-то было, пойдёшь теперь у ветра спроси. А и не так, да так...

Подрались как-то на крутом яру Фимка с Лёнькою. Чего подрались, сами не знают. Фимка от Лёньки в кусты пятится, одною рукой под носом мажет, другою грозит:

– Налезешь, ты налезешь... Я к тебе подкрадусь... спихну в омут... там быстро Савватей-барин зачикотит.

– Ой, пупырик! – жмётся со смеху Лёнька. – Пушай Савватей твою бабку чикотит. Брешет она про барина, чтобы пацаны в омут не сигали.

Фимка чуть было не задохся от обиды:

– Сам брешешь! Повылазят глаза мои, когда не видела она того Саввата. Голый... Зенки, во! Синий! И орёт кошкою...

– Когда ж она углядела того Саввата?

– В ту же субботу. До бани ещё...

– В сутёмы?! – пугается Лёнька. Фимка хитрить совсем не умеет и потому верит Лёньке.

– Ну. А то...

– Вот те и «ну», – фыркает Лёнька. – То ж мы с Петькой Рэпанным

теми сутёмками на омуте поспорили: кто на Савватея страшнейше будет пошибать. Нукало...

– Ври! – только не заревел Фимка. – Рэпанному дед хворостиной в субботу лупцовку давал за Перчиху. Перчиха ещё грозилась через ограду: «Если, – шумела, – твоего оглодыша ещё угораздит на моей избе чертомыльню разводить, я больше здря орать не буду. Я до осени подожду...». И подождёт... Кислярихе ж она тою осенью подсвинков в огород напустила? И Рэпанному напустит.

Лёньке стало невесело, но он всё-таки петушился:

– Ой, напустила. Побегу вытурять. Да мы ж ей с Петькою, если надо, ещё и не такое сработаем. Она ж со страху помрёт... А то понапридумывала – чужих голубей приманивать. Пуцай своих разводит да и лопают. Мы ей...

Лёнька икнул, будто его саданули по затылку, глаза ошалели, и гаркнул он полной глоткой:

– Лыгай, Фимка...

Но блажить-то поздно было. Фимкино ухо уже потонуло в цепких пальцах тётки Перчихи.

– От они, злодеятки, иде стакнулись. О-ой! – подивилась она на Фимку. – И ты, хорёк сопливый, в ихню компанию затесался? Ишшо один голубячий заступник выискался. Я тя щас вот перцем-то натру.

На Лёнькиных глазах Фимке ж нельзя не хорохориться.

– Чо ухо-то крутишь?! Сама глухая, что пим. Крутишь кому попадя. Пусти!

– Я тя пушу, я пушу... Я тя щас так пушу, что бабка с маткою целую неделю тебя собирать будут.

Фимка своё гнёт:

– А неправда? Кто чужих голубей лопают?

Перчиха и глазами заморгала:

– Ой, небитый! Давно-ка ты, паря, небитый. Айда к матери, – она потянула Фимку из кустов на тропку, – щас она твою правду оголит да изрисует. Она её тебе, как самовар, начистит.

А и то... Про Лёньку в деревне люди и говорить притомились. Отец его плотогоном был. После смерти отца мать Лёнькина заговариваться стала – не до сына... Ой, хороший у Лёньки ж был отец... А Лёнька – враг! Но и про него находились добрые души. Нет-нет да и скажет кто:

– Попомните меня: израстёт малец. Ха-ароший из него человек получится.

Забытый Фимкою и Перчихой, Лёнька по-за придорожными кусточками и сухостоем поспешал вровень с ними. Он поглядывал между веток на Перчиху, крался по разнотравью, забегал вперёд, а то отставал, прикидывая чего-то... Глаза его ждали и веселились... Нечёсанный вихор колыхался, как петушиный гребень.

Когда же тропка пошла спускаться с лесистого яра к ручью, Лёнька бесом вымахнул вперёд и сунулся головою в ноги тётке Перчихе. Перчиха молча перевалилась через Лёньку, потом, хватая воздух руками, через свою голову и с криком покатила в ручей.

Фимка сперва ничего не мог понять. Он всё ещё щупал горячее ухо, таращил на Лёньку и без того здоровущие глаза. Но, почуяв свободу, крутанулся на пятках и дёрнул галопом в лес, подальше от неожиданного спасителя.

А Лёнька-то и не думал его догонять. Он отряхнул штаны, сунул пальцы в рот и лихо свистнул. Телок, что пил из ручья, поставил свечкою хвост, брыкнул и поскакал на Перчиху. В нём, видать, заговорила телячья прыть.

Скоро Фимкина радость сменилась нудною тревогой. Теперь столько Перчиха насоветует Фимкиной матери, что мальцу легче в омут нырнуть, чем домой воротиться.

И ведь в том самая досада, что Фимка с Лёнькой недруги давние, ещё с прошлого лета, когда Лёнька утопил в омуте Фимкины штаны. Поскольку же, кроме штанов, летом Фимка носил только цыпки да веснушки, так и принудило его Лёнькино озорство с полудня до заката просидеть нагишом в сырых тальниках. Дождаться ж у ому-та полной темноты и большой не вытерпел бы. Так не успел тогда Фимка в закатных лучах вынырнуть из тальников, как сквозной свист прямо калёною стрелою продел его с головы до пяток. Лёнькину потеху подхватили другие озорники, да так дружно, что в деревне заголосили спросонья заполошные петухи.

Метнулся тогда Фимка блёклою звёздочкой через лощину и погас в самой что ни на есть густой крапиве. Скрыться тогда больше некуда было. И теперь кожа у Фимки вздувается волдырями, только вспомнит он про ту крапиву. Да и материны примочки оказались тог-

да не слаще. Но самое обидное, что Лёнька, заливаясь хохотом, орал Фимке вдогонку:

– Эй, пупырик! Вернись! Пуп потерял.

Этого-то «пупырика» и не мог Фимка Лёньке простить. Сонными ночами, что есть мочи, лупил Фимка Лёньку нещадно. А вот при свете получалось обратное. Однако Фимка упорствовал и не думал покориться Лёньке. За эту-то неугомонность втайне Лёнька сильно уважал Фимку.

Ручей, где искупалась Перчиха, бежал от реки, делал разворот и сливался в омут. На сливе воды были видны здоровенные чёрные брёвна. Кой-где торчали в тех брёвнах поеденные ржой огромные гвозди.

На этом месте в забытые времена красовалась мельница Савватея-барина. Тут, говорят, и спихнула его нечистая сила в подколёсную глубину.

Савватеево хозяйство без строгого догляда оскудело, мельник запислся, мельница подгнила и рухнула. А те брёвна, что оставались всё время под водою, сохранили свою крепость и по сей день.

Низкий левый берег зарос. Тут летами царствовали деревенские свиньи. Сам же омут был обжит птицею всякою. Гогот и криканье в летнем мареве стояли невыносимым содомом.

Вплотную к воде можно было подступиться разве что со стороны брёвен. Но именно тут, говорили, и сидит Савватей-барин.

И хотя самолично никому не выпадало столкнуться с утопленником, омута боялись и, пожалуй, не меньше, чем барского дома на яру. Даже белым днём ходить сюда не очень торопились.

Мальцы другой раз по дурости и ныряли в омут, но заглянуть в самую подколёсную глубину никому не довелось. Тому же, кто пытался достать дно, не хватало дыхания.

На самом же гребне, на лысой, как голова новобранца, маковке левого яра высился двумя этажами старый барский дом.

Сколь разочков пытались сельчане приживить к деревне этот дом. Но затея так никому и не удалась.

А ссылались на то, что живёт в старом доме какой-то неясный голос.

Нет-нет и даст о себе знать. Кого-то кличет, кого-то зовёт тот голос, всё плачет, стонет...

Как-то случился в доме пожар, но сгорели только половицы в одной из кладовых хозяйственной пристройки. Дальше огонь не пошёл, сам погас. И пополз слушок, что-де видели, как Савватей выходил из ому-та да погасил в доме огонь. Тогда-то люди и заколотили в старом доме двери и окна широкими горбылями.

Фимка устроился на самой крутизне, свесил с яра ноги и между тревогою стал подумывать о том, что пора, быть может, простить Лёньке летошные штаны...

Одно из брёвен запруды дулом громадной пушки торчало над водой. Юркие утята крутились тут же, над самой глубиной ому-та. Они торили по воде рябые дорожки, ныряли во встречную струю неугомонного ручья, потешно дёргали тонкими ножками.

Самый проворный из этой пушистой оравы подкатил к поднятому краю бревна, скользя, влез, остановился у самого среза и глянул одним глазом вниз. Ясно, примеривался: далеко ли вода. Решился, колыхнулся на ребре среза, прираспустил пуховые крылышки и свалился в глубину.

Фимка мигом приметил потешного ныряльщика и стал следить за шустрым затейником. Вынырнул птенец из воды куда как дальше прочих утят. Это ему, видно, понравилось, потому что он громко крикнул, потряхнул грудкой и весело развернулся к бревну. Фимка напрочь забыл недавние горечи свои и всею душой заболел птичьей забавой.

А вокруг вечерело.

Уже в который раз ныряльщик оказался на бревне. Закатный луч солнца скользнул по серой его спине, вспыхнул капельками воды на трепетных крылышках удалца и... Фимке привиделось, что не крылья встрепыхнулись над утёнком, а шитый золотом камзол взвихрился полами и исчез вместе с хозяином в чёрной глубине ому-та.

Фимка задохнулся. Он вытянулся, как гусёнок, в жутком ожидании чего-то. Но птенец вынырнул птенцом, и Фимкина пустая надейка на то, чего и быть-то не могло, сменилась прежней заботой: надо было идти домой.

А шепотной ныряльщик всё продолжал свою затею.

Вот он умело влез на бревно, лихо дошлёпал до края и... хитро оглянулся на парнишку. Фимка замер. Утёнок поднёс к широкому клюву перепончатую лапку, будто призывал мальчика не шуметь, и хотя

расписного камзола на птенце Фимка больше не увидел, однако ожидание чего-то ещё более непонятного бросило мальчишку в трепет...

– Кири-кири-кири! – донеслось из-за поворота дороги. То Перчиха шла на омут собирать свою живность. Фимка еле удержался на крутизне. Вся его фантазия разом выпорхнула из головы, и на четвереньках он отполз подальше от берега. Сокрывшись в траве, малец видел, как Перчиха собирает уток.

Когда крикливый отряд пропал за поворотом, Фимка понял, что день кончился. Тальники у запруды спокойно клонили свои тёмные ветки к омутовой тихой воде. Даже свиньи, которые только что охали в топи низкого берега, успели когда-то исчезнуть.

В смурной тишине затухающий голос тётки Перчихи показался мальцу таким родным, что Фимка бросился домой, боясь даже обернуться на омут.

Но не успел он ещё и на дорогу-то выскочить, как долгий, жалобный крик возник над лысым яром, от старого барского дома скатился к тальникам:

– Кирь-рька-а, Кирь-рька-а... – звал кого-то тоскливый голос. – Кир-р-рь...

У Ефимки похолодело в животе.

Минуя дорогу, напрямик, лопухами и шиповниками ломанулся Фимка к своему огороду. Весь облепленный репьем, в ссадинах и обдёргах, перевалился через огородный плетешок и с лёту вкатил в распахнутые тёплые руки своей бабушки.

– От оглашенный! – прижала она к себе насмерть перепуганного внука. – Да где ж ты опять обремкался-то весь? От непутный! От оглашенный! Носит тебя окаянная... Чего ж трясёт-то тебя всего, как маслобойку?

На каждый свой вопрос, на каждое восклицание бабка сокрушённо качала седою головой.

– Что ж ты это с тёткою Перчихою давеча наработал? Она ж меня этак-то когда-никогда вместе с избою... и с огородом заглотнёт... Ты бы уж меня-то бы, старую, пожалел. Не связывался бы ты с Лёнкой, што ли...

Фимка хотел было улигнуть от ответа. Он вывернулся из-под старой руки, но оробел перед темнотою сеней и, виноватый, приткнулся лбом к бабушкиной груди.

– Пойдём-ка, милай, – сразу обмякла старая, – пойдём, зёрнушко ты моё. Пойдём, я тебя укладу, покуда матери нет дома.

В избе было тепло и надёжно. Фимка одним духом опорожнил кружку молока, сцапал со стола пирог покрупней и полез на печку...

Старая ж приняла с полки куделю, подсела прясть поближе к оконному свету.

На дворе теплился долгий летний вечер. И в избе слышно было, как обалдевая от цветения трав на все лады сходит с ума луговая саранча.

Привычно, почти на ощупь тянули старые пальцы в полутьме длинную нитку. Не мешая покою, постукивало о застеленные домоткаными половиками половицы тонкое веретено. По обычаю, по вековой привычке не могла старая не петь за такую работу:

Среди долины ровные,
На гладкой высоте...

Фимка перестал жевать, зажмурился... Хотел увидеть могучую красоту никогда не виденного дуба, но углядел он тёмный омут, барский дом на лысом яру... дрогнул от пережитого страха, позвал:

– Баушка...

– Аиньки, – продолжая тянуть нитку, отозвалась старая. – Чего тебе, внучек?

– Я ноне слышал...

– Ну?

– Ноне ктой-то орал в Савватеевом доме...

– Ну! – остановила старая веретено.

– Глухо так... Будто кого за шею давили...

– Поди-ко ты! Чо орал-то? Звал кого али просто?..

– Звал, – мотнул высунутой из-за занавески головою Фимка, – вот эдак-то.

Парнишка потянул шею с печи и надсадно взвыл через стиснутые зубы:

– Кир-р-рь-рь-ка-а...

Бабушка перекрестилась, помянула Господа, поднялась и, глядя внука по голове, сказала:

– Поди-ко всё Лёнька дурака валяет?

– Не-а, – уверил её Фимка. – Я Лёньку в тальниках тогда видел... Я чуть в омут со страху не скатился.

– Ну ладно, ладно те... Спи-тко вот лучше. Не то мать с поля воротится, нахлопает по заднушке-то...

Задернувши занавеску, вернулась старая на место, но прясть не поспешила.

А за окошком вечер сгустился, и казалось, весь дневной свет собрался капельками на тёмном небе.

– Чой-то матери твоей долго нетути, – сказала старая. – Видно, в поле сговорились остаться... Нет. Люди здря болтать не станут. Ишь ведь как... Не каждому тот голос слышать... Ой, давно его не было...

Фимка не то жевать, дышать бросил. Затих на печи, что скворушка...

Только рот разинутым оставил...

– В мою молодость всякое говорили об том голосе. Одно, что Савватей-барин сваво работника кличет, другое – наоборот: работник тот об себе людям знак подаёт: вот, мол, я. Сыщите-ка меня, кто смел да умён, а я вам за смелость вашу открою великую тайну. А ещё сказывали... Ну так я тебе всё порядком расскажу, покуда мать дожидается...

Встренулись они, Савватей-то с Кирьяном, ещё, знамо, до того, как Савватейю ж барином сделаться. Он, Савватей, вишь, смолоду больно страдал о богатом житье. Прямо помогнуть бы царю со своего места слезть, да самому сесть. Ему и во сне хоромы да колокольные звоны виделись. Только боязнь каторги и держала его постройки. Взял тогда Савватей и подался в нашу тайгу золото искать. Одному-то по здешней тайге блукать – скоро озвереешь. Так он улестил посулами парнишонку с чужого двора; долго ли недоростышу, вашему брату, голову задурить? Сколь тогда Кирьяну тому было? Небольшенький. Может, чуток тебя поболе.

Уманил Савватей Кирьяна с родного двора тайком, не спросясь отца-матери. В тайге-то он его и окрестил Кирькою.

Кирька да Кирька.

Звонче по тайге кличется.

Эвон куда убредали в своё время золотишники-то! Увёл и Савватей Кирьяна к чёрту на кулички, а сам возьми да и захворай в лесу. Свалила Савватейя с ног таёжная немочь. Всё! Падает, глаза закатывает... Кирьян переполошился: куда ему кинуться? А Савватейя не бросает, думает к реке выволочь – не так страшно у реки-то. А тут попадись в тайге яма. Долж-

но быть, земля в этом месте заболела тожить да и провалилась аршин этак на десять, а и того глубже.

Доволок Кирьян Савватей до самой ямы и всё... Хоть рядом ложись да помирай. Нисколько силы у Кирьяна не осталось. А гляди, уж и ночь в затылок дышит. Пора бы им и костерок устраивать.

Набрал Кирьян хворосту, наладил костёр... Воды опять нету! Покуда засветло, надо бы воду найти. А далеко от больного отойти боится.

Покрутился парнишка да и думает: «Дай-ка погляжу в ямине. Может, где дождичек скопился? А то родничок найду...».

Верёвка у них с собою крепкая была, длинная...

Вот Кирьян одним концом ту верёвку за сосну захлестнул, на втором ведро в яму опустил и сам туда же...

Спустился Кирьян на самое дно таёжной ямы и удивился: будто бы знал, где да что на земле делается, – вот он, ключик-то! Под самую стенкою прыгает-трепещет, ажно светится весь навстречу Кирьяну! Будто соскучился и в руки просится. Место себе чистое размыл, а бежать никуда не бежит, прямо тут же под камень прячется. Вода в ключике ясна, светла и всё вроде то голубым, то розовым отдаёт, то желтизною пронзит её и... тёплая. Кирьян больше доверял холодной воде. Да уж какая есть. Наплескал малец горстями полнёхонько ведро и вылез, и ведро из ямы вытянул.

А Савватей наверху уже, гляди, последним паром исходит – синеть начал. Кирьян давай его тою водой отпаивать.

Вроде бы мал-мала очухался Савватей, потеплел.

Кирьян ухо приложил к Савватеевой груди – сердце послушать, да и, не помня себя, уснул. Притомился до упаду.

Утром чует: Савватей сам к ведру тянется. Раз-другой глотнул да и понужнул лешего крепким словом: не понравилась, вишь ты, Савватейю вода – горькая.

– Гдей ты, – спрашивает пацанишку, – воды-то поганой начерпал, голимая полынь!

– Из родника набрал...

И никто не знал, как у них дальше получилось, а только понял Савватей, какая такая вода в яме таёжной под каменную стеною прыгает. Спросишь, какая? Живая! Вот какая! Савватей тот на самом себе испытал её силу. А Кирьяну виду не показал, что ему понятно. Зачем

ему теперь Кирьян? Только лишний пайщик. Вот и стал Савватей голову кидать: как ему сделать так, чтобы за одним за собою оставить это золотое место. Ни к руке ему Кирьян возле того ключика. Хорош, говорят, сокол в полёте, а чёрт — в болоте. А малому где ж было понять, какое богатство открыл он в земле для Савватаея тем живым ключиком...

Савватей в туё пору, зная, не вовсе ещё душу-то свою чёрту продал. Вроде бы и жалко... совестно ли... так вот взять и положить мальчишку в тайге своею рукой. Так он чо придумал? Он с Кирьяном ушёл тайгою подальше от того места, будто золото опять искать принялись, закружил мальчишонку по буреломам и бросил его в тайге, и огонь, и провиант... всё как есть забрал и ушёл к Кирьяновой воде.

Ить вот не мог подумать Савватей, что Кирьяну повезёт. Уж сколько он наорался, уж сколько набегался... И в болоте-то он гнилом тонул, и сонный с кедра на землю падал, и от медведя вплавь по реке уходил... Медведь-то его к реке и выгнал... Напоследок оглох от голоду: за рекою собаки лают, а ему не слышно. Спасибо ещё, одна собака шельмовая блукала в лесу без хозяина и наскочила в кустах на Кирьяна. И ведь какая оказалась умница: прямо волоком дотянула мальчонку до берега, а там давай на всю округу выть. И подняла народ!...

Выходили Кирьяна добрые люди, домой, к отцу-матери, отпустили...

А Савватей? Тот быстро в гору пошёл. Тот дело знал! Скоро у него и деньги появились. А деньга деньгу любит. Поплыли, посыпались... В работники нанял крепких мужичков. Они ему близкую речку плотиною загородили и пустили ложиною между наших двух яров прямо в ту лесную яму, где теперь омут. Когда вода в яме ровно с краями набралась, река, по-под правым яром, низинкою пошла, обогнула левый крутояр и с другой его стороны влилась в своё же русло. Вроде как водною петлёю обхлестнула лысый яр. Вот на этом-то яру и поставил себе Савватей крепкий дом. На сливе же реки в омут соорудил мельницу.

— А ключик живой?

— Это когда работники Савватеевы реку задумали повернуть, так тот ключик шибко хитро куда-то в сторону отвели. Ой умный Савватей тот был. Страшным умом был умный! Вишь, как получилось у

него с теми мужичками. Работу они ему сладили добром, как в руку положили. И заработанное честно от хозяина получили. Всё чин чинарём. Савватей им праздник закатил. Всего хватило! Так ведь, как кто-то сказал: уснул пьяный, а проснулся – мёртвый. Теперь спроси у тайги, что она в ту ночь у омута видела? Вот он каким, Савватейбарин, был.

А Кирьян когда-никогда про Савватея услышал. Да и как было про него не прослышать, когда тот уж чуть ли не в святцы вписан был народом за ту, за живую, воду.

Ведь он что людям говорил? Что сам и настаивает водицу на тяжёлых травах. У него даже в кладовухе одной сорокаведёрные бочки стояли – вода в них кисла.

Так вот таким ли, скажи, барином заделался тот Савватей – ой, да ну! Уж и в простой одежке ему холодно. Уж ему брезготно, уж ему ломотно... Камзол, шитый золотом, подавай! Ходит перед народом, батюшки! Повернётся, оглянется – матушки! Себя не видит, не то что людей.

Вот тогда-то Савватей и встретился с Кирьяном. И выпало им сойтись, да в одиночестве, да у того самого места, где в свою пору Савватей помирать собирался. Видать, Кирьян нарочно там его поджидал, чтобы, может, о прошлом напомнить да совесть Савватееву пробудить. Ой, Господи! Была бы у волка совесть, он хоть бы морду отворачивал.

Ну и сошлись. Кирьяну узнать нужно, где Савватей спрятал живую воду, чтобы народу показать. А Савватею ж это чистый разор. Ему-то какая охота Кирьяну уступать? Стал он бывшему своему работничку золотые горы сулить. Камзол скинул – на, мол, носи!

Только о богатстве-то разные понятия в них жили: не проняла Кирьяна Савватеева жадность.

Тут-то они и схлестнулись драться.

Бывает так, что хочет человек прыгнуть да упадёт. Так и Савватей. Торопился Кирьяна в омут спихнуть, да сам и пошёл мерить подколёсную глубину.

А вот тут-то самая загвоздка получается. Уж кто там подглядел за всем этим делом, а только говорили, не каялись: когда стоял Кирьян в полной своей растерянности над омутом, подкралась к нему



со спины Савватеева мать и накинула на плечи молодцу сыновий камзол, что на траве валялся.

Будто бы придавило Кирьяна к земле тем камзолом. Разом помельчал он, слипся в комочек и сам пошёл в омутовую воду. И поплыл Кирьян по воде серым утёнком. И плавать ему, говорили, до тех пор, покуда не окунётся он в тёплую струю живого ключика. Да только вот беда: стоит Кирьяну отыскать заветное место, как тут же, невесть откуда, появляется Савватеева мать, и ключик пропадает бесследно. А вот кому бы кричать на лысом яру, того никто не сказывал. Да и голос тот не больно часто даёт о себе знать. Последний раз, не помню, кто и говорил об этом.

Бабушка вздохнула, посидела молча.

Добавила про себя:

— А может, то живой ключик голос подаёт да всё к людям просится?

Снилось Фимке, что сидит он на крутом берегу омута. Вода в омуте чёрная и берега чёрные. И лес на той стороне реки, и небо... Всё чёрное. Но всё, до точки, различимо. Хорошо видно, как далеко внизу, у самого края воды, снуют чёрные водомерки, и каждая травинка под яром отливает своею особой чернотой. А тихо-то кругом! Так тихо, что слышать, как горят в небе звёзды и где-то далеко-далеко, может, по ту сторону, что-то бухает в землю, бухает...

То буханье всё нарастает, нарастает и вдруг обрывается утиным криком. Фимка видит на чёрном бревне омута огромного, с корову, птенца. Он тянет к Фимкиному яру долгую, колючую шею, хлопает полами расписного камзола и вскрикивает так, что у Фимки в ушах чешется:

— Кир-р-рька, Кир-р-рь...

Фимка валится с яра в чёрную бездну, летит, бьётся о выступы крутизны, сшибает в воду камни, но сам до близкой воды никак долететь не может и просыпается.

Сонный покой настоялся в избе, но Фимка мог бы побожиться, что не избяная умиротворённость разбудила его, а что-то исходящее со стороны подняло его среди ночи.

Хоронясь разбудить больших, Фимка сполз на животе с печи, зябко потоптался на месте, поскрёб крапивные волдыри, подобрался к

окошку: весь видный в щедром лунном свете за окном стоял Лёнька. Он махал руками, манил Фимку на улицу и приплясывал от торопкости. Нехотя, спотыкаясь о свои же ноги, Фимка вышел на крыльцо:

– Чо надо?

Да Леньке ж чихать на Фимкину гордыню. Покуда тот стаскивал со ступеней ленивые ноги, Лёнькино терпение лопнуло, и он сразил Фимку наповал:

– Перчиха к Савватею пошла!

Фимку будто пнули сзади.

– Когда? – слетел он одним духом во двор.

– Важничаешь... – только и сказал Лёнька. – Айда скорей.

Сквозь огородную калитку, повдоль грядок, через плетень, ложбиною, за ручей... всё разом, сплошным наметом покрыли парнишки и, запалённые, с ходу ушли в тальники у лысого яра.

К дому на яру можно было бы подобраться только со стороны реки. Там, на месте снесённых весенними водами старых деревянных сходен, чернели в береговой крутизне глубокие вымоины, лоснились гладкие каменные уступы. Этакой чёртовой тропинкой могли подниматься на яр разве что мураши да самые отъявленные сорванцы.

Фимка с Лёнькой добрались до реки и крутизной стали карабкаться на плешистую маковку.

Когда вровень две головы поднялись над кромкою яра, близость Савватеева дома показалась им странной: будто бы дом поджидал мальцов и сам подвинулся поближе к берегу, вроде прислушиваясь к шорохам ночи. И всё кругом, такое весёлое днём, теперь стало другим. И лозняки, и сосняк за рекою, и сама река... всё чего-то ожидало плохого. А вот луна... ту земные страсти не пугали, светом своим так и лезла в щели заколоченных окон, уж больно ей хотелось узнать, что же делается внутри старого барского дома.

Ребятишки на коленях выползли на каменное темечко яра, прилипли животами к холодной его плешине, замерли...

Прямо, считай, перед носом сквозила чернотой большая дыра. Это, однако, тётка Перчиха, пробираясь в дом, оторвала внизу приколотенные на месте бывшей двери горбыли и, разведя их на стороны, оставила так до поры. Дыра, казалось, втягивала в себя тишину ночи. Злая, разбойничья тишина натянуто звенела над яром и ползла, ползла в чёрную дыру.

Голова к голове, подбирая штаны, двинулись мальчонки к чёрной плотке страшного Савватеева дома. Она проглотила их обоих разом и осталась разверзнutoй ждать, может, ещё добычи.

В давние-то времена от парадной двери барского дома поднимала гостей и хозяев наверх богатейшая резная лестница. Теперь та лестница и обломана была, и обобрана, и сама развалилась, и подняться на второй этаж можно было только «вподтяжку». Из нижней бывшей гостиной по крепким ещё крепёжным столбам надо было подтянуться до потолочного перекрытия, там протиснуться между широких досок и очутиться в барских опочивальнях. Лепные потолки оглядят тебя сверху донизу, за потрёпанными обоями станут шушукаться про тебя, как столетние хозяйские приживалки, хрупкие от давности газеты.

Тётке Перчихе такие фокусы не по летам. Где-то внизу она, рядом. А может, и Савватей с нею... Кажется, руку протяни – и упадёт на ладонь холодная капля с мокрой его бороды. А темнота в доме такая, что её можно попробовать языком: сырая, холодная, гнилая... а густющая! Промешай её весёлкою – потянется следом, как тесто.

Фимка с Лёнькой прокрались из парадной в гостиную. Там оказалось поприсядней: луна смотрела сквозь щели горбылей и резала темноту полосами света.

Неслышно ступать по половицам гостиной оказалось делом мудрёным: они и стонали, и пели всеми голосами.

Впритирку к стеночке пошли ребята глубже в дом, туда, где была когда-то барская кухня, где пахло плесневелой глиной, и дальше, в просторные, жадные барские кладовые. У дверного проёма кладовой Лёнька вдруг остановился, и Фимка больно обступил ему запятку. И тут-то встречу ребятам зашаркали осторожные тайные ноги. Смутное бормотание скоро стало различимым, и вот уж у самого порога кто-то сказал в темноте:

– Шишнадцать, однако... Ишь ты, суета пёстрая...

«Перчиха!» – поняли мальцы. А Перчиха продолжала говорить:

– Самая ж, холера, ноская... Ну ды, чёрт с нею! Пушай дома не сётся. И так хорошо...

Так вот за какую такую нуждой ходила Перчиха в старый барский дом, да ещё ночным временем!

И не успел Фимка толком сообразить, об чём это Перчиха печалится, как та уже перевалилась старым телом через порог кухни. Половицы охнули под такую тяжестью, трубный голос раскатил всю тишину, да с таким грохотом, что Лёнька с Фимкой не утерпели и захихикали в ладони.

Перчиха, оставляя за собою широкий след побитых яиц, на четвереньках переползла кухню, завалилась за порог и там... святая её молитва скоро затихла в ночном покое.

А мальцы носились скоком по дому: нет никакого Савватаея!

Перчиха ворует яйца! Хорошо!

В кладовухе, где когда-то погас, не разойдясь по дому, давний огонь, вовсю хозяйничала луна. Должно, Перчиха сама лазила на чердак отворачивать потолочные доски. Над досками же давно проломилась, под тяжестью времени, тесовая крыша, и сквозная дыра впустила в кладовуху весь мир. По углам были хозяйски устроены курьи гнёзда. И не один день и не одна курица, видать, приносила сюда для Перчихи свои подарки.

— От ловкая, — дивился Фимка, — от жадная!

— Так она ж, говорят, за чужим-то добром в могилу ночью полезет, — уверил Лёнька.

Он умело поддел ногою первое гнездо, Фимка перехватил его и трепанул о стену... И пошла потеха...

Прах и перья взлетали к потолку и валились на головы мальцов, на стены, на нестогорелые балки пола.

Увешанные труху, усталые от буйства и страхов, довольные парнишки, наконец, уgomонились, сели рядком на балку.

Буря в них остыла, и опять стало напoлзать неведомое. А там подступила тревога, а там изо всех щелей полез вместе с тишиною давешний страх. Ребята прижались один к другому и затихли.

Вот наверху что-то ухнуло, стукнуло и заскрипело, будто отворилась давным-давно закрытая дверь. И поползли по дому шорохи и шёпот. Хрупнула лестница под чьей-то тяжестью, в кухне звякнула ведёрная дужка...

Мальцы замерли! Явственно и жутко дохнуло в углу кладовухи, зашипело капризно, и тонкий жалобный голос позвал из-под земли:

— Кирь-рь-ка...

Как очутились мальцы в деревне, и так понятно.

Горели обхлыстанные травой голые ноги, щемило глаза, душонки трепыхались выпавшими из гнезда жуланчиками.

А деревня ещё спала глубоким утренним сном. И не было в этот сладкий час никому самого малого дела до лысого яра.

Кто звал, зачем, почему канувшего во времени Кирьяна? Сам ли Савватей маялся неуёмною жаждой мести за свою страшную погибель или ещё какой нечистый дух отпугивал от лысого яра людской интерес? Но голос тот был такой живой, что Фимка с Лёнькой за эту правду готовы были положить животы свои.

Оба вместе поднялись они на повесть, где сохла скошенная для овец Фимкиной матерью трава. Сладковатый парной дух тронутого поверху утренним холодком молодого сена обволокло озорников миром и чистотой.

Мальцы оказались как бы отгороженными от недавних страхов надёжною стеною простой жизни. Вся неуютность, вся неотогретость недоступного осталась там, на лысом яру.

– Никого там нету, – сидя рядышком с Фимкой, решил Лёнька. – Я ж сам в том углу руками шарил.

– Так ить голос-то какой был? Подземный, – доказывал Фимка.

– А может, Перчиха чего там наладила, людей пугать? – не уступал Лёнька. – Чтобы не поняли, что за яйцами ходит?

– Не, Лёнька! – отказался Фимка. – Знал бы ты, про чо мне бабушка вечор говорила. Про Кирьяна!

Долго Фимка шептался с Лёнькой на повети про Савватей-барина, про Кирьяна-ослушника, про Кирьянову живую воду...

Когда уснули мальцы, и сами не помнили. И не слышали они, как ушла в поле Фимкина мать, как Фимкина бабушка, поднявшись с крехтом по лесенке, долго глядела на сопатых друзей, сонно разметавших руки-ноги по молодому сену.

При дневном свете дом Савватей-барина смотрелся внутри куда как тяжело да больно. Глядя на облупленные углы за рваными паутинами, на плешивые стены, думалось: «Неужели тут когда-то жили люди?».

Плохо было тут, недужно. И никакого страха. Просто помирает то, чему давно пора быть забытым. Отсюда и неловкость, и робость, с которой мальцы виновато прошли комнатами. В кухне ж они малость заробели, а уж в кладовуху вошли только на одних козырях: как бы перед другом не оказать себя заячьим хвостом.

Тут всё помянуло ребятам о ночном разбое: горелый пол, балки, стены замела пыль, да труха, да перья... Поверху же неприглядности веселились солнечные зайчики. Уж такая весёлость исходила от них, что малыцы услышали сразу и воробьиную возню на чердаке, и ветровую лёгкую песню над яром, и вольготное парование духмяной тайги.

Но какая-то уступчивость тому тайному, что звало тут ночью незабытого Кирьяна, удержала сорванцов опять рвануться в бесшабашную радость. А заветный угол кладовухи тянул ребят к себе neodолжимой силою.

Дом Савватеев строился безо всякой боязни перед земною сыростью – брёвна укладывали прямо на скальную породу лысого яра. Никакого такого подполья, как в других-то домах, в этом доме не было, и Фимка с Лёнькой, потыкавшись в камень, сели прямо на труху и, от неча делать, уже нехотя выгребали ладошками из угла лежалую золу да уголья.

Из-под грязи потихоньку обглаживался перед мальцами плоский круговой камень, так это с печную заслонку обхватом. Каменная заслонка была плотно втёсана в основу яра ловкою рукой умелого человека. Но никакого подхвата, ручки ли, зацепки ли, крышка не имела и поднять её оказалось нельзя.

Э, нет! Не руками старой Перчихи вдолблена каменная заслонка. Не она тут подстроила пужалку. Да и где же ей, глухой, вполуха уловить под землёю вздохи и бормотание? Ей, поди-ко, и явный зовущий голос слышится как посвист шалого ветра.

И не затем заслонка в скалу втёсана, чтобы сохранять под собою холодную крепь лысого яра.

Когда-то же эта крышка кем-то отворялась?

Из тонкой, в ниточку, щёлки несло не то гарью, не то гнильём. Мальцам только и осталось, что припасть к заслонке и всем слухом уйти в неведомое чужое житьё.

Вдруг за спиною ребят что-то трепыхнулось и, обернувшись, увидели они на дверном порожке серого утёнка. Тот качнулся на слабых ножках, наклонил голову, будто видеть одним глазом ему было удобней.

Солнце снопом весёлых лучей заливало птенца, и Лёнька с Фимкой углядели на малой птахе шитый золотом, расписной камзол. А

под каменной заслонкой что-то щёлкнуло, крышка под ребятами будто лопнула пополам и пошла расходиться на стороны, подворачиваться куда-то под скалу. Ребята отскочили в сторону и увидели неглубоко, в этакой гладкой каменной выемке, тонкую струю родниковой воды. Вода светилась насквозь, тянулась к ладоням, подпрыгивала, захлебывалась радостью, просилась в руки и, не дотянувшись, убегала куда-то в яр, всхлипывая и журча негромкий укор.

– Кири-кири-кири.

Как гром среди ясна неба грянул над яром Перчихин голос. Что ошпаренные, подпрыгнули на месте ребята и увидели, что давешнего утёнка нет, и никакой заслонки – в яру, и никакого живого ключика... Закрылся яр.

Лишь наметена между мальцами куча лежалой золы да чёрных углей.

А в дверь кладовухи уже глядит носатая голова тётки Перчихи, и громкий голос радуется:

– А-а, злодеятки, где собрались. Щас я вас посыплю перцем...

Сколь потом ни слушали Фимка с Лёнькой, голос на лысом яру больше не позвал Кирьяна.

Может, когда-нибудь ещё кому суждено увидеть Кирьянову воду?

А и взять её у чёрной силы?



ЧУЖАНЕ



В тот год сильнющий боровик уродился, особенно высыпал он по суходольям. Бабы-девки по три раза на дню полнёхонькими кузовьями успевали его из красного леса¹ домой таскать. А которые из грибниц попроворней да побойчее оказывались, так те и до Спасова угорья добежали. По тому по Спасову угорью, когда бродил борами битый этот кулич, поднимался он таким ли масляным, что ты его, белого, полосуешь ножом, а он тебе улыбается. Ох, и гриб!

Одна лишь тёмная подробность смущала прытких бабёнок. Она-то и не позволяла им больно шибко раскатывать глаза на упомянутое угорье, чтоб безо всякой оглядки подбирать по нему дармовые коврижки. А в чём дело?

А дело в том, что незабытым временем на том на увале провалился сквозь землю весёлый охотник Аким Лешня. Не просто пропал человек в тайге, в урочищах которой немудрено заблукаться даже такому лесовику, каким слыл Аким, а вот именно провалился. Ну а ежели да

¹ К р а с н ы й л е с – чистый, молодой сосняк.

к этому утверждению вспомнить то, как он появился в деревне, тогда и вовсе голова становится непонятно чем, потому как напрочь теряет она всякую сообразительность.

За десяток годов до своего на Спасовом угорье провала вышел Аким Лешня на деревню всё из той же тайги. Хотя чему тут удивляться? Мало ли по каким дебрям гоняет жизнь человека. Мало ли до каких мест принуждает она его прибиваться. Не выходом из тайги удивил тогда селян Аким Лешня – изрядливым видом своим. Бывают, знаете ли, мужики рыжие, даже меднобородые. Так вот они с Акимом не пошли бы ни в какое сравнение. Дать можно было Лешне одно определение – огненный! И то не подошло бы. Огонь – он желтоват, дымоват. А тут чистая заревая алость. И при этом – что весеннее небо глаза! Да ещё оторочено это незабудковое чудо густо-медным оперением ресниц да бровей. Ой, красиво! – когда приглядишься. А поначалу, от непривычки, долго никто не решался Акима того постояльцем в дом к себе пустить – чего доброго, полыхнёт ещё сухая постройка от его огня. Так, разрешали ночь-другую где-нибудь в сарае или бане передречь. Да и то... Лишь потому проявляли селяне до Акима такую милость, что ведь вышел-то он из урмана не в одну пару ног – вывел он за собою из тайги сына своего, подростыша, Кешку. Иннокентия, значит, Лешню.

Кешка тот, Иннокентий, ничем от родителя своего не отличался. Сходилась он с батькою всем видом настолько, будто муха муху повторила. Такое сходство меж отцом да сыном по земле рассажено опять же из ряда вон редко. Повторяю, очень нечастое имели Лешни меж собою сходство. Разве что Кешка-Иннокентий самую малость был поулыбчивей отца. Но это, скорее всего, оттого, что ходил он ещё в ребятах. Однако же и он не больно-то разбегался объясняться перед деревнею насчёт прежнего их с батькою житья-бытья.

– Ну, чо вам, чо надо? Чего привязались? – сердился он, когда любознайки допекали его своими «кто» да «откуда». – Или мы не такие, как все люди? Чо у нас, по четыре ноги? А когда по две, так помолчать-то мы хотя бы вольны? Не злодеи мы, не воры – вам этого разве мало?

Не мало, конечно. Только мешок молчания завсегда целым возом догадок набит.

Кешка не только огневой мастью да белым лицом батьку своего

скопировал, а и понятием, и норовом, и походкою даже. Но особенно тем, как умел он остановить небыстрый, зато уж больно цепкий глаз на любом встречном мужике или ещё ком. Пропекал он недетским вниманием любого человека до самой до селезёнки. Вроде бы и не глядел он вовсе, а насыпал встречному полнёхонькое подвздошье горячих углей...

Аким-то, сам Лешня, тот научился, видно, прятать в себе столь жгучее к людям внимание. А что до Иннокентия-подростыша, этот глядел ещё вовсю. И вот какая беда таилась для него самого и в его пригляде: в ком-то он теплился – согревал душу, в ком-то горел – доводил нутро до белого каления, кого-то бросал в суету – неудовольствие. Оттого-то в народе и занимался всякого рода разговор, пересыпаемый спором да разными уверениями.

– Не зря Лешням така отменная масть налажена, – говорило в селянах беспокойство. – Оне же, глазья-то таки пронзительные, далеко не сподряд даже умным людям даются – по какому-то по выбору!

– Уж да, – соглашалось в них сторожкое нутро. – Прямо не глаз, а шило калёное.

– Вот из-за тех из-за глаз и уволокла нечистая сила Акима Лешню под Спасово угорье...

Последние эти слова сказывались людьми потом, позже. Это когда не стало Акима. И сказывались они не от пошлого какого-нибудь людского пустословья – шли от истинной правды. Тут и думать не надо, чтобы мужавелый да к тому времени полный охотник Аким Лешня взял да заблудился в тайге или же дал обмануть себя – лютому зверю. Нет, нет. Такая погода никак не могла запугать Лешню до смерти. Ведь он, как было то понятно людям, ещё, похоже, в материнской утробе испрочитал вдоль и поперёк всю книгу тайги.

Ещё можно было бы подумать, что унесло мужика весенним паводком. Либо пожаром лесным захватило да в небо удуло. Так опять же – нет. Не выпадало на ту пору ни половодья безбрежного, ни высокого лесного пожара. А вот когда мужики искали по всем углам тайги пропавшего Акима, тогда они на самой хребтине Спасова угорья и наскочили на неотгаданное место. Была тайга на том месте да в огромный пятак выжжена. А может, и не выжжена. А только лоснилась среди красных сосен ровною лепёхой спёкшаяся в камень

земля. И совсем рядом с тою с каменной лепёхою был мужиками найден Акимов ягдташ!

Вот тебе и всё.

И можно было, глядя на это, рассудить так: ежели каменной лепёхою да покрыт провал в преисподнюю? Куда ж Акиму ещё-то было деваться? Кто же на месте тех мужиков заторопился бы поднять адово творило да покричать пропавшего? Ты бы заторопился?! Вряд ли. Вот и они точно так же... поспешили... оставить в покое чёртово место да на всю округу доложить о такой оказии.

Потом люди сколько-то ещё до-олго боялись ходить на Спасов увал. Даже мужики не сразу решились убедиться – не привиделась ли им таёжная беда. Когда же сомнение допекло их, то не нашли они на угорье ничего даже близко похожего на каменную крышечку. Долго спорили они, бродили-искали место, где она лежала. Под конец согласились: должно быть, травой успела взяться, хотя сами отлично понимали, что быть того не может.

Многому на земле вроде бы не должно быть, а всё-таки случается.

Вот и на этот раз. Случилось дальше такое, что никаким рогачом не ухватишь, не поднимешь. Так же вот в грибную пору прямо-таки бешеным гуртом принесли в деревню со Спасова угорья бабы-девки. Да все без корзин, без лукошек да и безо всякого разума. А сами задышались, орут:

– Дьявол! Дьявол!

– Да где ваш дьявол? Да какой вам ишшо дьявол?

– Да там-ка, там – в Красноборье...

Маленько погода взбудораженная деревня поняла наконец, что грибницам во бору привиделась как бы шаровая молния. По-другому огневую ту грёзу девки-бабы никак объяснить не могли, хотя молния не плыла по воздуху, как подобает таковой, а катилась двухметровым яйцом прямо по земле. И такая в ней сила, что трава на стороны стелилась, а сосны так вот и стонали на корню.

И ещё! Ещё что-то живое темнело в её середке! Да такое, которое шибко смахивало на человека...

Вот оно что случилось на Спасовом угорье.

Понятно?

И это вскорости после того, как Аким Лешня провалился сквозь землю.

А Кешка? Кешка остался без отца. Многим селянам хотелось бы изжить парня из деревни. Только ведь вся эта дьяволыщина, как раздумались добрые люди, никому, кроме Лешней, никакого урону не принесла.

Чего ж тогда прятаться, коль не к тебе едут свататься?

И ещё подумали селяне: понравится ли их злодейство тому, кого катила по Красному бору шаровая молния, ежели они прогонят из деревни сироту? Вряд ли. На том история эта до времени и притихла, хотя забыть о ней никто, понятно, не мог.

Чувствуя на себе людскую настороженность, Кешка-Иннокентий засмурнел. А подрастая, взялся, как, бывало, отец, уходить одна на дальние охоты. Потом он приглядел не в этой деревне красавицу Славену, полюбил её, женился. И породили они сына Матвея – вылитого опять Акима, а значит, и Иннокентия.

Чуток подрастил отец сына, научил его таёжным премудростям и... Что ты скажешь! Пропал! Пропал опять же на Спасовом увале, в тех самых годах, в каких заглотнула земля Акима Лешню.

Вот уж когда навалилась на деревню никаким умом неподъёмная тайна. Вот когда упала на людей суета гадать-перегадывать, с ума на ум перекачивать: за что, за какую такую вину перед создателем уготована Лешням страшная неминуемость?!

– Ой-ка, ой! Всем бы нам сподряд заудивляться вусмерть, кабы полное изумление души нам не сковало, – каламбурили по этому поводу бабёнки, чтобы и в самом деле не остолбенеть от непосильной для скупого разума задачи.

Ну, слава Богу, не остолбенели. Перебыли и эти были; дальше наблудим – ещё перебудем. А что про Матвея Лешню – и этот бедолага сиротой остался: весь один, как на сковороде блин. Разве что на этот раз оказалась при Матвее мать его Славена. Только не жить Славене на земле после Иннокентия осталось – сходить с ума от горя да ещё от того ужаса, который с каждым Божьим днём всё крепче стискивал её материнское сердце. Боялась и предчувствовала Славена то, что полное сходство, доставшееся Матвею от отца с дедом, не успокоится на одном лишь только обличье. Похоже, что оно точно так же накинется в тайге на её сына злою непонятностью.

То-то станешь сходить с ума на её месте!

Покуда Славена, украдкой от Матвея, плакала да сушила на ветру мокрые от слёз утиральники, сынок её огневой поднялся выше

притолоки и никаким иным делом, как только по-дедовски-отцовски зверовать да урманить по дальним углам тайги, перезаняться не пожелал. И вот тебе, ко представленному в этом сказе времечку, он уж мог любому зверовщику безо всякого лажу выставить вперёд любой десяток очков, ежели дело доходило до охотничьего задора.

Тут, конечно, без оговорок ясно, что Матвеева сноровка некоторым гнилодушным таёжникам крепко пощекотывала коросту честолубия. Особенно молодым да ерепенистым. Кому-то из них хотелось бы, допустим, лишний раз прихвастнуть перед какой-нибудь лакомой до скорых радостей девахой своей отдельностью, исключением своим из числа таёжников. А тут оно, Матвеево умение, да поперёк языка ложится. Никак не сплунуть, не счихнуть. И меркнет его похвальба, как при белом дне лучина. Вот и получается... кадриль без музыки.

Однако же бзик и без дуды – кадриль хоть куды! И вот тебе – напала эта самая скотовья радость на деревенского старчика¹, на Яшку Ундера.

Бедный человек!

Коростою лёгкой славы обметало Яшку столь густо, что ни лечь ему, ни подняться, ни в Божьем храме постоять...

Может, кто собственными глазами в себя впитал, а может, кому с чужого догляду на язык перекатилось, только заговорила деревня о том, что кто-то видел, и не один раз, как Яшка Ундер в бурьянах на Диком залог² Господа Бога с колен молил: просил он царя небесного, чтобы в тайге не прометнул мимо Матвея Лешни того самого случая, которого так опасалась несчастная Славена.

Причиной Яшкиного пресмыкания была-оказалась Марфасечница, Сыся Рептухи дочка.

На деревне Марфа что красавицей, что пересмешницей, что озорницей слыла такой, каких свет не видывал. Была она, не в обиду будь ей сказано, сорвань из тех сорваней, которые в полную грозу на чертях по небу катаются.

За нею, за этой Марфою Рептухой, не только Ундер убивался. У многих парней, в погоне за шалой красавицей, были посбиты что каблуки, что сердца.

¹ С т а р ч и к – застарелый, не женившийся вовремя парень.

² З а л о г, з а л е ж ь – покинутая по истощении пашня.

Раз уж в едином разговоре оказались собранными и Матвей Лешня, и Яшка Ундер, и Марфа Рептуха, думаю, что без долгих объяснений ясно, к чему клонится дело. Думаю, что понятно вам, из-за кого эта чёрт-девка не хотела выплывать, чтобы рассмотреть Яшкины достоинства. Конечно же, из-за Матвея Лешни. Из-за него ни в какие раскрытые глаза не видела она Ундерова томления. Только вот, как за каменной стеною, за Матвеем девахе никак не везло укрыться. Любить-то Лешня Марфу любил, но никакой надежды на себя подать он красавице не мог. Считал себя не вправе мутить ей душу. Так прямо в глаза и говорил он ей:

— Ты, ладошка моя, больно-то на меня не рассчитывай. Кто его знает, не придётся ль и мне, как деду моему да отцу, быть отданным провидением в полное распоряжение неведомым силам. Погодить мне надобно с женитьбою; опасную пору перевалить. Не хотелось бы мне потомство своё по сиротству пускать да и тебя несчастить. Ты же, меня дожидаясь, рискуешь в девках засидеться. Что как да заберёт меня всё-таки тайга — одна останешься. Одиному что безногому — и нету ног, а болят. Ты даже не представляешь себе, какой тяжкой мукою может обернуться для тебя твоя ко мне верность. А я на свою мать насмотрелся...

— Да ты за меня не бойся, — как-то на разговор такой взяла и ответила Марфа, — ты погляди на меня внимательней: разве я пошибаю на тех, кто долго страдает? Вот он — бережок крут, а вот и я тут...

Всего-то и мучения терпеть, что до воды лететь...

Слова эти каким-то путём дошли до отца Марфы, до Сысоя Рептухи. Загоревал отец, забедовал пасечник: кому, ежели не ему, знать горячий да упрямый норов своей дочери? Ой, ой, ой! Можно считать, что потеряна для жизни Марфа. А Сысой втайне всё-таки надеялся на то, что опомнится дочка, согласится пойти за Ундера. Он хоть — кулебяка с пригаром, да женитьбою, может, и пообрезался бы.

Заторопился Сысой говорить с Марфою, уверить её: прав, дескать, Матвей, сто раз прав. Не к чему тебе его дожидаться: гляди, как Яков за тобою помирает...

— Вот когда он помрёт, да когда я на том свете окажусь, так, может, тогда мы с ним, встретившись, и потолкуем про венец...

Хорошо ли, плохо ли, а уж что ответила Марфа отцу, то и ответила. И пришлось Сысою эти самые слова передать Яшке Ундеру, когда

меж ними случился не первый уже о породнении разговор. Однако Ундеру душевная заноза не столь, видно, была остра, сколь разлаписта. Во всяком случае, не просадила она насквозь Яшкиного сердца и на землю не выпала от такого полного ему со стороны Марфы отказа. Она лишь посильней расшиперилась и самые дурные струны Яшкиного нутра зацепила. Вот под эту музыку Ундер и запел:

– Эх, ты! Сысой Маркелыч! Отец ты дочери своей или не отец? Воля над нею твоя или залётного воробья? Вот ты её, волю свою отцову, и накинь на причудницу! Силой вынуди Марфу пойти за меня! А дальше? Дальше? Дальше будет моя забота, какую упряжь на неё цеплять...

Была ли в ранешной частой приговорке о том, что стерпится – слюбится, какая-нибудь зачуханная правда? Наверное, была. Разве бы иначе люди на неё надеялись? Так и Сысою Рептухе ничего другого не оставалось, как только принять на душу лукавую суть этой народной придумки.

Через тяжкие охи, через долгие Сысоевы вздохи, а всё-таки дождался Яков от пасечника согласия на засылку до Марфы застоявшихся сватов:

– Чтобы всё гляделось как у добрых людей.

А уж Яков давно подобрал на роль свахи самую вьедливую, самую упорную на деревне бабу, Фотинью Толочиху. Об нём, об Толочихинем стрекоте, народ говорил тогда:

– У-у! Фотька?! Да Фотька станет камыш глотать, а не бросит своего клоктать.

В подсобники ж к Толочихе напросился её кум – Сорок Дум об чужом обеде. Так дразнила деревня Нестора Облого ещё с его пацаньих времён. Да и как же иначе было его обзывать, ежели был он таким прожорою, что и не жевал, когда не жевал?..

Вот они оба – два широката, что сват, что сваха – Пендюх¹ да Маклаха², и настроились на Рептухову медовуху да на Ундеровы щедроты.

Но лишь только солдаты распустили животы, тут она и ударила – боевая труба! Ни медовать, ни щедровать «распустёхам» тем не довелось. Хотя и умылось им чистёхонько, и причесалось им гладёхонько,

¹П е н д ю х – желудок, брюхо.

²М а к л а х а – сводня, посредница.

и нарядилось им – напмадилось, и даже со значением большим выплылось на широкую деревенскую улицу, да не успелось им комедь сыграть. Только свысока оглядели они ещё путём не подоспевший народ, как вдруг да внезапно, да с неба синего, ясного полохнула громовая молния! Хлестанула она огненным своим кнутищем не об заречный дол, не о Спасово угорье, не о Красный бор – грянула об дорогу деревенскую. Брызнула кустом искр именно туда, куда только что собралась ступить нарядная пара сватов.

Задеть она не задела собой ни того, ни другого. Просто взяла и уложила мытых-чёсанных рядком на дорогу. А всяких любопытных мелким сором раздула на все стороны.

Полёглые сваты, перед страхом таким, не меньше чем на неделю от путевой жизни отказались; так и провалялись все дни глазастыми чурками. У себя, конечно, дома. Не оставлять же их, таких чистых да приглаженных, валяться посреди деревни. Только вот когда парням-мужикам пришлось растаскивать по дворам за руки, за ноги этикие до земли провисающие туши, они дали полоротым зевакам очень конкретное обещание. Заверили народ, что ежели ещё кому вздумается взять на себя Марфы Рептухи сватовство, они смельчака такого доставят прямёхонько на кладбище, чтобы по два раза не надрываться...

Шутки шутками, а молния всё-таки была. И хотя видела её далеко не вся деревня, толковать о невидали ударился и стар и мал:

– Это как жа? Как жа это понять? Как растолковать знаменье тако? Каким хвостом змеишшу огненну до ума привязать? Кому она послана? Марфе ли, Ундеру ли произведён такой небесный заслон? Какой в нём таится умысел?

– Похоже, что Создателю не по душе Яшкино сватовство.

– Опять на Бога валим! А может, как раз сатана распотешился. Ить ране-то каки только грозы ни полыхали над землёю, а таким умным хлыстом покуда ещё не трескало.

– Так оно, так...

В неустанных подобных пересудах-гаданиях народ скоро договорился до того, что будто бы кто-то сыскался такой, кто сумел разглядеть собственными глазами, как в день Марфиного сватовства да летело по чистому небу то самое огненное яйцо, которое с чёрной серёдкой катило до-раз по Спасову увалу. Даже якобы видно было, как высунулась из

яйца косматая пятерня, закрученная дулею. Она-то, мол, и стрельнула об дорогу нацеленной молнией.

Выходило, что на самом деле дьявол соизволил дать людям понятие, что фига вам, мол, высватать за Ундера Марфу Рептуху – не по нюху-де табак...

– Что так, то так – нет, не по ремешку застёжка, – поддакнулось людьми столь правильное толкование знамения.

Скоро всякий селянин сделал для себя какой-нибудь да вывод. Один только Сысой-пасечник ни в какую не мог взять в толк, какой интерес имеет дьявол отгораживать от Якова его дочку. Когда же он, через долгие прикидки, так ни к чему и не пришёл, то махнул на тёмное это дело рукой, повесил голову и настроился ждать – будь что будет.

К его ожиданию быстрёхонько пристроилась и вся деревня, кроме Яшки Ундера. Яшка поспешил хорохориться потому, зная, что порою этой Матвей Лешня был на дальней охоте. Вот он, Ундер, и суетился окрутить Марфу вроде тайком, хотя, как было уже сказано, Матвей ничьей воли не вязал. Потому-то, должно быть, и выдирало Яшку из рубахи поголовное к нему в людях равнодушие.

– Эх, вы! У вас у обоих башка из мешка, душа из рогожи, – взялся он заново приставать до Нестора и Толочиخي, не успели они путём на ноги подняться. – Какой вам дьявол? Кто его придумал? Да разве Господь допустит, чтобы дьявол по небу летал?

Когда же Фотинья да Облый наотрез отказались сделать до Рептухов повторный заход, Ундер привязался уверять их:

– Да ежели бы там Богу или дьяволу неугодным покажется моё до Марфы сватовство, он ведь скорее в меня молнией шибанёт.

– Что ж он сразу-то не в тебя шибанул?

– Промашка, может, случилась.

– Ишь ты... промашка – в чужой избе рубашка. Не-ет, дорогой, тут повадкою пахнет.

– А чо как повторно промахнётся? – это уж Толочиखा отвечала Ундеру. – Промашка-то ведь не пёс, обратно её не отзовёшь...

Потолковали разумно Фотинья да Нестор с Яшкиным упорством, а когда осточертело, взяли выпроводили прыткого жениха втычки да на скачки: катись ты к дьяволу! Двери за ним понадежнее захлопнули и вздохнули с превеликим облегчением.

Им-то очень хорошо стало. А каково Ундеру? Ведь он до этого,

с небесной фигою, случая считался чуть ли не полновластным хозяином деревни. На этот же раз служить ему отказывались даже его большие деньги, которыми он взялся было взбадривать на Марфино сватовство чуть ли не всех кряду односельян.

Отказывались – и точка!

А стоит знать, что Якову, при безлошадных родителях, большое наследство от деда по матери, Спиридона Ундера, досталось. Спиридон-то Якова и на фамилию свою перевёл, потому как внук жизненной хваткою в деда пошёл. Так что было у Якова какими деньгами фасонить перед людьми, вплоть до собственного отца с матерью. Только те, в свою очередь, как говорится, ни рылом ни тылом не собирались гостевать на Яшкиной спесивой стороне.

Кто-то Ундеру, при случае со сватовством, и напomini: чего ты, мол, перед своими-то кабызишься? Родители всё-таки – можно бы и унизиться сходить.

– Не-ет! Никогда, – ответил спесивый. – В эту пропасть только разок соскользни – всю жисть катиться будешь...

Чо уж там. Об каком уважении к нему к такому могла бы пойти речь? Ни об каком. Не потому ли при его-то, вроде высоком на деревне, положении Яков до крутой бороды всё ещё в «девках» ходил. Ну а с Марфою, видно, у него предел всякому фасону случился. Только и из этого тупика не пожелал он искать выход через родителей двор. Но зато уж чужие калитки все подряд пообхлёстывал. Они ажно стонали в шарнирах от его злости – кругом отказ.

От Ундерова прихода вынуждены были хозяева затаиваться по хатам, стали делать вид, что вовсе дома никого нету: все уехали, уехали, уехали.

Уехали.

Да-а! Наступает время и Потапу сосать лапу. Случается, что и чёрт кается.

Но только не Яшка Ундер.

Никакой скорый Покров не подпихнул его до родителева тепла, как всё-таки ожидал народ. Время лишь принудило Ундера хватануть однажды во злобе шапкою об землю да изругаться при этом в семнадцать столбцов!

Люди, которые оказались очевидцами тому, как строил Яшка посреди улицы такую долгую лесенку, сообразили, что тем самым языкастый мастер поклялся себе: дескать, не царю, так не псарю!

Только так, и никак не меньше...

Поулыбались на Якову задумку люди: дай-то Бог нашему Козьме¹ поймать звезду в назьме. Однако же ни у кого ни единая думка не вспалилась подозрением, что клятвенник дойдёт до такой точки, от которой куда ни беги, всё на север...

Матвей Лешня не держал для охоты собак. От этого казался он народу ещё большим охотником, чем, может, был на самом деле.

– На что ему собаки, – судил о Матвее всякий сход, – он и сам, что нюхом, что слухом, острейча любой борзой.

– А уж чо до глаз, так про Лешнево гляденье помолчать только остаётся...

Но именно Матвеево бессобацье и толкнуло Ундера на великий грех. Нужда заставила его, как и других мужиков, подняться на охоту. Жили-то люди тогда в основном тайгою.

И вот.

Случайно ли, не случайно, а оказался Яшка по первому снегу в том самом углу тайги, где уж недели как с три зверовал Матвей Лешня. Дело было на закате. На ночь глядя Матвей разложил в Каменцовом речном размыве, что за Синтеповой излукой, небольшой костерок. В Каменцовом том размыве можно было бы укрыться от любой непогоды. А ветер как раз такой вдоль реки занялся, что сосны закряхтели. Да холоднющий, чёрт бы его побрал!

Яшка берегом забежал за Синтепову излуку да тут и увидел соперника своего у притухающего уже огня. Вечеровал Лешня у налаженного для ночлега шалашика. Сидел он, поглядывал на догорающий огонь, изредка позёвывал, светился в густеющих потёмках ненавистным для Ундера лицом, белизну которого не смела портить никакая погода.

Яков, понятно, до костра не приблизился – не гостем, зная, пожаловал до чужого тепла. Притих он за краем излуки: утаился ждать, когда же сморит Лешню недолгий сон таёжного человека...

Куда как нетрудно представить себе, с какою звериной осторожностью выползло из-за Синтеповой излуки Ундерово злонамеренье, как, под верховой свист ветра да постанывания сосен, подкрадывалось оно до Матвеева шалаша...

Ой, с каким мастерством, с каким умением настраивал в ту ветре-

¹К о з ь м а – в приговорах бесталанный человек.

ную ночь Яков Ундер свой лук! С какою точностью направлял он самострел на выход из Лешнева приюта. Какою гадюкою ползал он по береговым окатышам, когда тянул через весь Каменцов прогал жильную струну-тетиву...

От самого от роду охотничьего, ни на одного хитрого зверя, ни один жадный добытчик не настраивал, должно быть, столь усердно смертоносную стрелу, как делал то Яшка Ундер. Ровно бы из шалаша таёжного должен был выползти после безмятежного сна не Матвей Лешня, а сам Змей Горыныч семиглавый.

Вона как!

Даже в густой, ветреной темноте не могла она, Ундерова злоба, не увидеть, не услышать, с каким хрустом да по какую долю крепкой, густо оперённой спицы вошла его коварная стрела в широкую грудь Матвея Лешни...

В горячке-то Матвей ещё вперёд шагнул и только потом рухнул грудью, просаженной стрелою, прямо на уголья всё ещё горячего под густым пеплом костра...

Эх ты, человек за краем излуки! Ни один зверь роду своему не сотворит похожего случая. Кому ты нужен... такой?

Яшка Ундер скорее да скорее давай следы ненужности своей замечать. Даже подскочил вырвать из Матвеевой груди стрелу, да она оказалась обломанной по самый корень. Только зря руку до самого запястья вымазал Яков в ошметях спёкшейся с золою Лешневой крови. Эта мазанина и ударила в Ундерову серёдку тошнотой-дуринушкой. И взялась дурнота крутить его по соснякам-ельникам. Взялась кидать она Яшку, перекидывать через пни-колоды, через высокие муравейники. Взялась цепляться крючковатыми сучьями за все ухватистые места... Вконец загоняла.

Когда Яков да на другой день объявился в деревне, да ни кожи на нём, ни рожи, — солома на овинах и та от страха дыбарём поднялась. Что же говорить тогда про Сувойкину Анну, которой выпало первой увидеть чуть ли не на животе ползущего из тайги Ундера? Такою белугой заревела Анна, что хмурая и в тот день погода сразу же разгулялась, будто бы ангелам с неба захотелось глянуть, кого это на земле черти пополам дерут.

За то время, пока Яшка через взбудораженную деревню до своего двора пробивался, небеса обратно затянуло хмарью. Полетели первые в этом году снежинки. А следом за ними вдруг да опять сорвался

с высоты ветер, закрутила метелица, и пошла она, разгульная, отплясывать по дворам свой свистящий, ледяной танец. Взясась взнахлестывать полы мужицких зипунов чуть ли не на маковку хозяевам, разлистывать на бабах на все стороны широкие юбки – лови только успевай...

Однако же от необузданного её озорства никто из Ундерова двора по хатам своим прятаться не побежал; весь народ остался ждать Яшкиного объяснения, хотя тот за собою даже в сени никого не пустил.

Сколько он там, два, три часа, промариновал на холоде односельян – не было ещё тогда по чему время определять. А когда он понял, что народ настроен ждать ясности хоть до весны, выкрихтел всё-таки на крыльцо высоких дедовых хором и заговорил на погоду. Заговорил с долгими, как ветровые волны, пробелами в словах:

– Вы это... какого тут... хрена ждёте? Сами, что ли... смыслить не умеете?

Ежели теперь докладывать обо всём рассказе с Яшкиными тогда передыхами, шибко долгий разговор получится. А когда попроще говорить, так ободранный Ундер вот что поведал народу: дескать, что вы стоите-думаете? Вы думаете, я с кем-то ещё, кроме нечистой силы, сумел этак измутьызгаться? И с кем же? Не-ет. Только с нею, с увёртливой, и можно столь ухайдакаться. Чуть всё лыко с меня, паразиты, не оборвали. А вы думаете, за кого я, за себя я, что ли, бился? Нисколечко, ни капельки! За Матвея Лешню бился я! За него, за несчастного, чуть было живота не поклал. Так ведь кабы тако дело не зря делалось, то и головы б не жалко было потерять. Ить всё одно ж меня в деревне никто не любит. Только ведь с посланцами сатаны больно шибко не навоюешь. Видите, каково они мной наигрались? Бросили, когда подумали, что помер я. Подсунули меня под какую-то коряжину. А что Матвея Лешню – того с собой уволокли. Так что всё: не ждите его, не надейтесь напрасно...

И ничего тут не поделаешь. Всё произошло примерно так, как люди того боялись и ждали. И никто даже не подумал посомневаться в Яшкиных словах. Даже Матвеева мать Славена и та не зашлась истошным криком. Удержалась. Только удержка эта к утру следующего дня вышла ей полной сединою.

Пoutu-то и разглядел народ этакую беду! А ввечеру... Ввечеру он

и сам весь чуть не поседел. Да и где тут было не перепугаться ему до смерти, когда вот он, уже подаренный чертям Матвей Лешня, как ни в чём не бывало, веселёхонький да разбодрёхонький, шагает себе из тайги. Несёт Лешня за спиною битком набитый пушным охотничий свой кошель; по всему видать – сейчас прямо-ка собирается он раскладывать дома по кучам богатую добычу...

Во когда в деревне-то нужда голову подняла успевать-гадать: не то Яшка Ундер совсем с совести свалился, потому как врать с такою правдою способен лишь только покинутый Богом человек; не то Матвея Лешню, да за какую-то оч-чень знатную услугу, нечистая сила отпустила на волю. Ишь как он весело вышагивает вдоль дворов, как низко кланяется встречным селянам. Похоже, думает: глядят на него во все глаза люди потому, что ещё не доводилось им никогда видеть при охотнике столь туго натисканную суму. Однако селяне знают, каково охотнику будет «радостно», когда он перешагнёт порог своего дома, когда увидит он да ахнет, что за одну-единственную ночь сотворила с его матерью лихая весть. Оттого-то ещё сильнее пучит деревня на Матвея изумлённые глаза.

И потом... Ведь, кроме Славены Лешни, и Марфа Рептуха слыхала Яшкин-то Ундеров «расправдивый» рассказ.

Ну и что из этого, спросите вы? А то самое... Ночью-то минувшей Марфа в петлю было залезла. Это ещё хорошо, что Сысой Рептуха ждал от дочери подобной выходки – настороже был. Потому и не дал свершиться столь грешному дочернему намерению. И теперь ему сколь надо было сидеть над Марфою, чтобы та хоть немного отошла от отчаянья?

Когда люди прибежали сказать Сысою, что Матвей Лешня воротился из тайги цел-невредим, пасечник до того разошёлся, чуя Ундерову брехню, что ажно расвирепел, чего с Рептухою отродясь не случилось. Этой свирепостью непривычной его будто из тугой пращи метнуло до Яшкиных высоких хором. Понесло брехуну разэтакому башку дурную напрочь отвернуть. Только Ундрово недоумение от услышанного оказалось настолько неподдельным, что перед Яшкиной растерянностью Рептухина ярость маленько пригасла. К тому же Яков прямо-таки на коленях поклялся перед Сысоем, что он, под корягу чертями засунутый, видел, как нечистая артель на его глазах выпотрошила из Матвея душу и увела её с собой, а тело бро-

сила валяться в не столь от деревни далёком Каменецком размыве. А что не сказал Яков об этом селянам сразу, так уж больно страшно было...

Вот так.

По всему Яшкиному клятвенному отчёту выходило, что в деревню заявилась либо одна только отпущенная чертями грешная Матвеева душа, либо (того хуже) сам огненный (помните?) сатана-дьявол вселился в Лешнево тело, принял человеческий облик и вот тебе... прибыл в деревню творить меж людей свои лихие забавы...

Что Сысою Рептухе оставалось? Оставалось Рептухе проверить Яшкины слова. Дело касалось судьбы его дочери, а значит, и его самого. Вот и надо было бежать ему поспешать проверить за Синтеповой излукою Каменцовый размыв. Надо было удостовериться в правде ярых Ундеровых заверений да понять (ежели что подтвердится), с кем именно в лице Матвея Лешни ему вести за Марфу неравный бой.

И собрались они побежали оба-два: Яшка да Сысой. Задами побежали, огородами, топкими от осенних проливных дождей пожнями, притрусанными вчерашним необильным снегом. Добежали они до прилеска в три погибели согнутыми – не сразу придумаешь кем. А согнулись они для того, чтобы вдруг да сатане было сыздали трудно догадаться, что в тайгу, в сторону Каменцова распадка, зачем-то поспешно побежали люди.

За елями-соснами они, конечно, разогнулись и уже заторопились по-путёвому.

Вот они меряют широкими шагами тайгу, и каждый в себе думает: «Башка ли, чо ли, у меня с места сдвинулась? – это об себе Яшка гадает. – Что, ежели никакого следа в распадке не окажется?».

А Рептуха соображает:

«Ежели в распадке никакого следа не окажется, башку я Ундеру поставлю на место!».

И что?

Забежали они за Синтепову излуку – и оба окосели: тут оно, Матвеево тело. Тут! Никуда не делось. Как упал Лешня пронзённой грудью на горячее кострище, так и лежит. Только снежком его малость припорошило...

Ундер с Рептухою поначалу глаза-то на покойника таращили, а по-

том друг на дружку повели. Столкнулись они меж собою таким страхом, ровно каждый в другом разглядел вдруг живого Матвея. Так и заledenели оба! И стоять бы им замороженными до самого судного дня, кабы не возьми да не ухни на сосне ушастый пугач:

– У-ух!

Вот тогда и схватились Ундер с Рептухою выламывать по тайге колени – ажно ствольё перед ними врассыпную! По колдобинам-буревалам прокатились они, ровно по зеркальному льду озёрному. Только вж-жик... и вот уж леса нету. И вот уж собачьим брёхом от деревни потянуло.

Остановились. Вспомнили оба, что они всё-таки не кой из чего сделаны: не очёса щипок да не дерьма шлепок. Чего уж так на людей-то, и без того перепуганных, лешаками из тайги налетать, переполох творить. Мало ли какой беды среди буйного страха проданная Матвеева душа натворить может. Нет, нет. С чертями шулки плохи.

Зашептались об этом Яшка с Сысоем, заподдакивали один другому. И согласились они на том, что, покуда солнце ещё высоко, им следует воротиться в распадок, забрать Лешнево тело и скрытно доставить его до церковного батюшки Ларивона: пущай-ка святой отец решает за них, что делать дальше.

Не побоялись, милые, воротились. Воротились они до Каменцова разлога, и что ж вы думаете? Лучше бы им, бедным, на этот раз да проснуться каждому дома на печи, чтобы всё ими увиденное оказалось бы только-натолько живым сном.

Нету! Нету в распадке Лешнева тела! Нету как не бывало. Будто бы сто лет прошло с того дня, когда мужики наши его тут видели. Кострище есть, шалаш имеется, а тела нету. И даже место, где оно лежало, припорошено вчерашним снегом. Но самое острое для живописания умственных картин то, что поодаль от кострища, в глубине распада, чернеется огромная лепёха спёкшейся в камень земли...

Сорок лет назад, когда черти первоначального Лешню забрали, ладно, холера с ним. И двадцать лет назад – тоже ладно: пропал в тайге второй Лешня – туда ему и дорога. Ни тот, ни другой селянам особой заботы не оставили. А вот нынешний! Этот-то ведь раздвоился! Для какой нужды? И вообще... Кто они такие – Лешни? Может, они

вовсе и не люди?! Может быть, какому-то бесу понадобилось расплодиться собою через людей? Зачем, опять же?

Вот видите, и у нас с вами голову успело заложить всей этой чертовщиной. Каково же было Рептухе с Ундером, ежели тогдашние человеческие мозги на добрую половину были ещё со мхом перемешаны? Вот и подумалось им тогда: вдруг да Матвеева проданная душа появилась в деревне только лишь затем, чтобы Марфу окончательно совратить да оставить в деревне после себя очередного Лешню?

Много ещё чего налалакали тогда мужики на Матвея, покуда крупной рысью в четвёртый раз за день меряли одну и ту же таёжную тропу.

Это ничего, что бежали они до отца Ларивона с пустыми руками, – доказательством их правоты лоснилась за Синтеповой излукою в дьявольский пятак спёкшаяся земля.

Теперь мужикам что остаётся проделать? Им остаётся немедля ударить в набат – собрать весь народ. Да чтобы непременно Матвей Лешня в церковь явился. И вот за аналоем да над святою иконою прихожанам всё обсказать. Да пушай при этом и Матвей отчитается. А сейчас надобно поскорее до отца Ларивона добежать, согласия его получить.

Батюшка Ларивон с большим вниманием выслушал и Рептуху, и Ундера, долго покачивал бородою, долго кряхтел, будто бы влезал на столь крутую невероятность, потом сказал:

– Давайте-ка мы великой суеты сегодня творить не будем. Поступим так: вы тут оба посидите у меня, подождите, а я схожу до Матвея. Ровно бы Славену пришёл проведать на ночь. Потолкую с ним, пригляжусь попристальней: что там, какие в нём изменения произошли? Не может быть, чтобы без изменений... Не так это просто – душе от тела отделиться. Это ж не рубаху скинуть. Так что... вы тут подождите меня, а я скорой ногой...

И ушёл.

А над деревнею уже день кончился. С молодым морозцем ночь, как на грех, случилась настолько глубокою, что даже меж самыми дальними звёздами ещё столько же пропасти оказалось, сколько было до них от земли. Возьми кто да выколи батюшке Ларивону глаз, он и не увидит даже. Не идёт Ларивон по улице, а крадётся. Боится он,

кабы где да повдоль малоснежной канавы не выстелиться. Избы кругом спят. А ежели в каком оконце и теплится огонёк лучины, так его света хватает только лишь на то, чтобы погуще темноту на деревню собирать...

А мысли-то в голове батюшки Ларивона далеко не святые: мысли-то с чертовщиною пополам.

Вот и зашевелилась в святом отце заячья жилка, и задёргалась мелконькая. Ундеров с Рептухою недавний обсказ ожил перед слепыми в темноте Ларивоновыми глазами. И вот уж вроде кто-то дышит ему в затылок, вроде бы грозит и его душу из тела вытряхнуть. Вот уж вроде ловят его со спины чёрные руки. А когда поймают, не отпустят... Ой-ой, как жутко!

Понесло же тесло¹ да вразмашку плыть... Ох, ты, мать Пресвятая Богородица! Напала бы жуть на батюшку немного пораньше, он бы наверняка подхватил полы облачения да припустил бы домой. А тут уж чего? Вот она, Лешнева изба, рядом. Вот она и калитка на Матвеев двор...

Калитка-то она, да только ноги немного как бы от Ларивона отстали. Привалился святой отец к заплоту – подождать, когда они подбегут, сам глядит – видит: отсвет из Лешнева окна по земле серым пятном вытянулся. Окно то и дело заслоняется кем-то – пятно меркнет, потом опять сереет. Похоже, что обеспокоенный Матвей по избе снует; может, с матерью всё ещё отхаживается? Вот он, хорошо слышно в тишине, со Славною заговорил. Видать, и в самом деле не улеглось ещё в ней вчерашнее потрясение. Однако ж кто теперь так просто сумеет убедить батюшку, что Матвей Лешня столь шибко взбудоражен лишь немочью матери? Не бесится ли он ещё и оттого, что за долгий день не удалось ему оторваться от хворой Славы да исполнить, может быть, неотложные сатанинские задумки? Вот какие жаркие нотки срываются в ночь с Матвеева языка. Какими они щекотливыми мурашками падают батюшке Ларивону за шиворот и расползаются по святому его телу...

Ой, жутко опять!

Прямо морока отцу Ларивону.

А ещё он слышит, что какой-то побочный звук втиснулся между Матвеевых слов.

Звук этот заставил ризника немного отвлечься от Лешнева на-

¹Т е с л о – род топора.

строения. И что же Ларивон услышал? Услышал преподобный отец, как из темноты, чуть ли не прямо на него, тихо-тихо пошаркивают об дорогу чьи-то до предела осторожные ноги. И такие они боязливые, словно бы ещё раз да повторно до Матвеева светлого окна подбирается он сам, отец Ларивон. Господи! Не раздвоился ли и преподобный батюшка? А ежели не раздвоился, тогда кто же подбирается до Лешневой хаты? Может, Яков Ундер? А может, Сысой Рептуха не утерпел высидеть времени – дожидаться вестей от попа? Кто ж это из них при- темнил подслушать, какой у Ларивона со мнимым Лешнею разговор складывается?

Хотя ничего хорошего на душе у ризника и до этих шагов не было, однако же сделалось в ней и того хуже: не любил поп непослушания. Но окликать ослушника Ларивон не стал, не стал подзывать к себе да укоры ему строить. Лишь потянул от заплота шею – виноватого разглядеть. Тот, ни о чём не догадываясь, дошаркал близко до окна и внимательно взором упёрся в самый свет...

Ретивое в преподобном Ларивоне зашло прежде, чем успел он издать хотя бы малый стон. Не охнул, не квохнул святой отец – так молчуном и поплыл, как ему тогда показалось, с перевёрнутой земли да прямо в межзвёздную пропасть. Там его и укрыла от нечистой силы беспамятная немочь. От той самой, которая со страшной жадностью глядела из ночи в окошко Лешневой избы.

А глядела она – сказать, не поверите кем.

Глядела она да опять же Матвеем Лешнею!

Из далёкого-далёкого, надёжного укрытия своего воротился батюшка Ларивон на землю – никто теперь не скажет, на какой день. А за то время, покуда он «порхал» меж звёзд, внизу, в деревне, с Яшкиной неуёмной суеты да с Рептухиного яростного поддакивания, Матвея Лешню заперли-заколотили в его же собственном доме. Готовая помереть за сына, и Славена, его мать, ни в какую не согласилась по-кинуть внезапную тюрьму.

Да «тюремщики» больно-то её и не уговаривали. Раза два-три сокликнули: желаешь, мол, так выпустим, а потом заложили окна горбылями, дверь замком да ломом, караульчиков наставили и сами недалече присели ждать, когда поп в себя воротится да объяснит им, пошто он под заплот свалился да какое в том Матвеево значение.

– Чем его Лешня так уж из себя выбил, что батюшка Ларивон очухаться никак не соизволит? – стали они, ожидая, гутарить меж собой.

– А ить душа-то Ларивонова тожить, должно, бродит гдей-то, шатается без хозяина.

– Ну, ты и сравнил... водку с квасом. Ить Ларивонова душа наверняка с Богом теперь беседу ведёт; должно быть, решается меж ними, как с Матвеем поступить...

– А вдруг да царь небесный батюшкину душу при себе пожелает оставить? Что делать тогда будем?

– Тогда чо, тогда быть Лешневой избе да под красным петухом.

– А со Славеной как? Вот сколь её перевернуло-то, бедную, за одну ночь. Выходит, что она сном-духом не знала о сыновних с нечистой силою шашнях.

– Получается, что не знала.

– И кто ж тогда примет на себя такой грех – губить огнём безвинную?

– Иного выхода нет. Ить её и трогать-то ещё никто не трогал, а уж она заявила: посмейте хоть пальцем до меня коснуться – любого прокляну! Так что сколь медведю овса ни сыпь – не заржёт...

– Всё это понятно, и правильно, и простимо, – одобрил вывод такой батюшка Ларивон, когда его еле живую душу небесный владыка осторожно воротил хозяину. – Только огнём-пламенем и подобает из Божьего стада выжигать сатанинскую пагубу. Но ещё правильной рассудили вы, когда решили подождать меня, поскольку случай с Матвеем Лешнею через край особенный! Отчего, вы думаете, свалился я тою ночью под заплот? Оттого я свалился, что живёхоньким увидал второго Матвея Лешню!

– О-ой! Да чо же это такое?!

– Ой, бьёт меня озноб – только крест не спрыгивает...

– Вот вам и «ой» – хоть реви, хоть вой. Потому и получается: сожги мы сейчас одного Лешню, а другой?! Как он на это посмотрит? А? Не примется ли он буйствовать? Ведь он не даст нам тогда никакого житья. Потому нам надобно поступить вот как: надо суметь выманить из тайги двойника, тогда только хвататься за огонь. Согласны?

У нас ведь как у пацанья в игре: кто не согласный, у того нос крас-

ный... А кому охота быть нащёлканным по нюхалке? Никому. Так что несогласных нету.

Когда же все оказываются такими стоворчивыми, какая нужда медлить? Айда, робя, удить... в зелёном океане рогатого ерша.

Ею и теперь-то, матушкой сибирской тайгою, блудить не переблудить. А в те давние времена кормилица наша хвойная всеми краешками ажно под землю подворачивалась. Попробуй-ка выследи в ней, в необъятной, того, кто прячется; того, кому всякая сосна – стена, всякий кусток – закуток. Только ведь ум задору не отец. Не скажет: сядь, прижми хвост! И поднялась на это жаркое дело целая война мужиков. Ну и что? Да хоть три гурта в стадо, всё одно скотина. В горячке-то ум на ум не перемножишь? Пряма-ка разбежался Лешнев двойник навстречу им – пойманным быть захотел. Рыскать бы мужикам, ватажить по тайге безо всякого толку, может быть, до той поры, покуда в деревне без них бабёнки с ребяtnей не попередохли. Только, слава Богу, не случилось такого разору. Не довелось мужикам допартизаниться до последней крайности. И вообще ни до какой войны дело не дошло. Нашумелись вояки у Ларивонова двора, настропалили себя – из-под земли, дескать, чёрта достанем, побежали по дворам: одеться потеплей, харчи да снасти какие собрать. Тут Сувойкина Анна, та самая, которая по году криком разогнала, когда Яшка из тайги явился, опять реванула в три голоса:

– Дьявол!

Шквалом крик её пронёсся по деревне, избы пошатнул!

Экое землетрясение случилось – весь народ наружу повыскакивал. Увидал: не зря Анна блажит. Вот он, идёт! Вышагивает серединой улицы. И похож как две капли воды тот дьявол на Матвея Лешню. Такой же точно молодой, статный, огневой да синеглазый... Кто на улицу ни выскочит, тот и занемет. Даже собаки. Ворона летела и та рот раззявила да повисла в небе, как на ниточке. Чего там ворона – батюшка Ларивон выбегнул на паперть и зачаврел, будто муха на пристыве: бери его дьявол за бороду и уводи куда хошь – не трепыхнётся. Однако же белолицый чёрт никого даже пальцем не тронул, только сторожей с Матвеева крыльца пришлось ему бережно на брёвнышко во дворе пересадить, иначе бы они ему помешали к арестантам в дом войти.

Может, он так же вот спокойненько сумел бы обратно выйти и невольников за собой в тайгу увести – вряд ли кто шевельнулся бы даже. Только вдруг Славена в распахнутой настежь избе зашлась криком:

– Иннокентий!

«Какой Иннокентий? Какой там ей Иннокентий? – переглянулись меж собою сторожа на брёвнышке. – Чего добрым людям голову морочить? Похоже, что и Славена не без греха, коль вздумалось ей дьявола перед деревнею за пропавшего мужа представить».

Такую вот догадку занемевшие караульщики друг у дружки на мордах разглядели, очнулись, спохватились и успели... Успели запретить в глухой избе да всю полностью сатанинскую сходку!

Обрадовались. Давай руками махать, созывать людей: уже всё, дескать, миновала опасность. Тащите хворост, да побыстрей! Кто там проворней, беги за огнём!

Завертелось всё кругом, завихрилось. Ребяшня и та оберемками сушняк волокёт-спотыкается. У кого-то уже и огонёк в горсти воскрес, дымком задышал...

Поторопились, однако. Поспешили огонёк-то раздувать. Пришлось его скорыми пальцами замять на фитильке. Получилось так, что в суматохе никто даже и не заметил, когда это успела Марфа Рептуха вскарабкаться на самый конёк Матвеевой избы. Да ещё и с топором в решительной руке.

– Кому жить надоело – полезай до меня, волокни меня с крыши...

Это она грозитися с высоты.

Кто ж полезет за ней? Всякий знает, что с этой девкою шутки плохи. Даже Сысой и тот не рискнул попытаться дочку снять, хотя Ундер и подтаскивал его до чердачной лесенки.

Сысой вообще... Только что бегал как наскипидаренный – народ подгонял, а тут в ноги тому же народу повалился:

– Помилуйте...

Яшка Ундер тоже захныкал, затоптался, возгри распустил – помилуйте.

Чо уж так унижаться-то? Народ и без того – люди. Кому ж охота насакивать на такой грех? Отступился от Лешневой избы. Правда, маленько ещё погрозился перед Марфою, но никакой пользы от того не возымел да подумал: чего мне тут стоять? Меня ж никаким краем чертовщина эта не коснулась. Интересно её Рептухе с Ундером ре-

шить, пуцай решают. А я тут при чём? Может, Марфа до весны на коньке прогарцует. И мне, что ли, стоять башку задирать.

– Давайте-ка, мужики, сами с дурой своею как-нибудь договаривайтесь, – хмуро посоветовали Сысою да Якову селяне и разошлись по дворам. – Ужинать охота...

Ну, где ужин, там и ночлег. Повалились советчики в тёплые постели свои. Отец Ларивон тоже стоять не остался: скинул дома рясу и запел носом до петушачьего подпева. Только и сказал прежде Ундеру с Рептухой:

– Покличьте меня, – сказал, – когда вы тут с Марфою уладите. А то я шибко ещё слаб всенощную выстаивать...

И ушагал.

Сели Яшка да Сысой в Лешневом дворе на брёвнышке, головы до конька вскинули и стали жабами при луне глядеть на Марфу как на поживу да квакать время от времени:

– Сла-азь, Марфа. Будет дурить. Сла-азь...

Вот тебе невысокая луна за небо упала, вот тебе и темнота непроглядная поднялась. Облила она чёрной смолою всё небо – звезде не проклюнуться. А тишину накатила такую, что стало слышно, как за Уралом две бабёнки одного мужика делят.

Интересно.

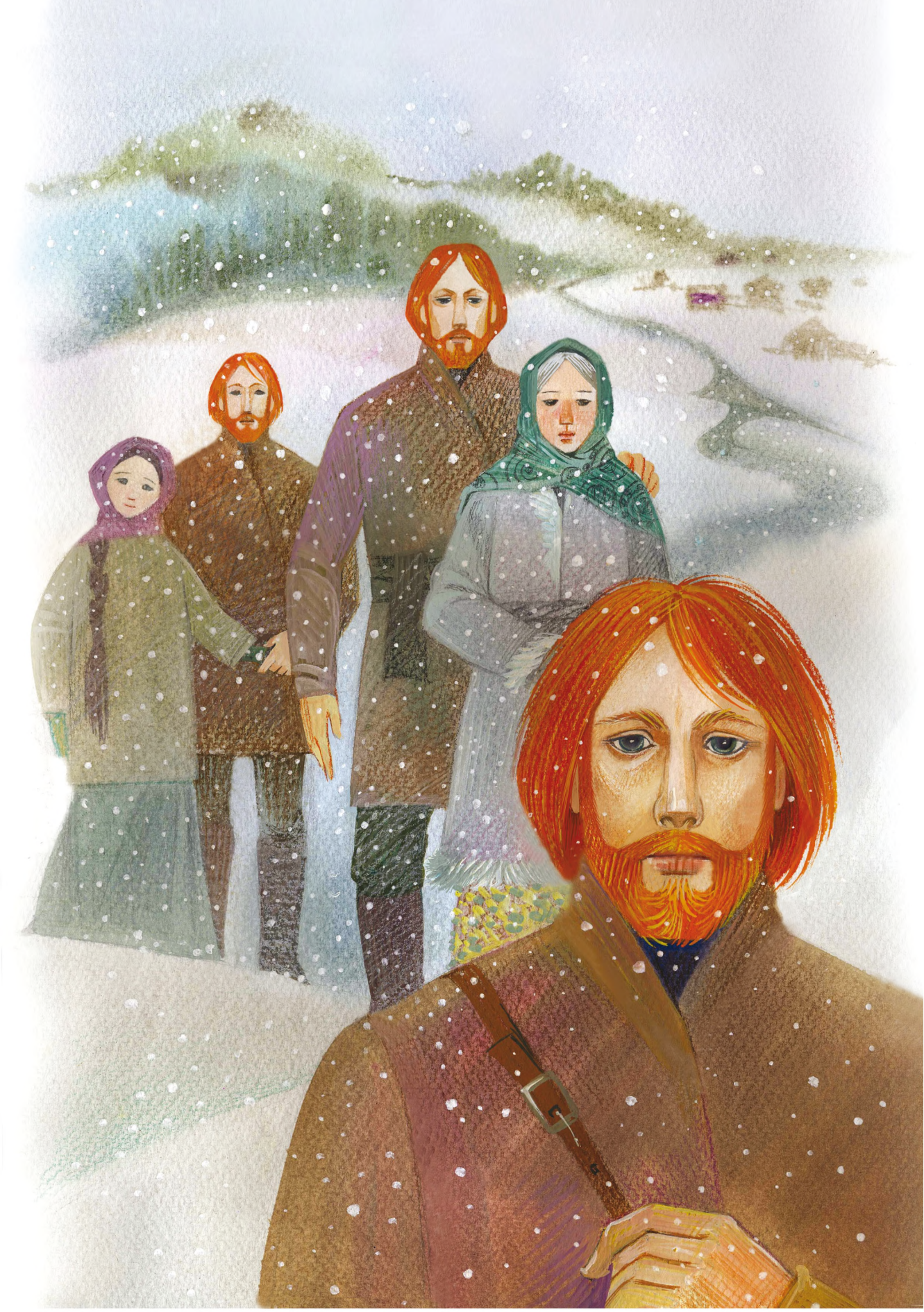
А в это время калитка Лешневой ограды отворяется, отворяется. И вот те... Входит во двор... Кто бы, вы думали? Входит во двор опять Матвей Лешня!

Сысою Рептуху до брёвнышка ужасом прилепило, а Якова, наоборот, будто бы то же самое бревно – да краем своим под зад лягнуло. Видели б вы его взлёт!

С криком «ой» кинулся Яков ловить нового Лешню. Но не довёлось Ундеру даже пальцем дотронуться до Матвея. Увидел Рептуха Сысой и другим потом рассказал, как от Яшкиного касания заиграл Лешня ярым светом, молниями пошёл...

Нет. Не жаром огневых струй ловца опалило. Обдало Яшку великим холодом. Таким великим, что в единый миг спёкся Ундер со-силькою...

Тем морозом маленько Сысою задело. Руки ему да лицо немного обожгло. Самого же за бревно без памяти завалило. Оттого и не увидел он, куда подевались Лешни заодно с Марфою.



Дома Ундер вытаял весь, розовой водицею изошёл, только мокрая одежда от него и осталась. Пропал бы, наверное, и Рептуха. Во всяком случае, селяне в доме его бабу-лекарку оставили, попросили доглядеть, чтобы человек в одиночестве не помер. Сами разошлись по своим перепуганным семьям.

Но на том дело не кончилось.

День да ночь просидела лекарка над Рептухою, а утром, чуть свет, подняла деревню суматошным рассказом. Перед самым рассветом, оказывается, Марфа домой приходила. Да не одна. С нею заявила вся троица Лешней. Один к одному – молодцы! Разом приступили они пользоваться живой водою умирающего Сыся. А когда тот захрапел богатырским храпом, сказали старой, чтобы Рептуху неделю не трогали. Пущай-де спит, пока сам не поднимется. Когда Лешни собрались уходить, Марфа над отцом маленько попридержалась. От неё-то лекарка и узнала, что представился ей не один Матвей в трёх лицах, а приходили до Сыся одновременно и дед будто бы Аким, и Иннокентий, и сын – Матвей.

Подумать только!

А ещё Марфа велела сказать деревне, что и она теперь на долгую-долгую жизнь молодой останется, ведь там, куда забирают её Лешни, время над людьми не властно...

И при этих словах Марфа показала на небо.

Вот и подумайте, кто были эти Лешни.



ФЕДОРУШКА СЕДЬМАЯ



Сколько людей по земле ходит, а нет такого человека, чтобы с другим спутать можно было. И примет-то у нас: душа да тело. Поглядишь на человека один раз и уйдёшь по жизни разными дорогами. Повстречай потом забытого, маяться будешь: где это он мне попадался? Разве уж вовсе перевернёт его, перекрутит... Про душу другое.

На балалайке три струны, а что вытворяют! В человеке же струн несметное множество. И каждый проходящий норовит настроить их на свой лад: попадёт умный – поют струны, подвернётся пройдоха – стони да охай, нагрянет дергач – садись да плачь...

Может, к тому времени, когда умному очередь подойдёт, струны те пообборваны висят. По связанной же струне один дребезг катится, под музыку такую черти пляшут.

Глядишь на такого человека: живёт – могилу ищет. Рядом с ним больно себя здоровым осознавать.

Про одну такую горемыку, про Федорушку, помнил народ с малых её годов. Жила Федорушка – от людей пряталась, неся по миру убожество своё непоправимое.

Годов с пяти принялась она в голову расти, после того, как, сорвавшись с колодезного сруба, просидела ночь целую в гнилой темноте.

До полудевки уж дотянула Федорушка, а всё-то в одну варезжку могла она втиснуть обе руки, ребячью одежонку отдавали ей на донашивание, и верилось-казалось, что вся Федорушка уложена в голове своей, большой и крепкой, как семенная тыква.

А ведь не получилось бы с Федорушкою такой беды, кабы за нею был хоть малый догляд.

Какой там догляд, когда одна мать на ошестёх сорванцов да на седьмую Федорушку руки ломала. Ну и споткнулась на непосильной работе.

А с такими-то руками безрукими, какие у Федорушки остались, зыбку качать и то – пойди попробуй!

Парнишек народ кого в кузницу пристроил, кого в подпаски заганялой, вместо собаки, кого в лавку затрещины хватать. А Федорушке одно дело – милостыню просить.

Ходила Федорушка годы вела...

Тут возьми да подвернись весёлая барыня, самого губернатора жена.

И пёс её душу знает, какого она лешего искала в наших заплатанных краях? Губернаторёнка своего за хвостом возила.

Этот самый гнаторёнок и заметил Федорушку.

– Ой, – орёт, – маманька! Кукла на завалинке сидит! Купи!

Купи да купи. Вынь да положи.

А ей, барыне-то, по душе, что по меже, – лишь бы юбку не вымарать.

– Поскольку ты на другое дело не пригодна, – говорит она Федорушке, – беру тебя заместо забавы. Садись на задке и ногами помахивай.

Так вот и умахала Федорушка от смеху на потеху.

Как сам губернатор увидел её, поразился:

– Кого ты, – спрашивает, – матушка, привезла? О-хо-хо, – ржёт, – пузырь на вилке. Ты, – говорит, – матушка, утром по гостям пошли: пущай соберутся поглядеть.

Барынька муженьку рада угодить. Нарядила она Федорушку по своей задумке: голову ей начисто остригла, щёки свёклой натёрла и выпустила вечером на пьяных гостей.



Стоит Федорушка среди разгульного хохоту, бегут-катятся слёзы, расходятся со щёк алыми пятнами на белом наряде...

Довольная губернаторша перстенёк на пальце крутит, а бородатый Расстегай скакуна через стол хозяину за Федорушку сулит...

Навеселились гости да и забыли про неё. Уторкалась под стол Федорушка, наревелась там и уснула.

Проснулась... Над столом голос губернаторши стелется в Расстегаево ухо раструбом:

– Да ты не бычься, брат! Ну, беда ли в том, что муженёк мой на скакуна твоего девку менять не хочет? А ты не торопись. Наиграется. Уродство, оно надоедливо. Придёт время, так отдаст. А ты Федорку эту с каким-нибудь там пьянчугою повенчай. Наплодят они тебе таких выродков, каких свет не видывал. Да за такой цирк тебе не одного скакуна дадут. Что ни год, то урод! Прямая выгода!

Федорушка даром что не мудра была, а поняла, к чему губернаторша клонит. Сомлела вся: как беду отвести?! За кого спрятаться? По губернии бежать всё равно что на сковороде жариться: и перевернут, и посолят, и на стол подадут... А бежать надо.

Дождалась она, когда Расстегай с губернаторшей уйдут, выползла из-под стола, по коврищу мягкому не стукнула, по сениям протемнила, не звякнула, скатилась с высокого крыльца... только мерин Расстегаев храпанул у привязи, только сторож трещоткою прокатал тишину...

Выскользнула за ворота, а там баба хмельная на краю канавы сидит, никак сама подняться на ноги не может.

– Ой, лихушки мне, – тянет она к Федорушке грабастую пятерню. – Подай подушку-перинушку. И у тебя нетути? – И запела пьяная:

Соломцы б клок,
Да пойла чуток,
Да горькой налей –
Помирать веселей.

Дёргает баба разутой ногой и приговаривает:

– Слышь-ка, девонька? Хавронья я Свиное Рыло. Чо уставилась-то на меня? Звезду енеральскую увидела? Тащи меня за уши из грязи домой.

Принялась Федорушка Хавронью из канавы тащить. Хоть мала силенка, а к силе приварок.

Хавронья баба здоровая. Закондыбала по улице. К дому подходить стали, совсем твёрдыми ногами пошла. В избе лучину запалила, рука не дрогнула.

Чудно Федорушке показалось и то, что в доме у неё не корки да сухари, а калачи на сахаре.

Ой, взяла беда расчёта, вышла в дверь, вошла в ворота...

«Будь ты трижды неладная! – клянёт себя Федорушка. – Спряталась, что дитя малое: голову в подклеть, а задок под плетть...»

А Хавронья Федорушку уже и ко столу манит.

Поела бы Федорушка Хавроньиных калачей, да кусок в горло не идёт.

– Чего ты, не сглотивши, икнешь? – спрашивает Хавронья. – Меня, что ли, испугалась? Да ежели мы, простодумы, начнём друг на дружку волками смотреть, так загонщикам нашим останется шкуры наши готовыми по кучкам раскладывать. Чем яростней мы будем злобиться, тем больше пойдёт этих шкур на барские розгульни. Может, и есть у тебя нужда людей бояться, да сегодня отпусти сторожа... В моей избе ни один живой глаз тебя не поймает. Не любят меня проныры. Боятся. На улице сам губернатор, увидевши меня, торопится по делам. Потому, что за меня темнота людская заступу поставила: оборотнем живу я! На шепотке-то за моей спиною всем я: Хавронья Свиное Рыло. А в лицо на голосе будь здорова, Хавронья Савишна! По моему же понятию, так за мною пусть хоть хвост волочится, лишь вперёд коровою не мычать. Ещё я так думаю: значит, для чего-то я нужна оборотнем, раз уж народ так придумал...

Эхма! Кабы не оговорка, была бы в уме Федорка...

Хавронья, должно, вразумляла Федорушку своим откровением, а той уже привиделось-прислышалось, будто захрюкала хозяйка после слов своих страшных.

И дня не прожила Федорушка у Хавроньи. Утром чуть свет нырнула она в подворотню и попала... как из трубы в трубу, только поуже: за воротами вот он!.. Сам Расстегай брюхо на седле везёт.

Федорушка заметалась по улице, а он за ней верхом, а он впритруску... Правит скакуна за Федорушкой, а сам заливается со смеху.

Металась Федорушка, металась, пока не сунулась носом в землю.

А уж Хавронья тут. Заступила дорогу Расстегаяву мерину и идёт на него всем телом. Пятится мерин, схваченный за узду крепкой рукою.

– Смотри, куда прёшь! – говорит Хавронья Расстегаю. – Назюзюкался с утра-то! Ещё б ты борзых на сироту натравил, брюхо ты безмозглое!

Опомнился Расстегай, спесь величать его принялась, гордая заноза сквозь седло колет, да так ли глубоко, что он по самые уши кровью наливается...

Видит Хавронья: пора прощаться. Припала она губами к меринovu уху и что-то крикнула. Хватанул мерин по улице, пошёл через канавы плясать, чесать бока о заборы.

Расстегай руками машет, верещит по-свинячьи да плюхается колотым местом об седло...

Укатил мерин седока за городище, там хряпнул где-то оземь, и ... доставили проезжие люди того Расстегаю на губернаторов двор елe живого. А скакуна до сей поры в поле ищут...

Хавронья же Федорушку домой на руках принесла.

Лежит Федорушка на лавке – впору под образа...

– Ты хоть имечко своё помнишь ли? – бьётся над нею Хавронья.

– Федорушка, – отвечает сирота, – седьмая...

– Ну и ладно, – соглашается Хавронья, – седьмая так седьмая... Годов-то тебе сколько?

«Седьмая», и всё тут.

Ну а на губернаторском дворе сыр-бор разгорелся: какая-то там Хавронья Свиное Рыло и посмела над барином шутки шутить! Бог знает, что бы сам губернатор тогда сделал, кабы дома был. А губернаторша ногами затопала, дворовых в загривок:

– Доставить сюда Хавронью! И Федорку кнутом, чтобы не куражилась вперёд!

Хавронью привели, а про Федорку правду сказали:

– Не можно трогать: родимчик её колотит.

Губернаторша и пристала до Хавроньи один на один:

– Держи ответ, баба, как ты на девку порчу навела?! Мы по доброте своей душевной сироту в доме пригрели, а ты увела да и зельем опоила?! Не будет тебе от нас милости! И не проси, и в ноги не падай! Эй! Кто там! Волоки сюда верёвку! Вяжи её, чтобы судом своим судить!

– Ну чего ты, барыня, визжишь? – говорит ей Хавронья. – Аль не слышишь: голос-то у тебя перехватило... Давай, што ли, сама я холопьев твоих покличу...

– Стой! – машет рукою на Хавронью губернаторша: без тебя, мол, обойдусь...

– Без меня так без меня, – смеётся Хавронья. – Ступай, матушка-барыня, зови своих холоуев. А я погляжу, как это у тебя получится.

Шаг шагнула губернаторша к дверям да в юбках и запуталась, другой шагнула – на пол грохнулась. Поднялась было да снова ухнулась.

Хавронья хохочет, а губернаторша не сдаётся – ползёт... загребает да ползёт...

– Ну, ежели ты такая упрямая, – говорит Хавронья, – век тебе ползать!

Перешагнула Хавронья губернаторшу и дверью хлопнула.

Приехал губернатор домой: холопы гнутся в сторону от него, шепчутся по углам, торопятся каждый своё дело делать.

Губернатор в дом, а там жёнушка его уползалась до того, родимая, что на спину перевернулась и похрюкивает жалобно, будто что сказать хочет.

Работники, видя такую беду, про Хавроньин-то приход и сказать бояться: как бы кому самому поползнем не сделаться!

А Хавронья без головы, что ли? Будет она ждать, когда это губернатор до истины докопается!

Видел народ, как шла она по улице с узлом да Федорушкой, а куда они подевались, никто не сказал.



ПАМЯТЬ ВЫДУМКИ



От земли Адом
до земли Эдем
чёрной бурей
пронеслась беда.
То Горыныч-Змий
прилетел грозой
до заступницы
земли Эдема,
обережницы добродетели –
до Югоны-свет
раскрасавицы...

Чудеса многолюдья сторонятся, потому случаются в основном с теми, кто одинок да склонен перебиваться в жизни выдумкой. Мечта, ежели она здравая, она всё знает. Она ведь до появления хозяина своего на свет успевает облететь весь мир, всё оглядеть и всё запомнить.

Готовому-то человеку только представляется, будто бы он сам что-то измышляет. Нет-нет! Это ему в часы одиночества открывается память выдумки. То, о чём она ему повествует, где-то в мироздании уже случилось. Ну, а поскольку Вселенная бесконечна своей повторяемостью, то любая человеческая мечта способна образоваться наглядно.

Хотя исключительная, но возможная эта редкость и воспринимается людьми как чудо.

Яся Пичуга с матерью своей – шаловатой Устенькой до деревни Большие Кулики, что стояла на берегу таёжной реки, вроде как со внешней стороны были прилеплены. Годов тому за десяток, как случиться описанной тут оказии, Ясина мать, убегши, по её словам, от грозного супруга, закатилась с дочкою за Васюганье, да только привиться до местного народу не сумела, поскольку оказала себя такою гулёною, которую прикуй до ворот – и столбы унесёт. Нечистый, похоже, на ней где-то целыми неделями скакал, принуждая кидать на произвол судьбы малолетнюю дочку.

Конечно, люди стали в открытую говорить, что никакого супруга у такой шалавы не было и быть не могло. Насчёт же дочки?.. Так в жизненной суете своей вряд ли мать разглядела, от кого её поймала. Потому, видать, и получилась Яся какой-то недосиженной. Ежели она и представлялась на белом свете живою, то разве что одними только глазами.

Да уж. Глаза у неё были – две утренние звезды на чистом небе.

А всё остальное? Посдёргивай, казалось, лохмотья, в кои рядила дочку разгульная мать, ежели найдутся под иными голые косточки, то и слава Богу.

К тому же бедняга эта даже имечка своего настоящего произнести не могла – настолько была заиката. Иной раз до посинения заходила. Когда кому с расспросами выпадало до неё вязаться, так не хуже было бы лютой пыткой девку пытать. Потому к ней никто лишний раз и не приставал. Потому и сама она старалась ни до кого не касаться.

– Божевольная¹, – страдали за неё бабёнки да шептались от неё в стороне: – А не всучена ли Устеньке нечистым духом мертвяка с чужими глазами?!

Сносно заикаткою выдыхалось одно только слово – «я». Это «я» отдавалось ею с каким-то присвистом. Потому и стал народ называть её Ясею.

Что там ни говорили о Ясе люди, а все жалели – не обижали. Разве что пацаньё... Оно поначалу даже дразнилку придумало:

¹ Б о ж е в о л ь н а я – глупая, юродивая.

Яся, Яся, Яся, Ясь,
ты откелева взялась?
Не стелилась, не снеслась –
с того свету поднялась...

Озорники – чего с них возьмёшь? Дуракам закон не писан.

Жить шаловатая Устенька наладилась в мазанке недавно умершего бобыля Бореньки, невеликий двор которого сходиллся задами со двором большекуликинского санника – деда Корявы. Тот, с малков в подпасах бегаяючи, всё покрикивал на блукавых бурёнок: куды ты корява понесла?! Оттого на всю жизнь и остался Корявою, хотя, заусатившись, от гурта отошёл и взялся гнуть полозья.

При нём, при Коряве, держался внук – Егорка, который с рождения светленьким, навроде седеньким, удался. За что и кликали его Серебрухою. Парнишка был вихровой, но жалостливый. Когда гулявая Устенька до Больших Куликов прибилась, ему годов двенадцать уже сравнялось. Лет на пяток опередил он в годах Ясю. Вот и взялся он опекать глазастую. Драться доводилось. А когда в ней проявилось умение узоры всякие выводить, то, радуясь тому, обещался:

– Плюй ты на чепуху ерундову. Подрастай скорейча. Я от деда как только полностью перейму ремесло да как заделаюсь знатным санником – шелков тебе накуплю, холста, бисеру... Знай красоту по узорам своим наводи...

Шить-вышивать Яся давно норовлялась, да только работа эта бабья привлекала её постольку-поскольку. Больше тянулась она до изображения красками. Как минутку свободную выкроит, так и кидается неведомые цветы по стенам избы своей распускать, живые таки травы возвращать. К девичьим летам наострилась она столь отраднo красками владеть, что тот, кому выпадало переступать порог мазанки, оказывался как бы на лужайке посреди неведомого сада.

Для людей особо интересным было то, что, к примеру, стручок гороха, изображённый ею длиною в доброе полено, заставлял верить, что и на самом деле он таким случается. И вот ещё какая заманка была в Ясином умении: каждому хотелось затаиться посреди её сада, прислушаться: не бродит ли по-за стеною дивных посадок тот, от которого в жизни человеческой многое зависит?

Когда же деревенский люд малость попривык к Ясиным чудесам, ему одной только видимой красоты маловато сделалось.

– Благодать, конечно, несказанная, – взялись они указывать рисовальщице, – но ежели ко всему да соловушку сюда заманить – прямо-таки не жизнь, а малина бы сделалась...

– Так уж сразу и соловья подавай. Хотя бы щегла или зяблика...

Разговоры эти в зиму поднялись: какие по снегу щеглы, какие зяблики? Одни воробьи да вороны остались.

Вот тогда и попробовала Яся сама научиться под стать любой птичке трели выводить.

Дело занялось с первыми зазимками, а уж к Рождеству заикатка такого соловья выдавала, что вконец обеспокоенная кошка начала припадать к половицам да подёргивать хвостом.

Дальше – больше.

Прозванная за такие концерты Пичугою, Яся наметила себе попытаться повторить крик какого-нибудь иного живья. Начала с упомянутой кошки. И что вы думаете? Так ли замаякала, что хвостатая, с полатей сиганувши, выгнула хомутом спину и... заревела только что не тигром.

При людях случился фокус: кто засмеялся, а кому вспомнилась «мертвяка с чужими глазами» – потянуло перекреститься тайком.

Со временем Ясе придумалось ещё и шум всякой непогоды освоить. В новой затее она точно так же достигла предельного сходства.

Должно быть, природа была определена ей неутомонная, потому как терпения хватило подладиться голосом и под шум речной гальки, и под наплыв тумана, и под солнечный восход. Даже свет звезды пробовался ею напеться. И ведь получалось! И всё у неё выходило так, вроде бы в момент достижения цели она сама становилась тою же, допустим, галькою или звездой.

Вот она какая штука!

Народ через Ясю понимать стал, что в мире всё как есть имеет свой голос. Только уши к человеку приделаны слишком толстые...

Одним из большекуликинцев Пичугина способность казалась Божьим даром, другим – наоборот. Оно и понятно: нечистая сила в старые времена точно так же была придумана, да вот только к исполнению своих обязанностей она подходила куда как серьезней.

В одном лишь мнении сходились все насчёт Пичуги – божевольная. Потому и оставалась она, как всякий непонятный человек, и одинокой, и беспомощной.

Раздымился Змий
чадом-копотью,
расщёлкался Змий
огневым хвостом,
угнезвился Змий
посреди небес,
располохнул пасть
окаянную,
клыкнул раз-другой –
с языка его
сошла на землю
Яга Змиевна...

Понятно, что не одним годом достигла Яся умения своего. Но оттого, что голосом вознеслась она в мир услады, сама Пичуга приглядней не сделалась. Всей и невесты из неё выросло – глаза да песни. Ну, ещё доброта.

Вообще-то для человека столько иметь – об чём печаль? Но ведь нам надо не как пришлось, а чтоб сыпалось да лилось...

Однако молодость брала своё. И ежели говорить о любви, так, по сути, дружба с Егором Серебрухою и вдохнула в Ясю желание длить жизнь да во что-то ещё и верить. Кого ж ей было в таком разе полюбить-то?

Надо отметить, что Егор к тому времени выдул – парняга хоть на трон, хоть в заслон! И человек из него получился некорыстный, весёлый. Делу своему взялся служить отменно: такие бегунки-розвальни, такие козырки налаживал, что во дворе деда Корявы всяким новым Егоровым саням устраивались смотрины, на кои налётывали ретивые купчики-голубчики. И затевались ярые торги. Но сколь ни хороши были проданные сани, очередные из-под Егоровых рук выходили того краше. И опять собиралась ярмарка.

А что Яся? Она как была для Егора Пичугою, так осталась. И даже те девчата, которые выкокечивались перед санником, смотрели на неё как на забавную при ладном женихе безделушку: они даже зазывали её на вечеринки-посиделки – вместо гармошки. А и не шла, так не больно тужили.

– Подумаешь... королева из хлева! Ну, и сиди, дура, без закваски. Всё одно не раздобреешь...

Гулять с раздобревшими Серебруха гулял – в кусты не прятался, но и Ясиной дружбою не пренебрегал; по душе была ему прежняя забава.

– Напой мне, Пичуга, каково живётся пленнику на чужбине, – ласково прашивал он её чуть ли не всякий день. – А теперь о том, как цыган от погони спасается...

Дед Корява беспокоиться стал:

– Обалдуй! Ты чего это с девкою игрованишь?! Она те чо? Одной только неуклюжестью выросла?! Загляни-ка ей в глаза – каково в них бездонье! Через них до любой звезды добраться – раз плюнуть... На неё сердцем, а не кичливостью глядеть надо.

– Брось метелиться, дедуня, – заверял Егор. – Мы с Ясею что брат да сестра.

– Сестра – посреди костра... Девка горит, а ты, обалдуй, греешься...

Как-то на новые торги Егоровых саней насыпалась целая свадьба народу. Наддатчиков налетело – один другого карманистей да крикливей...

Вот задириха неспустихе и тычет:

– Куда тебе с этакой мордой в Егоровы сани? Тебе ж бегать сзади...

А неспустиха оттыкивается:

– А тебе передом – под ремённым кнутом...

И разгулялся калёный спор.

В этот день возьми нечистый и принеси домой из долгого затемнения шалавую Устенку. Узрела она во дворе соседей канитель, перемахнула через огородные прясла, оглядела Егоров товар и себе давай в сторону козырок пальцем тыкать. А сама до купцов тощей грудейкой пялится.

– Это ли сани? – допрашивает каждого. – У вас чо? – ухмыляется. – У вас деньга сорвана с пенька? Она у вас по колкам опятами растёт? Вот я, – признаётся, – видала сани так сани! Руками Севергиных мастеров налаженные! Владычица в них безлошадно катается. А это разве сани?! Это же корыто с усами. В него и плюнуть-то зазорно.

А сама взяла и плюнула.

После до Серебрухи повернулась, оглядела его долгим взором и говорит:

– Смотри у меня, мастер!

И захохотала так ли раскоренисто, что и комары даже оцепенели.

Взговорила Яга Змиевна,
на Югону-свет
совой глядячи:
— Я, владычица
земли Адома,
озарение
вольна даривать,
от звезды к звезде
вольна лётывать,
время за время
перекидывать...

Надо сказать, что теми временами разговор о Северге никому из жителей таёжного края в диковинку не был. Народ тогда в основном промышлял лесом, и случалось, конечно, терялся иной охотник либо шишкователь в смурых дебрях урмана. Бывало, что и грибница-ягодница, излишне добычливая, захаживала себя по ельникам да ма-рям до полной потери.

Ну, а нынче? Разве нынче никто не теряется? Однако и в голову никому не приходит пенять на всякую там нечисть. В те же поры все таёжные напасти сваливались на упомянутую Севергу, на владычицу какого-то якобы жизненного провала. В народе верилось, будто бы ведьма эта, время от времени, всплывала из владений своих потузельных через Шумаркову слоть¹. Вылезала на плавник², который на мочажине той и поныне лежит не тонет, перекидывалась чёрной совою, перелетала ею топь да береговую недоступность, чтобы, колдовской волею своей, полонить заблудшего в урмане человека и прино-ровить его к нужному ей ремеслу.

Кому-то удавалось обхитрить колдунью — к людям воротиться. Только вспомнить да рассказывать, о чём бы надо, он не мог. Так себе: полохнёт память ярким лоскутом и тут же выцветет. Иного же кого Северга сама гнала в три шеи; того, кто оказывался дурнее кривой сохи. До дому, однако, не доходил такой кривосоха. Становился в тай-ге лешим либо кикиморой.

¹ С л о т ь, с л о т и н а — вязкое болото с крутыми берегами.

² П л а в н и к — камень, плавниковый шпат.

Для избранного же владычицей человека выход из провала якобы имелся, только отворён он был в совсем иную жизнь. Где он находился, тот выход? Какая за ним судьба поджидала полонянина? Северга про то никому не докладывала.

Народ ей был необходим будто бы для того, чтобы с его подмогой творить ведьме во владениях своих какие-то секреты. Этих умозрений держались не все таёжники. Некоторые полагали, что владычица, среди уводимых ею людей, подыскивала всего лишь одного способника, который не вот бы взял и создал для неё секрет, а способствовал бы открыть готовую тайну, которая не давалась ведьме Бог знает с каких времён.

Ну и вот.

Не то какой-то обидчивый лешак, досадуя на владычицу за свою испорченную жизнь, постарался перевстретить в тайге бывшего свояка да нашептать ему что почём? Не то кикимора болотная откровенничала с водяным да была подслушана кем-то случайным? Определи теперь. А только по народу, как рябь по воде, пошла и пошла нащёптываться сказка о том, что Северга будто бы намерена, способностью подыскиваемого ею разумника, познать тайну Алатырь-камня.

Хотя смутно, да и теперь ещё помнится таёжными людьми заклинание, которое творилось стариками на случай пропажи в урмане охотного человека:

Как на море-океане
да на острове Буяне
Алатырь-камень лежит...
Без огня камень горит...
Кто камень изложет,
тот жизнь свою помножит;
кто скрозь него пройдёт,
тот сам себя найдёт...

И опять же... Где тот океан? Где тот остров? Какую для себя выгоду надеялась добыть владычица жизненного провала, познавши тайну Алатырь-камня? Кто нам возьмётся всё это объяснить?

Взговорилося
Яга Змиевна,
на Югону-свет
лисой глядячи:

– Пожелай и ты,
моей выучкой,
озарение
станешь даривать,
от звезды к звезде
станешь лётывать,
время за время
перекидывать...

Ну ладно. Пушай куда всё остаётся как есть, а мы воротимся во двор деда Корявы.

Со слов ли, с хохоту ли шаловатой Устеньки, а вроде бы как все разом прозрели, а то наоборот – ослепли. Одним словом, напала на людей какая-то душевная слабость: ну, сани, ну, стоят, ничего себе – хорошие сани. Только есть ли нужда рубахи из-за этого рвать? Надо подождать, какими из-под Егоровых рук следующие козырки выпорхнут. Тогда можно будет и кошелом потрясти...

Вот по таким по гладким думам и разъехалась ярмарка. Серебруха же остатным вечером во дворе своём долго кормил резными санными боковинами да глянцевитыми полозьями прожорливый костерок. Смотрели сыздали на тот малый пожар большекуликинцы и невесёлые думы свои перемалывали досадливыми языками:

– Это ему Устенька подладила – за дочкины муки.

– А так ему и надо: не пляши перед хромым...

– А ты, коза, не лезь под образа... Егор ли повинен в том, что зайкатка душу свою перед ним готова расстелить?

– Губа – не дура...

Вот чего на Сибири возами накубили, так это присловий да поговорок: что ни словцо, то копыцецо.

Сладил Серебруха другие сани, и опять ярмарка налетела.

– Ну, могё-ошь! Ну, ма-астер! Интерес берёт поглядеть, на что ты дальше будешь способен. Вот тогда уж – по рукам...

На третьи сани какой-то хлюст глянул и говорит:

– Пожалуй, мною чудо бы это купилось, да вот купило затупилось: не по нашим дорогам царя из себя выгибать. Ты, паря, чего бы попроще изладил...

– Зачем попроще? Самокатки Севергин пушай изладит, – опять подсунулась со своим советом шалавая Устенька. – В них по любым дорогам – как по столешнице...

– Не самокатки – самолётки сотворю! – ударил кулаком в ладонь никогда прежде не ходивший в росхристях Егор.

– Фю-у! – только и сумелось кому-то присвистнуть в толпе на Серебрухину посулу.

А кому-то прошепталось:

– Пропал человек!

И тут в голос ударились девчата:

– Ведьма проклятая! Нарочно придумала о Северге?!

– Вконец изурочит парня!

– Не сама ли она и есть Северга?!

– Сщас проверим. Хватай шалавую!

Сообразив, что доигралась, Устенька бежать кинулась. Да вряд ли спасли бы её от цепких рук не столь уж быстрые ноги, кабы шум скорой расправы не покрыло Пичугино пение. И хотя даже на песню не выделил ей Создатель ни единого словечка, однако же голосом души своей сумела, смогла она донести до сознания взбудораженных людей такую истину:

Что на слово сказанное,
как на семя брошенное,
отзовётся зримое,
знамое откликнется,
память первоголоса
переймёт грядущее...

Поняли в тот день большекуликинцы, что искра человеческой мечты негасима. Сказанным словом она витает по умам. И не беда, что Егорово обещание не исполнится им самим. Придёт в мир иной мастер. Серебрухино слово отыщет его и озаботит. И любая Северга со своими хитростями ничто против людской переимчивости, поскольку человек задумкою своей обязан только времени...

Внимали селяне Пичуге и диву давались: насколько, выходит, значим в этом безмерном мире каждый человек! И насколько он становится обобранней от неумения дослушаться до чуда того слова, которым говорит благая мечта...

Замолкла Яся, а люди, околдованные её отповедью, занемели в желании осознать себя. Стоят, думую затекли. И тихо вроде, но очень внятно сказала в оцепенении шаловатая Устенька:

– Ой, доченька! Откажись лучше от Серебрухи. Не здешней теперь он жизни человек. Не наладит самолёт – в думах загинет, наладит – Северге станет нужен.

– Ну, вы подумайте! – страшнее всякой Пичугиной кошки реванула которая-то из девах. – Мы стоим тут, уши развесили, а они сговорились да принародно хомутают Егора.

Лесом-тайгою подступила до Яси со всех сторон хула, точно, не окажись её в деревне, всякой бы невесте по Серебрухе досталось.

– Вы поглядите на неё! Чирью некуда прилепиться, а она чего-то там ишо для парня освобождает...

– В зад дунуть – голова отвалится, а туда же...

Да уж... Языком болтать – не деньги кидать. Столь густо была осыпана Яся лихими щедротами, что с неделю, больше, разгребала она шиповатую кучу – и носа на деревню не показывала.

Однако урожаяистые на дурное слово Серебрухины заступницы тем временем и до частушек довымудривались; подговорили пацанё орать на всю улицу:

Ой, слышу – сто,
переслышу – двести:
Яся косточки считает:
все ль на месте?
Заикатая милашка
в санника влюбилась –
до того дозаикалась,
аж изба свалилась...

Егору-то Серебрухе некогда было вслушиваться в экое бесстыдство. Сутками взялся он иссиживать себя, морокуя, каким ему вывертом навести на новые сани резьбу, чтобы она не только не мешала на взлёте, но ещё и способствовала вспенивать воздух. Из камышин, рознятых на пластины, приступил он приращивать до козырок только что не тёплые крылья; точно такой же хвост скоро оказался способным, по желанию мастера, хоть парусом подняться, хоть опорой распластаться по ветру, хоть рулём послужить.

Многие из большекуликинцев уже бегали по веретье¹, что пологой горою шла вдоль берега реки, прикидывали на глазок, сколь она высока, судачили:

¹В е р е т ь я – возвышенность.

– Така стремнина вскинет не только Серебрухины крылатки.
– И в простых санях, придись, не рискнул бы я с неё скатиться.
– Да-а! Соцедова безо всякой Северги в любой жизненный провал угодить – раз плюнуть.

В наступившую осеннюю непогоду заждавшиеся пацанята взялись сообщать друг дружке с крыльца на крыльцо:

– Бабка Луша сѣдни обещалась, что по этой слякоти снега лягут.
– Глядеть пойдёшь?
– Дурак я ли, чо ли, – не пойти.

Но не довелось, не выпало ни с дождём, ни со снегом на деревню Большие Кулики долгожданного восторга. Всё, что мог, отдал Серебруха своим саням. Носовину гордую приладил в виде Индрик-зверя. По первому снегу, один, ночью, доставил крылатки на веретью, чтобы светлым утром раскинуть крылья над речной поймой – ежели не подведёт ветер.

Ветер санника не подвёл, да самолётки за ночь ровно припаялись до земли. А у Индрик-зверя на морде ехидная улыбка откуда-то взялась.

Хотел Егор спалить крылатки – мужики отстояли:

– Тебе от Бога – и нам немного... Ребятишки увидят, что ты красоту горишь, подумают: и нам можно.

Так и осталась Серебрухина мечта стоять на веретье прекрасным чучелом.

На том Егор и заведовал – в думу кинулся. Всё реже стал бывать в настоящих днях. Всё чаще стал искать себя в ясном былом либо в тёмном будущем.

И стал, как говорят, наш Клим – ни лапоть, ни пим; и сделался Клим – хоть собакам кинь...

Ну, а те, которые изводились частушками, принялись нащёптывать Серебрухе:

– Это безъязыкая ведьма со своей шалавой матерью загубила твою работу. Они и тебя на нет изведут.

Набрал Егор того шёпоту полную голову, и далось ему, что сам он к такому выводу пришёл. Как-то на масленой выпил, перевалился хмельной головою через огородные прясла и давай шуметь:

– Ведьма! Перепой свою поганую песню. Не то я тебя самуё перепую...

Да. Язык – не камень. Он размашисто бьёт – не отторонишься.

Взговорилая
Яга Змиевна,
на Югону-свет
зря соколицей:
– Я, владычица
земли Адома,
из воды могу
высекать огонь,
из огня того
своей волею
сотворять и смерть,
и дыхание...

С того дня всё чаще стал переваливаться Егор через прясла хмельной головой, всё чаще грозиться:

– Перепой песню!..

Кроме хулы-обиды, Яся принимала на душу ещё и ту боль, которая скатывала Серебруху под гору жизни. И оттого ещё лихорадило её, что торопилась она прикинуть, как бы половчее опередить ей Егора, чтобы принять на себя окончательный его удар.

Давно бросила она разводить напевы. А ежели когда и подавала голос, тоска в нём была столь безысходной, что скотина и та впадала в беспокойство – вроде как надвигалось на небо полное затмение.

Один раз перетерпела деревня это «затмение», другой раз переморщилась, а уж в третий раз – на месте Ясиного двора только чудом пустырь не случился. Так и скончались Пичугины песни.

А тут как-то вышла она на крылечко – глянуть, не Егор ли спьяну кличет её. Голос слышался. Вышла, а никого нету. Зима, над которой собирался Серебруха птицею взлететь, давно минула. На дворе лето красное, заря вечерняя; комар-толкунец хоровод затеял – так и норовит всем игрищем в глаза кинуться.

Стоит Пичуга, отмахивается от комара и примечает краем глаза: тень её, что маковицей перекинулась через огородные прясла, голову подняла. Помедлила тень и вспорхнула на жёрдочку чёрной совою. Повела Яся головой – тень как тень, лежит как лежала. Что за насыл?! Не хватало ещё свихнуться.

Приотвернулась Пичуга – сама косится в сторону прясел. Опять вспорхнула тень совою, на колышек уселась и давай крылом звать: иди, дескать, сюда – дело есть.

Ясе дурно сделалось: села она на ступеньку. А сова манит. Насилилась девка, поднялась, не чуя ног, пошла на зов. Перьястая же махнула крыльями, и... понесло её в сторону реки. Сама оглядывается: не отставай, дескать.

Идёт Яся, и такое у неё понятие о себе, точно успела она когда-то очутиться на том свете и нет нужды бояться, поскольку два раза никому ещё помирать не доводилось.

Вот и ладно.

Совушка за реку, и Яся за реку, чёрная в тайгу, и Пичуга следом, та до Шумарковой слоти, и эту подгонять не надо.

Вот она и мочажина. А час поздний. Туман. Сова в туман, и Яся вокруг болота не кинулась. Сошла, ровно сплыла с высокого берега. Только дивится тому, что ноги её босые не топнут в трясине и даже охлады не чувят, вроде под нею стелется прослойка восходящего тепла. Вот он и плавник. Чёрная сова лупает с него глазищами, сама клювом чего-то скубит.

Прислушалась Яся.

– Алатырь-рь, Алатырь-рь, – повторяет, как спрашивает: знаешь ли ты, мол, о чём я речь веду?

Ну, а чего такого особенного могла знать Пичуга о том камне? Только и слыхала, как большекуликинские рукодельницы пели на девичниках:

Как на море-океяне
да на острове Буяне
Алатырь-камень полёг...

Те слова и постаралась Пичуга оживить в уме. Перьястая же наклонила голову так, словно прислушалась к Ясиному нутру.

«Не то ей дано понимать, о чём я мыслю?» – подивилась Пичуга и давай знакомую песню дальше в себе вести:

Как летел Алатырь –
море дыбилось,
как упал Алатырь –
земля хрястнула...

Вовсе затаилась совушка. И тогда Яся попробовала взять думы свои голосом.

Вот она всею грудью выдохнула отдалённую, но оттого не менее страшную боль пораненной Земли. Совушка заклёкала ответно, вроде чем горячим облили ей сердце, распахнула крылья, и услышала Яся человеческие слова, которые стали вещать ей о том, чего на девичниках она и слыхом не слыхивала:

Во лесах-долах
повалился зверь,
уравнялся пад
со вершиною,
из семи глубин
поднялась вода,
с семирядного
неба хлынула...

Трудно сказать, ведал ли в то время народ о всемирном потопе; воспринимал ли его как наказание Господне. Может, и ведал. Но Пичуга не стала оспаривать чёрную. А попыталась она домыслить совушкину вероятность. Ведь жизнь наша такова, что в ней кто ложью прав, а кто правдой лукав... Рискнула Яся представлением своим пробиться глубже услышанного. И вот что пришло ей на ум тою минутой:

Отворилась пропасть звёздная, опустилась ночь вековечная... Должно быть, угодила она совушке, потому как та с клёкотом подхватила:

Разгулялась стужа
вселенская,
время с небылью
побратались...

Хорошо, ловко пела чёрная! Но не лучше Пичуги. Всего хватало в её повести: и стужи, и безысходности, и того, чего никакими знаками на бумагу не перенести. Не было одного – сострадания. А уж ликование в её голосе и вовсе казалось неуместным. И вот ещё какая задача выпала Ясе: не первый раз слышала она этот голос. А где? Когда? Убей – не вспомнила бы. Перьястая же не бросала задорить Пичугу – вела былое дальше:

Сто веков заря
занималась,
сто веков
Земля
возрождалась...

Тем временем Яся поспешно думала: «Кем и во имя чего было запущено в Землю Алатырь-камнем?». Этими мыслями она устремилась к тому, кого представляла вселенским распорядителем. И... вроде бы кем ответным подсказалась ей догадка:

Истомилась Земля,
изнобилась –
человеком Земля
разрешилась...

Совушка вскрикнула, взмахнула крыльями, сорвалась с плавника, и мохового болотного настила коснулись уже не когтистые ступища чёрной неясности – спружинили чёботы дрехлявой ведьмы.

Слыхала Пичуга о неприглядности Северги, но такую нелепицу даже представить себе не могла. Не особа высокого звания, а дёрганая обезьяна с глазами всё той же совы стояла перед нею. Только не эта несуразь вновь озадачила Ясю: при всей нелепости вида, в облики ведьмы сквозило что-то невероятно знакомое... И всё же не испуг – жалость окатила сердце Пичуги. Захотелось утешить вихлястую эту никчёмность. Но глаза владычицы вдруг вспыхнули жёлтой злобою, отчего Ясе стало жарко. Однако того огня Северге, должно быть, показалось мало. Она вскинула руку к плечу, и... над мочажинной воспламенела странная заря.

Взговорила
Яга Змиевна,
на Югону-свет
зря голубкою:
– Пожелай, и ты,
моей выучкой,
из воды начнёшь
высекать огонь,
из огня, тобой
сотворённого,
создавать и смерть,
и дыхание...



Вскинула Северга раскрытую ладонь, и... всякая травинка, всякий стебелёк отдал в ночь собственным светом. Пичуга успела разглядеть на руке владычицы как бы впаянную запону¹, которая тут же утонула в кулаке ведьмы. Однако в глазах Яси долго ещё стояла изображённая на запоне чёрная звезда.

Колдунья же тем временем пыталась Пичугу:

– Заслужить Егорову любовь желаешь?

И сама отвечала мысленным согласием заикатки:

– Ещё бы!

– Через неведомое пойдёшь?

И снова ответила:

– Посылай.

– Волю мою исполнишь?

– Приказывай!

– Ну! Смотри ж у меня! – пригрозила владычица, и вновь что-то знакомое в лице её потревожило Ясю.

Но не стала она вдаваться в память, а вся ушла во внимание, поскольку Северга продолжала говорить:

– Человек всегда мечтал о вездесущности и бессмертии. А ведь он и в самом деле, постигнув умение выходить сном из тела своего, обретёт способность жить вне границ простора и времени. Но это случится с ним ой как не скоро! Однако в бесконечном мире уже есть люди, для которых такое возможно. Да только я превзошла всех! Я способна владеть не одной своей жизнью, но и любой другой, была бы душа, подпавшая под моё влияние, согласна с собственным телом.

Ведьма улыбнулась с нелепой на лице её задумчивостью, но глаза её тут же обрели прежнюю зоркость.

– Сейчас, – сообщила она, – тело твоё лежит на крыльце твоего дома. Ты же вольна пуститься в минувшую давность. Воротись обратно, познавши тайну! Доверь тайну мне, и я исполню всякую твою волю.

Северга взяла Пичугу за руку и палец в палец сошлась с нею ладонью. Яся почуяла на руке своей липкий жар, который владычица сопровождала пояснением:

– Вот тебе и час, и путь, и дела суть...

¹ З а п о н а – знак, тамга, бляха.

С интересом глянула Пичуга на вручение: округлая серебряная тамга с чёрной звездой посерединке представилась её глазам. Она как бы впаялась в кожу, однако никакого неудобства руке не доставила. Северга же, растворяясь в тумане и телом своим, и голосом, успела на три раза повторить заклинание:

Под кладень-травой,
под сурмой-водой,
в камык-вертепе,
в ледяном склепе¹
лежит Алатырь,
молчит Алатырь.
Кому его взговорить –
тому тайну открыть...

С последним звуком её слов затих и прочий шум. Сосны по краю болота сомкнулись, вознеслись утёсами; на месте ж плавника вдруг восстал каменный тур. Чахлый по болоту ельник, а с ним и рогоза-осока пропали. Под ногами Пичуги, слегка подёрнутая ворсистым блином рыжеватой плесени, образовалась сквозная глубина, наполненная чёрным не то киселём, не то студнем.

По-прежнему чуя над собою опеку восходящей волны тепла, Яся напригляд определила, что, оставаясь она в своём обычном весе, пожалуй, теперь бы уже и отмучилась хлебать эту смурную соломату. Куда её занесло?

Может, когда-то успел уже случиться конец света? А может, волею владычицы, возродилось его начало? А то, может, Земля повернулась другой стороной, и Яся попала в какое-нибудь заморье? На остров на дикий?

С этим гаданием в голову Пичуги пришёл повет, спетый ею на пару с Севергой:

Как на море-океяне
да на острове Буяне
Алатырь-камень полёг...

Припомнились и слова напутственного заклинания, трижды повторённого владычицей:

¹ Под мохом-травой, под чёрной водой, в каменной пещере, в ледяной могиле...

Под кладень-травой,
под сурмой-водой,
в камык-вертепе,
в ледяном склепе
лежит Алатырь,
молчит Алатырь...

И решила Пичуга: конец ли света наступил, воспряло ли его зарождение; этот ли ворсистый мох имела в виду Северга, когда говорила о кладень-траве; назвала ли она чёрной водою болотный кисель, а каменную громаду тура вертепом – кто подтвердит? Да только надо надеяться, что всё это так и есть.

Взговорила
Яга Змиевна,
на Югону-свет
зря гиеною:
– Я, владычица
земли Адома,
из червя могу
мудреца взрастить,
из пропащего
греховодника
воссоздать дитя
непорочное...

Какой бы лёгкой ни чувствовала себя Яся, возносимая над топью восходящей волною тепла, только, выбравшись на каменную твердь, ощутила она облегчение. Однако недолгое. Валуны тура громоздились перед нею столь неприступным капищем, рядом с которым разве что Создатель не осознал бы себя жушкой. Пожалуй, что и не следовало бы ей пялиться сюда топью. Разумней было бы попробовать выбраться из провала да наверху поискать ответа на все вопросы. Но что поделаешь, если до нашего разума – семь суток разного...

Только поправить оплошность оказалось делом непростым: из-за скальной кромки котловины всползала на небо грозовая туча. Такой оказии никогда прежде Яся не видела. Иссиня-чёрная, плотная, как мокрая куделя, туча тяжело култыхалась только что не на земле. Ей, видать, тяжело было стоголовым чудищем всползти над провалом. Как

бы спросонья неповоротливая, оголяла она в позевоте огненные глотки свои, просаженные клыками молний, и то урчала недовольная, то взрѣвывала громами. Словно оголодавши за время долгого сна, она настраивалась разорвать в клочки и поглотить всё, что копошилось перед нею на земле.

И вдруг невесть откуда взявшиеся полчища серых тварей, в палец величиной, хлынули на каменное подножье тура. Ясе не удалось подхватиться на какой-нибудь валун. Она лишь притиснулась к одному из них спиною. Но серая река, несмотря на поспешность, взялась обтекать её. Даже вконец осатаневшему от страха малому подростку и тому не удавалось проскочить невидимую помеху. Его множество наскакивало на незримую стену, которая окружала Ясю, оттискивалось ею прочь, верещало и грызлось. Яся отчётливо видела каждого из многих. Она была поражена разноликостью тварей. То отмечала она свинячий пятак, венчающий вполтела вытянутый нос; то поражалась языку, вылетающему из свирепой пасти и наносящему недругу кровавые раны; то дивилась пружинистым ногам, способным одним прыжком унести своего хозяина от посягателя...

Не уставая дивиться, Пичуга не обращала внимания на то, куда изливается река серых тварей. Лишь тогда, когда несколько приотставших особей проволокли мимо животастые, посаженные скорее на загребала, чем на ноги, тела, она хватилась выследить устье. Но его не оказалось. Вся разноликая прорва истекла в прострелы каменной кладки тура. Выходило, что валуны уложены не кучею, а, скорее, образуют некий шатёр. Иначе бы ни в каких расщелинах такой армии живья не разместиться.

Гроза же тем временем поднималась. Пичуга и себе собралась отыскать какой-нибудь пролаз. Но вдруг такой ли молнией полоснуло по котловине, столь щедрый грохот ломанулся в провал, что и шатёр каменный дрогнул.

Яся раскинула руки, упала на один из валунов, и... её понесло вперёд. Плашмя вытянулась она по настилу, который махрился под каменной укывовой вековой плесенью.

Взговорила
Яга Змиевна,
на Югону-свет
глядя ярушкой:

– Пожелай, и ты,
моей выучкой,
из червя взрастишь
проповедника,
из пропащего
греховодника
воссоздашь дитя
непорочное...

Села Пичуга, осмотрелась: над нею стрельчатым сводом сходились стены остряка. Света хватало разглядеть, что нигде никаких тварей нет. И никакая булыжина не выдвинута из каменной кладки. Как была сплошная крепость, так и осталась.

Новое чудо хотя и подивило Ясю, но не настолько, чтобы сильно долго от него отходить. Оно ведь с чудесами да странностями человек способен куда как скорее сживаться, нежели с осточертевшей обыденностью. Кроме того, Пичугу беспокоила забота: сумеет ли она выбраться из этого могильника? Поднялась она, встала, дотронулась до валуна, который пропустил её под укрыву, – камень как камень. Тогда она чуток налегла на него руками и... утонула по самый локоть. Испуганно отдалась назад – всё на месте.

Для проверки Яся повторила проделанное, затем шагнула вперёд и очутилась под грозой, которая успела заполнить всё небо.

Не поспеши она воротиться под укрыву, её наверняка ухватил бы ветер, пушинкою оторвал бы от скользкой опоры, и кто знает, куда бы её унесло...

Взговорила
Яга Змиевна,
на Югону-свет
зря волчицею:
– Я, владычица
земли Адома,
на сто дел умом
переброжена,
на века веков
перемножена,
снизошла к тебе
своей милостью...

За стенами остряка бесновалась непогода, но в полутьму Ясиного укрытия не просачивалось ни песчинки, ни капельки её исступления. Зато тишина, похоже, сбежала сюда со всей котловины да набилась под шатёр столь плотно, что, казалось, продохни Яся путём, и приют её не выдюжит – рухнет.

Но долго оставаться косной Пичуга не могла: взялась прикидывать, куда подевалась этакая пропасть разноликой твари. Нет ли где проёма, в который утекла живая река?

Скоро под налётом плесени приметила она западёнку, но сколь ни кружилась возле, сколь ни силилась её поднять – только зря время провела. И тогда она вспомнила о Севергиной тамге, о словах владычицы, что вот тебе, мол, туда-сюда и час, и путь, и дела суть...

Вскинувши по-севергиному ладонь, она подумала: давай, дескать, отворяйся. И сразу же покрышка сделалась прозрачной, затем и вовсе пропала. Перед Ясею открылась округлая серебристая площадка, посередине которой красовалась чёрная звезда.

Взговорила
Яга Змиевна:
– Не устала я
быть коварною –
друга со другом
ложью стравливать,
рукой матери
истязать дитя...
Истомилась я,
искручинилась
жить убожистой,
неказистою...

Давно погасли над Ясиной головой всполохи молний, давно затихли раскаты грома, а её всё уносило и уносило в неведомую глубину. Когда стало казаться, что пора бы ей выскочить на другую сторону Земли, полёт в слепоте замедлился, а там и вовсе наступил покой. Вскоре забрезжила далёкая заря.

Яся увидела, что находится она под сводами громадной пещеры, где закаменелые от стужи языки водопадов, в свете восходящей зари, начинают сквозить причудливыми узорами; огромные купола застыв-

ших на взлёте пузырей наливаются живым огнём; жемчужным блеском проявляются из темноты высокие наледь; радужным многоцветьем вспыхивают пологи сосуллек...

«Не здесь ли начинается жизненный провал? – подумалось Пичуге. – В этом царстве стужи и в самом деле способно жить только снам да привидениям...»

И вдруг она остро почуяла на себе чьё-то внимание. Яся резко обернулась и лицом к лицу сошлась с бедою, от которой сама было закаменела навеки. Притуманенная мириадами крохотных пузырьков, из темноты закаменелой волны рвалась ей навстречу девушка невиданной красоты. Лёгкое белое платье обтекало тонкое тело, протянутые вперёд руки напряжены, веки сомкнуты. Однако лицо хранило такой ужас, после которого человеку вряд ли заговорить когда-нибудь спокойно.

Пичуге даже показалось, что именно этот ужас, некогда пережитый красавицей, достался и ей, после чего она сделалась заикою... И тут, как бы одобряя её мысли, красавица кивнула головой.

Взговорила
Яга Змиевна:
– Всё, чему сумел
научить меня
необузданный
разум вечности,
я с готовностью
передам тебе.
Но взамен должна
ты свою красу
на моё сменить
безобразие...

Сколько бежала Яся ледяным подземельем? У кого намеревалась отыскать спасение? Да разве человек в такие минуты волен соображать? Вроде глупого мотыля летела Пичуга на свет, который всё сильнее разгорался в глубине ледяной кипени. Опомнилась она тогда, когда очутилась на краю пропасти, сотворённой из расхлёстнутой небывалой силою и тем же моментом стужею закованной воды. Лопasti взрыва застыли на лету чашею громадного цветка, в сердцевине которого, вроде кокона, покоился белый ребристый кристалл. Основание

его было надёжно впаяно в вечную мерзлоту. За гранями кристалла, расписанными изнутри морозными узорами, переливалась световая метелица. Вроде бы там дышала, выпариваясь, несообразная с земным представлением жизнь... Перед столь важной загадкой Пичуга на ледяном лепестке осознала себя малой козявкой. Но «козявка» была велика своей думою. В себе ли самой, через себя ли, Яся вновь приступила испрашивать дотошным разумом Всевластного, Вседержащего: кому и для чего припала нужда отложить в земные недра столь громадную личину? Какому чудищу должно вылупиться из неё? Какими переменами чревато для земной жизни предстоящее рождение?

Такие, близкие ли к тому вопросы задавала Пичуга душевному своему покою? Сумей теперь спросить её. Одно понятно: не могла она в тот миг мыслить о том, какая наверху погода, – слякотно или вёдро. Не могла она не прикидывать, как добыть ей из «кокона» потребную Северге тайну. Не для того же снарядила её владычица в провал, чтобы, воротясь, Пичуга доложила ей: да, мол, была-побывала, кой-чего повидала; а что видала, сказать не скажу – сама не разобралась. Да с таким ответом Северга и кикиморой не выпустит её под ясное солнышко...

Только в том, что предстала она перед Алатырь-камнем, у Яси не было сомнения. Все приметы совпадали: и то, что бел-горюч и что лежит-молчит. Подходящим было и то, что пелось ею да Севергой на Шумарковой слотине:

Как летел Алатырь –
море дыбилось,
как упал Алатырь –
Земля хрястнула,
из семи глубин
поднялась вода,
с семирядного
неба хлынула,
отворилася
пропасть звёздная,
опустилась ночь
вековечная...

Близкой к истине была и та правда, которая излагалась в народной притче:

Как на море-океане
да на острове Буяне
Алатырь-камень лежит,
без огня камень горит...
Кто камень изложет,
тот жизнь свою помножит;
кто скрозь него пройдёт,
тот сам себя
найдёт...

И не заметила Пичуга того, как, думая о притче, подала она с ледяного помоста, до возможного в камне разума, свой удивлённый голос.

Ничем сразу не отозвался Алатырь. Разве что световая метелица в нём пригасла. Она как бы смутилась на бегу, а Ясе вдруг занемоглось докричаться до этого смущения. Усиливши голос, она поняла, что творит перед камнем не просто высокую музыку, а слова – внятные, нежные слова слетают с её ожившего языка:

Отзовись, Алатырь-камень,
откройся,
ты доверь мне свою тайну
вековую,
сокровение своё
осознать дозволю –
не затем ли ты меня
заманил к себе?..

Что ещё могла придумать Пичуга в своей малости? И хотя молитва её в стылом подземелье могла бы кому-то представиться шуршанием пойманного в коробок жука, однако счастье ожившего слова было в Ясе столь велико, что она не замечала тщеты своего старания.

Но вот голос её переливом весеннего ветра отпорхнул от тонких сосуллек, восходом зари отозвался от стылых водопадов, громады наледей откатали его от себя многоголосьем проснувшейся Земли, и... грянул, заплескался в пучине ледяного океана небывалый хорал...

За белыми гранями Алатырь-камня только что морозный свет стал наливаясь изумрудной зеленью, затем в него вплелись извивы золота, которые постепенно раскалились до кумача... Скоро смена цветов

утратила всякий порядок, и царство вечного покоя ожило рассыпанной радугой...

Взговорила
Яга Змиевна:
– Ты пошто, краса
ненаглядная,
на мои слова
ухмыляешься?
Аль тебе зазор
по звёздам летать?
Ни к чему года
перекидывать?
Без нужды творить
из воды огонь?..

А Пичуга пела.

Когда разбуженное ею многоголосье достигло своей полноты, одна из граней камня отошла медленной лопастью от серебряного ядра, выгнулась, перекрыла собою глубину ледяной чаши и верхней кромкою выстелилась перед Ясею. Та не отпрянула от приглашения – ступила на любезный помост, который тут же начал подниматься. Одновременно он прогибался пологим жёлобом. И вот... словно со снежной горы Пичуга заскользила с высокой лопасти к её основанию.

От страха разбиться о крепость серебристого предела у неё занялся дух. Но в стене ядра успел образоваться проём, в который она и впорхнула, словно бабочка в окно. За пределом Яся угодила в седельце, мягко осевшее под её невеликой тяжестью. Круговая стена сомкнулась, и она оказалась в пустоте глухой светёлки...

Не прошло и минуты, как за стеною что-то зашелестело, запотрескивало, вроде бы кто-то неловкий плеснул водой на горячую плиту. Но скоро оказалось, что никакая не вода исходит паром, а кипит и превращается в туман сама круговая преграда комнаты...

Недолгим временем Ясю окутала такая белая слепота, в которой, казалось, потонули даже её глаза. Однако пугать её долгой неясностью никто, видно, не намеревался: забрезжила видимость, возникли звуки. В мареве вечерней, утренней ли зари Яся разглядела, что оказалась она в саду. Но в каком? Вот вопрос!

Взговорилася
Яга Змиевна:
— Али ты и тем
довольнёшенька,
что в добре, как в море,
купаешься?
Что красою ты
неповторная?
Младостью своей
вековечная?
Здраviем своим
неизбывная?..

Гибкий весенний лист на упругом стебле качнулся перед Ясиным лицом. Из-под него, умытое росой, выглянуло не по времени спелое соплодие — этакая снизка журавицы¹, каждая ягода которой представилась величиною с кулак младенца.

«Поди-ка с осени висит?» — подумалось Пичуге. Но стоило ей при-смотреться сквозь всё ещё густой туман, как она обнаружила на соседнем дереве ореховую гроздь. Зеленовато-молочные ядра, готовые вывалиться на землю, выглядывали из растрещин косматой лиловой кожуры. А вот издали показали ей аршинные язычища гороховые стручки. Они чудом удерживали в сахарных створках штук по семь горошин, которыми, высуши, можно было бы заряжать пушку...

Пичуга была готова ко всякому диву, но чтобы ожил выдуманный ею сад! Такому поверить сразу она не могла. Сколько бы она удивлялась невероятному — сказать трудно, когда бы вдруг за пологом со всех сторон обступившего её чуда не послышались шаги. Кто-то стремительный мелькнул алым нарядом меж ветвей и стал удаляться. Он не продирался чащей, не ломал веток. Пичуга поняла, что это не зверь по зарослям рыскает, а следует торною тропою человек. Забывши о том, какой небылью очутилась она в дивном саду, Яся заспешила выбраться на дорогу, надо было догнать уходящего, чтобы хоть немного определиться: куда она попала? Увидевши впереди лёгкую алую на-кидку на стройной девушке, Яся забыла всякую робость и бегом при-пустилась догонять уходящую...

¹Ж у р а в и ц а — клюква, веснянка, красница.

Взговорила
Яга Змиевна:
— Коль ответишь мне
несогласием,
я воздам тебе
одиначеством:
красота твоя
станет карою,
молодость —
тоской безысходною,
здравие —
бедой вековечною...

За великим изобилием сада вдруг да сразу открылась пустыня, уязвлённая немалой впадиной, со всех сторон окружённой скалами. Два солнца висели над провалом. Одно, краснощёкое, привычное, теплилось в скором закате по ту сторону пропасти. Оно было смущено усталостью, но медлило уйти на покой, как бы страшась покинуть Землю на произвол небесного собрата, готового затопить мир своим чёрным сиянием. Тяжко пояснить, каким светом способна сиять чернота; должно быть, имеется предел её спелости, превысивши который начинает она отдавать себя губительными лучами...

Ещё не подпавши путём под их влияние, Пичуга ощутила смуту — какую-то стыдливую тревогу: вроде бы она явилась воровать. Захотелось спрятаться от чёрного догляда.

Кто знает, как бы она поступила, когда бы краснощёкое светило не улыбалось ей, да полыхающая на лету накидка девушки не манила её за собой. Но тут хозяйка алого наряда столь решительно ступила на край обрыва, что не успевшая догнать её Пичуга вскрикнула: куда ты, дескать, — упадёшь! Девушка дрогнула, остановилась, помедлила, оглядевшись, и по высеченным в скале ступеням стала спускаться в провал. Она не увидела Ясю, хотя простору меж ними было не так уж и много. «Правда Северга, — подумалось Ясе. — Сном я вышла из тела своего, им и присутствую в этом мире. А кому дано видеть чужой сон?»

Не стала Яся другой раз окликать девушку, а молча последовала за нею в надежде, что со временем всё объяснится само собой.

Взговори́лася
Яга Змиевна:
— Коль и тут ты мне
воспроти́вишься,
я на твой Эдем
напу́щу огонь,
нагоню́ волну,
дуну́ стужею
сорока́ миров —
все возмётся́ сном
и пустынею...

Следом за хозяйкой алой накидки Пичуга сошла в провал и там поняла, что снова оказалась в той самой котловине, посреди которой должен был бы громоздиться каменный тур. Но ни капища, ни покрытой плесенью чёрной глубины не оказалось. Под ногами покоилась твердь, и только.

Покуда Яся узнавала окрестность, хозяйка алой накидки отдалилась. Пришлось снова её догонять. Вдруг там, где должно бы выситься остряку, отворилось окно невеликого озера, которого Пичуга странно не заметила с высоты обрыва. Озеро поражало своей чистотой. Стебли подонной травы поднимались из глубины в такой проглядности, вроде бы их только что промытыми да оглаженными выставили напоказ очень старательные русалки. Необычных видов и расцветок сновали среди лощёной зелени рыбицы. Они как бы водили замысловатый хоровод... Девушка определила себе место у самой воды и стала лицом к закатному солнцу. Яся же затаилась поодаль...

Как только краснощёкое светило коснулось отражением кромки озёрного берега, девушка вскинула к плечу ладонь. Но перемен никаких не случилось, ежели не считать того, что на воду лёг отблеск луча. Яся потянулась удостовериться в своей догадке и чуть было не свалилась в воду. Но не знак чёрной звезды, впаянный в ладонь хозяйки алого наряда, поразил её. Перед нею стояла та красавица, которая была погребена в ледяной волне...

Взговори́лася
Яга Змиевна:
— Что ж, красавица,
на себя пеняй:

за твою ли за
неуступчивость,
от твоей ли от
ненаглядности
быть душе твоей
отделённую,
чтоб в веках бродить
неприкаянно...

Словно кто со стороны подсказал Ясе, что, кинься она в новые бега, этой встречи ей всё равно не избежать. Не лучше ли подождать, что будет дальше?

Но, кроме нарастающего в лице девушки отчаянья, ничего не менялось. Тогда Пичуга подумала: а не выпустить ли и ей солнечного зайчика? Отданный от запоны луч метнулся и заиграл на воде светлым пятнышком. Красавица заволновалась, осторожно повела свой отсвет в сторону отражённого в воде светила. Яся догадалась последовать тому... Когда оба луча слились в лике заходящего солнца, озеро неожиданно высохло: вода в нём оказалась всего лишь игрою света. Только что колыхавшиеся стебли водорослей выстелились по дну мозаичным изображением, а рыбицы прилипли до узорчатого настила дивными картинками. Однако и эта явность, стоило солнцу закатиться, потускнела и пропала. При озарении же чёрного света дно озера и вовсе исчезло.

Взамен его развергся широченный колодец...

Взговорила
Яга Змиевна:
— Ей, душе твоей
неприкаянной,
сотни сотен раз,
через сотню лет,
навещать тебя
в живой небыли;
соглашать тебя,
угодивши мне,
дать ей, маетной,
отпущение...

Из кромешной тьмы колодца, на две трети видимой глубины, медленно поднялась в тёмно-синем блеске островерхая башня. Маковица её столь же неторопливо раскрыла огромный огненный зев и выпустила из нутра своего тотчас узанный Пичугою Алатырь-камень. На этот раз камень не стал дожидаться голоса, и свет его морозный не стал рассыпаться радугой. Наоборот. Волны метелицы взялись быстро перемежаться тёмными прорывами, которые множились, покуда наконец не заполнили собою всю изначальную белизну.

Накатила страшная ночь, в которой проглядывалось всё до последней мелочи. Но проглядывалось так, словно с уходом красного солнца чёрное принялось вытягивать забранный Землёю дневной свет обратно. Как бы вымерзая, он обтекал мерцанием каждую встречную грань, каждый излом, чем и обнаруживал в темноте всякое явление.

Это марево скоро выявило на середине Алатырь-камня широкий блин подставки, на которой обрисовалось то, что можно было бы назвать царицею, не будь владычица...

Одним словом, в урмани, среди Шумарковой слоти, Северга не показалась Пичуге столь негодящей. Может, в сравнении с хозяйкою алого наряда так изрядно проигрывала она, только ведьмою на болоте владычица глядела куда как сноснее, нежели теперешней государыней.

Первые же слова, коими она разрешилась, донесли до Ясиных ушей торжество её победы.

— А-а-а! — в клочкотании скорого веселья выпорхнуло из колодца. — Явилась?! То-то же...

Пичуга, принявши на себя злой восторг, собралась было пояснить в глубину, что она и не настраивалась увиливать от обещанного. Да опередил её горестный вздох красавицы, после которого послышался чистый голос:

— Явилась.

— Всё-таки надумала меняться?!

— Не меняться — смерти просить пришла я.

— Опять за старое?! — загремела глубина и отдала шипением. — Да ежели ты и умудришься когда умереть, я тебя из праха подниму! Но чтобы не было мне лишней заботы, отныне и до срока телу твоему хранить для меня красоту свою, будучи ввергнутым в живое небытие. А душе твоей отторгнутой в вечных муках скитаться по чужим судь-

бам. И являться ей перед телом своим в столетие раз. Через стенания её и жалобы красота твоя покорится мне.

— Вряд ли, — отвечала красавица. — Покуда на мне эта накидка, и её мольбы не дойдут до меня, и ты, стоит только прикоснуться ко мне, — развеешься в небыль ночным кошмаром. И тогда я вернусь в жизнь сама собой.

С этими словами девушка подалась вперёд. Яся машинально кинулась удержать её на краю колодца, но только алая накидка осталась у неё в руках...

Страшным хохотом разразилась Северга. Земля разверзлась от его раската. Из глубины вскипела вода. Она успела подхватить красавицу, вскинуть, как бы желая показать Ясе тот самый ужас, который она уже видела на лице девушки, чтобы затем поглотить несчастную. Чёрное солнце вдруг дохнуло с неба такою стужею, что даже Пичуга, окутанная восходящим теплом, почуяла её жестокость. И тут уже тяжёлая волна захватила оторопевшую Ясю, понесла вглубь, где вытолкнула из себя, а сама закаменела на лету. В её толще, притуманенной мириадами пузырьков, сразу обрисовалось тело красавицы.

Разразилась тут
Яга Змиевна
сокрушительным
смехом-хохотом.
Ей Горыныч Змий
откликнулся...
От того ли смеха
раскатного
раздалась земля,
море вспенилось,
накатила стынь
сорока миров...

И на этот раз Пичуга вытерпела увидеть: девичье лицо ожило, тяжкий вздох пронёсся по ледяному подземелью. Стылые пределы отозвались тихим звоном, в котором услышалось:

— Душа моя! Ты полюбила земного человека. Передай Северге: ради твоей высокой любви я уступаю ей...

«Что же это?! — подумалось Ясе. — Из-за того, чтобы ведьме стать красавицей, Егору придётся полюбить дёрганую обезьяну?»

– Не-ет, – прошептала она. – Нет! – крикнула. – Никогда! Лучше я тут останусь... навеки...

По сей день тот смех
лихорадостный
по горам-долам
катит грозами;
по сей день красе
очарованной
от бессмертия
избавленья нет;
по сей день душе
неприкаянной
нет ни жизни,
ни погребения...

Ну, а в деревне Большие Кулики смута. Казалось бы, где уж там, а вот тебе на: шаловатая Устенька с ума съехала. Дочка-то её, Яся, не захотела мириться с дурной судьбою и отравилась. Дед Корней видел из оконца, как вышла она на крылечко, попрощалась с белым светом, и... нет её. Мёртвой улеглась на крыльце.

Устенька в это время где-то моталась. Бабы успели и омыть Пичугу и в саван обрядить. Тут и шалавая мать налетела. Всех повыгоняла из хаты и затворилась наедине с покойницей. И вот уж как трое суток Пичуга земле не предана. Стучали, вразумляли – не отзывается Устенька. И ни стону, ни причёту... Спятила! Всё верно: и для Жучки кутя – родней царского дитя...

Ну вот... Люди в деревне были не такие, чтобы уж вовсе – полено с дубиною. Которые совестливые, те взмучились своей виной: угробили певунью! Которые попроще устроены, те кинулись виноватого искать. Нашли, конечно, – Серебруху Егора.

– Ышь ты, – накинулись, – летатель хренов! Завихрил головушку убогой...

– Долетался, придурок самоделошный...

И взялись парня костерить – кто во что горазд. Ведь поправному царю всякий каин – хозяин...

Но не нападки односёлов главной мукою сказались на Серебрухе. С уходом Пичуги перед ним всею наготой открылся тот предел, об

который, в падении своём, ему предстояло расшибиться. Тут и опомнился Егор. Три ночи знобило его, на четвёртую встал – поднялся, пошёл и стукнул в соседнее оконце.

– Тётка Устинья, – позвал, – отвори. Дай мне рядом с Ясею помереть.

А ему как бы ответно:

– Не-ет! Никогда...

И ещё чего-то прибавилось – не разобрал. Только Серебруха и по двум словам понял, что не Устенька ему ответила – молодой голос отозвался.

Силы небесные! Откуда взялась в нём ломовая крепость? Даже не разбежался, но дверь под его натиском распахнулась, будто на живую нитку прихваченная.

Влетел он в избу, а темнотища! Только парень на этот раз сердцем смотрел: вконец, видно, обезумевшая Устенька дочку-то... подушкой прикинула... Пичуга ногами ещё подёргивает, а голоса уже не подаёт.

Тем временем дома дед Корява внука хватился. Сообразил, куда тот мог ночью отправиться. Соседей поднял: свёхнутые-то, они ой как могутны! Однако Серебруха сам управился – спеленал Устеньку. Когда подмога подросла, уже он, с Ясею на руках, из хаты вышел. И сразу вокруг них поднялся тихий галдёж:

– Видать, не дотравились, бедолага...

– Вот спасибо-то Устеньке: не то похоронили бы девку живьём...

Доставил Егор Пичугу домой. Ночь лунная, тёплая. В избу не пошёл – на подостланное сено во дворе опустил. Только теперь всеми обратилось внимание на то, что поверх савана рдеет на ней алаяхламида.

– Устенька, видно, донюшку свою обрядила, – решили людьми и ими же отозвалось: – Душа-то хоть и шалавая, а всё материнская...

Пичуга на тех словах глаза отворила. Увидела народ – села порывисто. На Егоре взор остановила.

– Где Северга? – спросила.

Серебруха не понял:

– Кто?

– Не мать она мне! Ведьма!

Сразу-то народ не сумел толком принять её слова, а всё головы в сторону Устенькиной хаты поворотил.

Ну, а ведьма и есть ведьма: она уже умудрилась выпутаться из Егоровых тенёт...

Не больно-то прытко бегала Северга, но до веретви успела первой доскакать. Там она впрыгнула в Егоровы крылатки, и... ожили они под владычицей! Развернулись крылатки, на ловцов двинулись. Те – врассыпную, а ведьма в хохот... Одна только Яся не растерялась. Сорвала с себя алую накидку, махнула ею и накрыла Севергу с головой...

До-олго помнили большекуликинцы, каким ярим огнём полохнула алая накрыва: Серебрухины крылатки под облака поднялись, готовы были за тайгою скрыться, а пламя над ними всё веселилось. Когда же зарево погасло в далёком далеке, на оторопевших людей прям-таки с неба спустился злой шёпот:

– Я ещё вернусь!

Легко было понять, кому грозила владычица. Все посмотрели на Ясю. Только вместо Пичуги увидел народ такую ли раскрасавицу, какой и придумать нельзя...

Жить в Больших Куликах молодые не остались – отселились в тайгу, за Шумаркову слоть. Пичуга, вишь ли, боялась, как бы Северга угрозы своей не поторопилась исполнить, да не досталось бы через неё и всей деревне.

Старые люди сказывали: от Егоровой с Пичугою любви со временем целый народ образовался, которого таёжники за красоту чудью прозвали. Позднее эта самая чудь испугалась якобы нашествия Ермака Тимофеевича, ушла под землю да и погребла себя заживо. Но ежели подумать, то и так рассудить можно: Ермак тут ни при чём. Северга её спугнула. Шибко верила та чудь в Алатырь-камень, вот и ушла через него в неведомую жизнь.



ПРОЙДА



Раньше было как? Только заметили в человеке какую-нибудь необъяснимость, тут оно и есть – колдовство!

К мужику какому боязно пристроить такую приладу – он уж постарается рыло-то выдумщику занавесить блямбою потяжелей! Ещё и вперёд накажет: ходить-то, мол, ходи, а хреновину не городи!

Не всякая и молодайка покорится ведьминому званию. А вот старухи – самый что ни на есть подходящий для этого страху матерьял. Только вздумай пустобрёх зацепить языком такую бабку, глядишь, уж она и сама почуяла в себе что-то заветное. Уже и к лечбе в ней способность проклюнулась, и присушивать-привораживать годна, хоть воробья к вороне...

В тайном колдовском ремесле старухи одна другой не мешали – каждая служила по своей особой статье.

Иная бабка посадит, к примеру, порченого на порог избы, голову ему нагнёт, поставит на затылок ковш холодной воды, от хозяйки примет плавленный на печи воск и струит его из кружки в воду. А в ковше шипит, бормочет...

– Слышится! – строжится бабка. – Ет нечистая сила серчат, почто как чичас узрим мы её поганую образину!

Враньём бабка врёт, а в тёмной да тихой избе людям и вправду кажется, что из ковша исходит сердитое недовольство!

Из того перелитого в ковш воску получалась такая образина, что глянь на неё нечистый – сам бы со страху испортился.

Знахарка же, бывало, суёт стряпню свою леченому в лицо да пытается:

– Свинью супоросную видал?

– На той неделе.

– А петуха на заборе?

– Ещё летом.

– А собака на тебя брехала?

– Так она на то и собака, чтобы на всех брехать.

– Я, милай, покуда про тя одного спрашиваю!

– Что ж ей не брехать, у неё морда не завязана.

– Во! – скажет со значением лекарка, поднявши палец. – Ето чёрт кидался на тебя в собачьем образе. Он же, рогатый, и петухом тебя обкричал.

– И всё разом вылилось?!

– Дык ведь я, милай, не как другие. Я порченого человека одним заходом лечу...

Некоторые старухи умели зазывать былую любовь! Брошенную мужиком бабёнку такая старуха поднимет сонную среди ночи и ведёт в холодный летник. Там велит ей волосы распустить, стать на колени лицом к отворённой печной дверке. Тридцать три раза кричать следует нужное имечко, чтобы через трубу на улице было слышно: «Ми-ки-фор-ко-о-о!» или «Сте-па-нуш-ко-о!». Слышь, мол, кто тебя зовёт?!

И ведь хватало терпения! Одна у печи всю ночь орёт, другая на лавке дремотой сидит мается, вздрагивает да крестится на зычный голос. И посмеяться-то на них жалко.

Таких лекарок и в голову не приходило никому ведмить. Никто никакой боязни к ним не чуял. Наоборот. Утром мать там али бабка блинов на стол набросает, ребятишек накормит и суёт которому-то из них тёпленький узелок в руку:

– Вам на речку мимо Ниловны бежать, запорхните к старой. Пушай-ка свеженького пожует, дай ей Бог здоровья!

Да-а! Эти лекарки были выдуманы для добра.

Но случались могутки и другого пошибу. Не жили они и дня, чтобы хоть малого вреда не причинить ближнему. Либо корову у соседа сурочат – молока не даст, либо килу посадят дотошному мужику, чтобы не подъялдыкивал, где не просят. Бывало, и молодуху сглазят – родит без времени...

Пакостили, одним словом.

Может, сами они и не хотели бы зловердить, только по сатанинскому ихнему уставу бездельники шибко строго наказывались. А уж, не дай Бог, которой в голову взбредёт ещё и добро человеку сделать – сразу жизни лишалась и определялась сатаною на вечные муки...

Оно и понятно. Таких колдовок народ боялся. Ежели кто и поправляется с такою ведьмою на улице, скорейча торопится домой открещиваться: кто знает, каким глазом поглядела старуха в ту минуту?

Но и злыдни эти могли творить погань не всю подряд; им был определён сатаною каждой свой удел и значение. Кто сватов от крыльца поворачивал, кто град на поле называл, кто разлуку творил...

А вот бабка Пройда была неудобна для людей тем, что, наступив ей в горячий след ногою, – непременно с кем-нибудь подерёшься или поругаешься до злобы. Порою такая вражда разгоралась – деревня на деревню шла! Так ли стервенели, что и себя не помнили. А разобратся – даже чоху собачьего для ругани не было.

И никакой охоронки от Пройдиного следу люди не знали, поскольку с приходом темноты становилась колдунья невидимой и ходила, где хотела и перед кем ей вздумается.

Ради такого удобства она раз в году на поганом пустыре варила для себя колдовское зелье. Разливала его по склянкам и хранила при себе. Когда надо, отхлебывала по глотку и становилась невидимой. Так и ходила она воздухом по деревне да слушала людские разговоры.

С молодости в ней такое началось, с девичества. Сперва народ думал, что парни, потасуясь, красоту её поделить не могут. А когда она замуж ни за кого не пошла, сообразили, что неспроста гордыня её одолела.

Тогда стали сходиться всей деревней – Пройду ловить. Да только из благой затеи опять же война получалась. Если бы знать, когда Пройда варево затевает, какой колдовской ночью поганит она душу

свою сатанинским делом, тогда бы можно было подкараулить старую и плюнуть ей в глаза. Если угодить без промаху, нападёт на Пройду куриная слепота: целый год не видеть ей в темноте, сидеть дома слепым сиднем. И тогда целый год не было бы в деревне драк, и даже ругань бы ни у кого не получилась.

Но Пройда, видать, боялась быть пойманною на пустыре, поскольку парни, которые пытались её укараулить, всё делали только во вред себе. «Чёрт с нею, с Пройдой! – решили люди. – Лучше не трогать».

Но хвост репья не ищет.

Как руки ладонями сложить, так тесно со двором Пройды стояло подворье Броньки Сизаря. Жена у Сизаря и тихая, и хозяйственная, и рукодельная. А вот над самим Бронькой вся деревня смеялась:

– Ты, Сизарь, поди-ка, все запятки бабке Пройде пообступал? Шумота ты бестолковая, шумота и есть! Ты пошто ето со всякого восходу на людей-то кидаешься? Мало тя мужики-то буздыкают?

Измаялась Сизариха в срамоте жить, хоть помирай безо времени. И то бы согласилась, да вот сыновья-подкрылышки – Гунька да Минька. Гурьян да Михаил.

– Эй, Сизари! – кричали им нередко через заплот мальцы деревенские. – Чем батька сёдни лупцевать вас будет? Батогом или сапогом?

Вся и перемена для братьев в отцовском доме. У других ребят в семьях тоже бывало по-всякому, но не так! А тут и по затылку, и по спине, и на, и на! И ни конца, ни краю...

Тверёзый Бронька Сизарь шалопутный, а уж когда нажрётся, да в своём доме всё перехлестает, тогда к бабке Пройде бежит – убивать старую за свою срамоту. Но ить Пройда не робкого десятка: так, случилось, влупит скалкою поперёк Бронькиного лобешника – юлой пойдёт мужик! И опять у него домашние виноваты.

Обычным делом для Броньки было расслюнявиться после бойни. Голову повесит, губы распустит и сидит, бьёт себя в грудь да жалуется:

– Пройда, ведьма лупатая, меня урочит. Куда бы ни шагнул – чёрт её вперёд несёт... Гунька! Минька! – зовёт. – Сыночки! Пройда меня путает.

Вот и задумали Гунька с Минькою скрасть бабку Пройду на поганом пустыре, когда ведьма будет варевом занята. Решили они хоть через смерть, а плюнуть ей в глаза.

Поганый пустырь в аккурат лежал за Пройдиным огородом и с Сизаревой крыши был виднѣхонек как на ладони.

У матери не надо было спрашиваться, поскольку ребята и без того частенько спали на чердаке, особенно когда отец бывал пьян. Там у них давно и соломы натаскано, и ремья всякого. Можно и на палку закрыться. А из чердачного окна следи за пустырѣм хоть круглый год.

Вѣснами пустырь обрастал полыньѣм, крапивою да дикой коноплей столь густо, что на голую его серѣдку целое лето никто не заглядывал. К осени бурьян отцветал, и скрозь долгий былльник проглядывала широкая плешина пустыря.

– Плешину ту черти вытоптали, – говорили деревенские бабѣнки. – Когда Пройда варево своё на огонь ставит, так черти дровами ей помогают. А напившись зелья, веселятся. Вот и вытоптали себе точок копытами.

Самих чертей людям не видать, но колдовскою весѣлой ночью поднимается в округе сильный ветер, и по земле скачут искорки из-под чертячьих копыт. Уж тогда лучше дома оставаться! Не то искорка такая зацепит человека на лету – всего обметает пузырьѣм, коростою осыплет...

Обо всём этом Сизарята знали не хуже остальных. Потому-то они решили не ждать, когда черти успеют зелья нахлебаться да невидимыми стать, а захватить Пройду на пустыре одну. Для того нарядиться чертенятами и подбежать к первому огоньку.

Напасли они себе на чердаке сажи, из овчины бросовой сообразили лохматые штаны сладить, прицепили к ним телячьи хвосты. Каждый вечер потѣмками наплетали они волосяные рога надо лбами, чтобы при нужде долго не возиться.

Захвати их Бронька Сизарь за таким занятием, посшибал бы обоих с чердака! Уж он бы им наложил чертей! Но ни единая душа не знала о задумке Сизаревых ребят. И ведь сколько надо было набраться терпения, чтобы и спать каждую ночь вполглаза, и не бояться Пройду сторожить. От настырные!

Ночь, другую, пятую сидят, не уходят... А лето катится. Утрами уж стала земля туманцем попыхивать. Мать ругается на сыновей – простынете, чердачники! Чирѣм обдаст!

Но взашей с чердака не гнала – любила Сизариха сыновей.

В тот вечер долго не темнело. Слышно было, как брешут на дерев-



не собаки, выхлестываясь в подворотни на дальние голоса весёлых мужиков. Там же где-то и пьяный Сизарь доказывает людям жизненную пригодность своей правды.

Гунька с Минькою, привыкшие глядеть на пустырь, сидят на чердаке да шепчутся вовсе не о том, чего ради вот уж которую неделю гнезятся они в этой пыльной темноте. Сверху ребятам видно, как крутые вихорьки заважают по земле сор позднего лета, уносят его за огороды и прячут где-то в густых лопухах.

Скоро ветровую игру застила ночная хмарь, стало лень говорить. Дрёма потянулась погладить ребят по рогатым вихрам, но вдруг отдёргнула руку и пропала в темноте. А Сизарята подхватились враз и выставлялись часовыми птахами в чердачное окно: чёрная тень кралась вдоль стены Пройдиной избы! Словно вода через сито, просочилась тень через сеношную дверь, и тут же в избяном оконце посветлело.

Вспыхнуло оконце да погасло, а во внезапно расхлёстанную дверь выкатился и съехал по ступеням крыльца живой тёмный ком. На земле он разровнялся, вытянулся и пополз через двор, огородом, в жухлые конопки поганого пустыря.

Ребят окатило немочью! Сели они на чердаке друг против друга – не помнят, кого как зовут. Но спохватившись, опять на улицу высунулись.

И не вспыхни на пустыре огонёк, они его со страху всё одно бы увидели. Однако робкий огонёк и на самом деле мелькнул за бурьяном.

– Где штаны? – подскочил Гунька. – Давай сюда сажу!

Натянули они на себя овчину с телячьими хвостами, сажеею навазёкались, проползли огородом между капустных кочанов и полезли через прясла.

– Никого нетути! – трясаясь в бурьяне, шепнул Гуньке Минька.

– Ты чо, ослеп? – дёрнулся тот. – Туда гляди! Видишь? На кукорках сидит? Огонь в кулаке раздувает!

– Боюся-а...

– Цыть! Заходи спереду! По кругу прыгай, чтобы ведьма ко мне оборотилась. Я стану у ней за спиною... Как повернётся – плюну!

Выскочили ребята из быльника да и про договоренность оба забыли – заорали в два голоса, завыли истошно. А ведьма этак вскинулась, повалилась на землю, и руки врозь...

Управились.

Братья молнией домой! Вихрем на чердак!

Посыпали с себя всё чертячье, мордашки пообтёрли кое-как, а от страха спрятаться не могут. Полезли на сеновал. Но и там изо всех углов светят жёлтые глаза! Колодезный журавль в огороде и тот тянется к мальчикам долгой шеей – вот долбанёт по макушке! Куда деваться? Хоть в избу беги. Но не дай Бог, отец пьяный вернулся! Во дворе ещё будет чего или нет, а уж отец не промахнётся...

Одно осталось – пробираться в избу да на полати лезть. Обошлось на этот раз – только мать и подала голос из темноты на шепуршание:

– Озябли, полуношники? Время ли по чердакам-то слоняться?

На полатах ребята расплели себе рога, обчесались пятернями и давай шептаться, покуда мать не заругалась.

Притихли Гурьян с Минькою, а сон только того и ждал.

Утром Сизарихе шабур какой-то понадобился на полатах. Сунулась она наверх – батюшки! Поизмазаны ребята, что головёшки нежат. А лохматы! А исцарапаны! Кинулась банёшку топить, согрела быстрёхонько воду, ребят толкает.

– Вставайте, прокудники! Живо в баню, покуда отец не явился.

Дала обоим подзатыльников, сама заторопилась корову доить. Без матери братья набузовали в корыто воды, полезли мыться. Сидят шушукуются между собой – что делать? А банная дверь как распахнётся во всю ширь! И стоит на пороге живёхонькая бабка Пройда!

Сизарята чуть не утонули в корыте.

А ведьма поглядела на братьев сквозно да и говорит:

– Как время придёт могилу копать – ройте сами! Место берите у трёх берёз. Поняли? У трёх берёз!

Повторила так ведьма и пошла прочь, а у ребят заднушки ко дну пристыли.

Тут во дворе мать истошно завывала!

Надёрнули ребята одежку, выскочили из бани, а мужики деревенские несут через огород с поганого пустыря чёрного, как земля, отца... Вот те и бабка Пройда!

Бабы уж во двор набились, стоят, судят потихоньку:

– Ето черти Броньку на пустыре загоняли. Вечор грозился подстеречь Пройду за её варевом... Вот и подстерёг!

– Жалко мужика из-за детей, хоть и дурак.

– Как теперь Сизариха останется? Вьюшка-то хоть и черна, а тепло держит.

– Конечно. Не ядрышко он был ореховое, но и щербаты грабельки сено гребут...

Стоят Гунька с Минькою, разговоры бабьи слушают, однако нутром понимают, что сами они отцовской смерти первая причина. Оттого-то и потупились братья сильнее печального, и на людей не могут смотреть.

Утром другого дня засобирались мужики покойнику могилу копать. Но Гунька с Минькою вперёд вышли:

– Сами будем рыть!

– Не принято своим-то...

– Сами!

– Господь с имя, пуцай идут, – решила за всех самая древняя бабушка. – В этом завете одно только сердоболие, а греха никакого нету.

Взяли Сизарята лопаты, прихватили лесенку, пришли на кладбище. Тихо кругом. Осень уже успела сбрызнуть берёзовые листочки желтизной, а тепло. Однако братьям зябко сознавать, что кончилось их неуютное детство и надо теперь думать не только о себе, но и о горемычной своей матери.

Стоят ребята, прикидывают, где могилу начать.

– Тут по три берёзы целое кладбище.

– А вот за бояркою...

– И правда! Што сёстры.

Пошли братья за боярку, а там, между трёх берёз, простору как раз на одну могилку, и уж само рытьё кем-то начато. Только ни копальщика, ни лопаты не видно.

А ведь деревня не уезд и даже не волость, тут каждый знает, сколько покойников случилось. Выходит, что могилка кем-то начата ни для кого другого, как для ихнего отца.

– Должно, вечер мужики начали копать, – стоит гадаёт Гурьян.

– Мы бы про то знали, – не соглашается Михаил.

– Тогда Пройда...

– Ну ты! – испугался Минька. – Ещё, поди-ка, и на нас наколдовала... и мы тут ещё помрём! Пойдём отселева.

– Куда? – ответил Гунька. – Ежели Пройде надобно человека умирить, она его хоть где сыщёт.

И, словно бы в подтверждение сказанного Гурьяном, углядели ребята на близкой кладбищенской дороге неторопкую согбенную спину бабки Пройды...

Только лопаты замелькали в руках братьев. Копают Сизарята, а земля до того мягко подаётся, словно могила уже кем-то копана на всю глубину, да засыпана для интересу непонятного.

К полудню мальцы, считай, справились со своей невесёлой работой; осталось на вершок углубиться, и можно отряхивать штаны. Тут вот Гурьянова лопата и уперлась во что-то неподатливое.

– Гроб!

Но Минька зря вылетел наверх, как подкинутый, – под лопатой оказалась старая корчажка, а в ней тряпица с деньгами!

Найденных денег было не так уж и много, чтобы Сизарям сразу захотелось другой жизни, но на завтрашний день можно стало глядеть без боязни. И вдовьи слёзы на глазах самой Сизарихи скорее ожидаемого высохли, с полным-то карманом...

Ладно.

Вскрости померла и бабка Пройда.

Деревенским сходом было решено похоронить ведьму на поганом пустыре, да чтобы душа её неусыпная ночами больше не блукала по дворам – воткнуть на её могиле осиновый кол.

Миньке с Гунькой чаще других доводилось потом ходить мимо Пройдиного пустыря: то на речку побегут купаться, то рыбки на уху добыть, то травы покосить на пологом речном берегу.

И чем выше поднимались ребята годами, чем глубже сознавали они истинную причину отцовской смерти, тем неотступней одолевала их загадка – каким таким манером, каким чудом оказались тогда под Гурьяновой лопатой деньги? Тем невыносимей было видеть им осиновый кол на поганом пустыре.

Сизариха взялась жаловаться соседям:

– Вышла надясь потёмками на крыльцо, а они оба стоят, на пустырь глядят, шепчутся. Ой, подружки-подружки! Ой, чо мне делать?! Томятся мои ребятки...

– Бабку искать, – советуют. – Пушай придёт порчу выльет. А так хоть задумайся – одной думой и комара не убьёшь.

Но скоро отпала нужда бабку искать. На Семён-день¹ чуть свет тарабанит Фроська Халина в Сизарево окно, шумит:

– Эй, хозяйка. Выходи скорейча, глянь-ка, что на пустыре-то деется!

Сизарихе ажно в голову дало – сыночки! Слепая, босая, в одной рубаше кинулась она через огород. Халиха её и догнать не смогла. Когда же Фроська пролезла чернобыльником на пустырь, застала там Сизариху, полную удивления: а дивилась она трём молодым берёзам, выросшим в одну ночь в изголовье Пройдиной могилы, да резному берёзовому кресту на месте осинового кола...

И Халиха, и Сизариха не в силах были сообразить, когда же всё это успело образоваться?! На голом-то пустыре!

А народ уже сбегался со всех дворов, ахали поражённые бабы:

– Вот те и Пройда!

– Ну и ну!

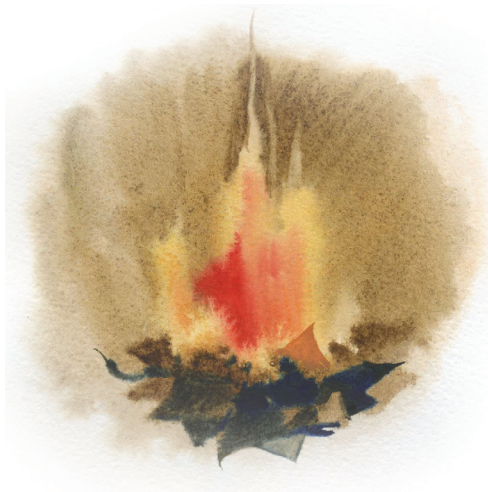
– Святая! Как пить дать – святая!

– Земля ей пухом!



¹С е м ё н-д е н ь – 14 сентября. С этого дня по 21 сентября – старое бабье лето.

ПАНТЕЛЕЙ ЗВЯГА



Человек в людях словом живёт. Всё можно отнять у человека, но доброе слово людьми множится, как семя землею. Что против него злоба да корысть, когда само время ему верный друг.

В одной деревне жил дядька Степан. Так тот Степан говорил сперва про Пантелея Звягу так:

– Свово ума нету, кожаный не пришьёшь.

Это про того Пантелея, которого урядник на высылки в деревню привёз.

Поместил он Пантелея в избу к дядьке Степану и велел «хара-шо» присматривать за «неугодником».

Видать, Степан уряднику чем-то нравился, что он ему за тем Звягою доглядать доверил. А чего там было доглядывать? Чо уж доглядывать? Деревенские подумали, что опять придётся землю долбить, как годом раньше для этапного одного. Того, сказать, сегодня привезли, а запослезавтра уж и крест на могиле его поставили.

Когда же Пантелей весну вытянул, дед Иван, Степанов отец, ему пимы лосятиной подшил, чтобы по двору не промокали.

Скоро Пантелей и за ворота стал выбредать, а там и до речки пимами теми зашаркал... Добро, что речка на задах Степанова огорода бежала.

Станет, бывало, Пантелей над самым крутым местом берега, обхватит себя по плечам руками и ну говорить... Говорил Пантелей тихо так, с подвыванием, вроде как пел без музыки, одними словами только... Тут хоть земля лопни, не услышит.

Поначалу думали, молится человек перед смертью. Да уж какая там молитва, когда ни разу себя крестным знамением не осенил.

Сперва ребята, потом и большие стали прислушиваться: об чём это чудной человек поёт на берегу свою долгую песню? Покуда прислушивались да в словах разбирались, приворожил Пантелей говором своим полдеревни...

Случалось, солнце сядет, сам Пантелей с берега уйдёт, а люди всё сидят на обрыве, всё на воду глядят, и плывёт по умам думка-загадка: «Кому такой человек не угодил? С кем не справился?».

Как-то, весной ещё, за обедом, Степан и говорит своей жене Настасее:

– Ты бы, мать, в летнике прибрала: Пантюху б надо туда перевести... Накашляет он нам в дому своей заразы. Ночь цельную нынче спать не давал.

– Бог с тобой, Степан! – вскинулась Настасея. – Видано ли дело – человека заживо гноить в этакой-то сырости? Да там, в летнике-то, по нонешней весне, только волков морозить. И матица там поперёк разошлась. Гляди, рухнет крыша. Захлестнёт ведь больного человека.

– Ну и захлестнёт... – упорствовал Степан. – Уряднику сообщим...

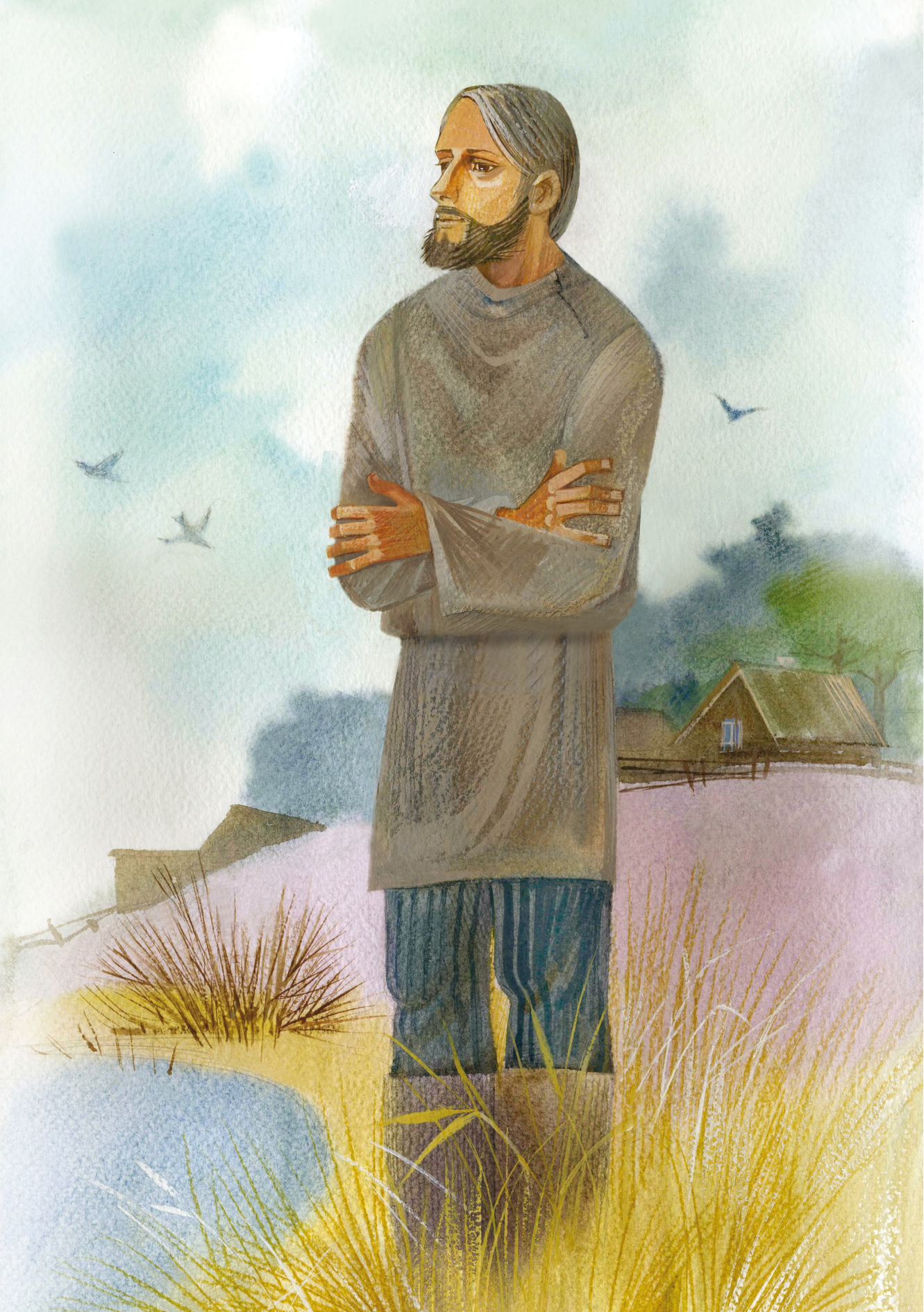
– Эх, Стёпка! – отнял дед Иван ложку ото рта. – Не нашего ты роду человек, собачья твоя душа...

– А тебе век спокойно не живётся! – ошетинился Степан на отца. – Дитё у нас малое... К нему эта зараза как пить дать пристанет. А ты всякого колоброда готов за пазуху посадить. Нашёл мне родню! Сказал – в летник! И всё тут.

– Ты орёшь-то чего? – присмотрелся к сыну дед Иван. – Знаю я, чего ты орёшь. Это совесть твоя у меня подмоги просит.

Ну Степан всё-таки настоял на своём.

Отесал дед Иван стояк, под матицу в летнике подвёл. Настасея за беляком за поскотину сходила. Обмазала стены в летнике, стёкла в



оконце протёрла, по подлавкам накидала сон-травы от плесневелого духа и поклонилась Пантелею:

– Не моя вина... Прости ты нас, грешных, на неловком деле.

Хорошо умел смеяться Пантелей Звяга.

– Этак-то, – говорит, – даже лучше будет. Теперь мне бессонная ночь не страшна. Уж теперь я поработаю!

Так и сказал. И крепко потёр худыми ладонями. Но Степан скоро опять зацепил Настасею:

– У тебя что?.. Лавка скобяная?.. Али сама керосином торгуешь? Почему ж постоялец цельными ночами лампу не гасит? Где это я тебе должен на керосин добывать?

– Побойся Бога, Степан, – взмолилась Настасея. – Ему жить-то осталось всего с ползари, а ты для него свету пожалел.

– Свет – не обед... Пушай больше спит, целей будет.

Однако сколь ни строг был Степан, а Настасея на этот раз его послушалась; понесла она Пантелею свой зимний платок, чтобы он окно ночами-то плотнее занавешивал.

А Пантелей опять смеётся.

– Увольте, – говорит, – Настасея Макаровна. Сделайте милость. Мне, – говорит, – от лампы керосиновой сильно угарно... Я уж и сам думал: не лучше ли будет лучинок наскубать?

Ой, и плакала тогда Настасея за пригоном!

Степан вожжу в сенях со стены снял, вчетверо сложил... да у пригона остановился. Постоял у пригона-то Степан с тяжёлой головою, бросил вожжу на землю и быстро, чуть не бегом, ушёл со двора.

Урядник в своё время приехал с проверкою: как у вас тут фатерант себя держит? Чо поделывает? Не подох ещё?

В летник пошёл, к Пантелею. Оглядел всё внимательно, ощупал и головой на Степана качает. Сокрушается, значит.

– Ой, Степан, Степан! Говорил же я тебе, наказывал: смотри! А ты куда смотрел? Ты хоть понимаешь, чем твой постоялец тешится? Что у него тут понаписано? Ни черта ты, Степан, не понимаешь. Стихоблудство тут. Он против всей законной власти свои стихи ставит. Хочешь, он и про меня сейчас писанёт? Эй, Пантюха! Писани-ка против меня! Молчишь, шкура барабанная! Забирай, Степан, всю эту писанину, волокни во двор!

Вытащили они со Степаном из летника цельную охапку тех пантелеевских стихов и посреди ограды запалили...

Настасея об эту пору из пригона с подойником в руках вышла. Покуда дошло до неё содеянное, бумаги те чёрными колечками закручиваться уже стали. Настасея как держала полный подойник, так и ливанула всё молоко в огонь. Потушила...

Урядник, глядим, кирпичный сделался. Будто огонь с бумаг на его лицо перекинулся. Пятернёю железной скрутил он Настасею за волосы, повалил тут же на гарь бумажную – и сапогами... Степана ж прямо заморозило! Стоит белее бумаги и мелко весь трясётся.

Пантелей-то как услышал в летнике Настасеин крик, откуда сила в нём взялась! Пулей вылетел во двор! Как саданёт урядника по шее и собою Настасею заступил.

Лучше никому не видеть бы тех Пантелеевых глаз... Жгут они всем душу, как вспомнят...

И ведь подумать только! Здоровый дуб отступил перед жёлтым листочком! Потушил Пантелеев огонь урядниково самодурство.

Все молча разошлись по своим углам. А когда Степан провожал урядника до ворот, то запросил его:

– Убери ты подале от греха со двора моего письмовода этого окаянного. Жандарм я, что ли, при тебе? За каким фактом ты на меня его навязал?

– Торгуешься? – остолбенел урядник. – Ладно уж, так твою в дышло! Доведу до приказа... Выдадут тебе от казны...

Плюнул тогда Степан в закрытые ворота – пропади ты всё пропадом! И в первый раз за все годы обоюдной жизни увидела Настасея из окна, как Степан на крыльце сапоги вытирает.

А Пантелей с того самого дня слёг в постель и больше не поднялся. Знать, последние силы вытянуло из него тем вихревым огнём – прогорел.

И потянулись люди на Пантелеево пожарище, будто единой бедою обнажило им головы, сделало равными их заботы.

Раньше бы Степан, глядя на эти сходки, сказал бы так:

– Во! Собирается шатия! Тюха, да Матюха, да Колупай с братом. Опять языками до утра мантолить будут. Пойду шугану эту шайку-лейку.

И разогнал бы всех.

А теперь нет... Теперь пристроится на лавке у окна и молчком долго глядит в ограду. Потом откуда-то книжку с картинками принёс. Стал по ней пальцем водить. Водит да шепчет чего-то себе под нос.

Настасея ходит по избе кошкою. А дед Иван с печи всё головой крутит, всё удивляется: «Чего это со Степаном?».

Так миновало лето.

Последние дни, перед Пантелеевой смертью, Настасея уж и не трогала Степана – сама по хозяйству управлялась, как могла. Дед Иван, чем мог, помогал да всё шептался с невесткою:

– Неужто сподобился Степан? Дошло, видать, до него человеческое. Ить когда тебя дома-то не бывает, он все Пантелеевы, недогоревшие в тот раз, бумаги разбирает да складывает стопочкой. И прячет куда-то... Уносит ли куда... Я в ограде искал, нигде не наткнулся...

– Господи, прости и помилуй, – крестится Настасея.

...Стонет ветрами простоволосая осень, проливными дождями плачет изношенное небо, шуршит-шуршит у окна Настасейна самопряха... Вышуршивает самопряха потаённые думы на место сегодняшних забот. Тошно, хоть гадалку зови.

– Не могу боле... – бросает Настасея веретено. – Пойду приведу Пантелея в избу. Не ровён час, помрёт один в летнике.

– Стой-ка! погоди! – окликает её Степан у самого порога. – Сам пойду... Тут мужикова сила нужна...

Заскрипел Степан сеношной дверью, а дед Иван на печи своей чуть не заплакал:

– Матушка-владычица! И вы, светлые ангелы-хранители! Я ж думал, старый пёс, что плёвый Стёпка у меня... Я ж думал, пакостника на свет произвёл... Я ж теперь, Настасеюшка, помру улыбаясь...

И пришла в тот день смертушка, да не за дедом Иваном. А внёс на руках в жилую избу Степан мёртвого Пантелея Звягу.

Показалось домашним, что стоит в дверях один мертвец, держит у груди другого мертвеца. Будто на самом краю жизни обнялись они наконец-то и разошлись в разные стороны: одного сила смертная повела на покой, другого – дума глубокая поманила в даль неведомую...

И надо было теперь прятать верёвки да гужи...

– Чтобы черти, – плакала Настасея со страху, – не утянули за собою Степана.

– Ежели им надо, – сокрушался дед Иван, – они к людям со своею верёвкою приходят. И кудай-то Степан всё пропадает?

– Как уйдёт, так и нету его по цельному дню, – вторит деду Ивану Настасея. – Не может же человек один убрести в лес, да зимой, да

просидеть там на пенёчке с утра до ночи. Ещё, вертаясь домой, делает видимость, что и спрашивать его не надо...

– Не может, – соглашается дед Иван.

– Господи Боже мой! – вздыхает Настася. – Приходил бы пьяный! Так не-ет...

– То-то и страшно!..

В ту зиму погода многонокко снегу настругала. До ставней было не добраться поутру, вечером – не пробиться.

Вот Настася взяла лопату и айда снег от окон отгребать. Гребла, гребла да и загляделась на снег. Льётся он с лопаты голубым бисером, горит на луне голубым огнём, звенит...

Стоит Настася, любуется на красоту земную, и слышится ей – вроде как потаённый скрип снега за углом избы: кто-то под окошко подбирается. Вот, слышно, хлестнуло по стеклу мягко, будто веткою под ветром.

Настася тоже себе... подкралась и глянула за угол.

Эвон! Афоньки Маслакова морда светится перед самым окном. Чего бы ему в чужое окошко глаза пялить? Давно ли Афонька из острога на поддавках выехал? Давно ли бедная Маслациха, урёванная, выхаживала сынка непутного от хворобы? Смотри-ко ты! Неймётся ж туполобому!

В избе она переоделась и сказала Степану:

– Пойду к Маслацихе, упрежу наперёд, чтобы своо паразита крепче держала. Ещё, гляди, корову со двора уведёт.

– Сдалась ему твоя корова! – удержал Настасею Степан. – Сядь. Не суетись. Не овечье это дело – капканы на волков ставить. А и не видела ты Афанасия... Не видела... Вот! Афанасий тебе вовсе не вор какой, не разбойник. Ключик он, Афанасий, в чужих руках... пока... Прошлый раз его не в тот пробой сунули... Вот и застрял парень. Помогнуть ему надо своё найти, а ты «докладу»! Тоже мне, докладальщица нашлась... когда поймёшь, бросишь сердиться... Подай-ка вон лучше шапку.

Так вот просто, без прощаний и заветов ушёл Степан из дому. Может быть, и ждала бы Настася с дедом Иваном скорого его приходу, когда бы не нагрязнул тем же утром в их двор урядник. Вразумил он Настасею насчёт мужа нагайкою вдоль хребта, да и деда Ивана крепеньким словцом просветил:

– Ха-ха! Что думали! Улизнул от меня Степан Иванович?! Врёшь! Не улизнёшь! Не задавишься, так явишься! Ишь понаслушались тут звягинских сочинений. Грамотеи, мать вашу в дышло! Полдеревни с ума посходило! Я вам тут напишу свою поезию. Я вас тут всех в пепел сотру!

– Сотри, сотри... – хмыкает дед Иван. – Чему стореть, то не потонет.

Орал, орал урядник, а толком-то ничего не сказал... Может, и сам ещё о главном не докумекал... Может, от Степана ему и хотелось узнать-пронюхать: об чём это мужички толкуют вечерами, там да сям собираясь? А когда не нашёл Степана на месте, тут его и озарило: не на Пантелеев ли огонёк мужички сходятся? Не сам ли Степан раздувает тот огонь?

Вот он и стал в том летнике, где Пантелей Звяга умер, каждую ночь засиживаться.

Снег от ставней Настасее отгребать не велел, чтобы Степану в окно не стукнуть, а сразу на крыльцо идти. Крыльцо-то как раз спротив летникова окна стояло. А народу днём говорил, будто сам он Степана в уезд за большим делом послал, а вот теперь назад дожидается.

Некоторые парни смеялись:

– Дождидайся, дождидайся. Дождёшься ты на свой зад...

Дурак, Господи прости! Будто люди не знают, об чём волки плачут. Будто на правду можно защёлку поставить.

Сиди себе, сатана тебя задери! Хоть до страшного суда...

С неделю полуношничал урядник.

Вся деревня устала от его глаз, а ему хоть бы хны. Настасея с дедом Иваном прямо замаялись: ни выйти им ночью, ни дверью стукнуть, ни света зажечь... Турецкая осада, да и только!

Долго ли урядник ещё-то бы в том летнике казёнными штанами лавки протирал, леший его знает. А только одною, самой морозной ночью мерещится сторожевому тому, будто тень по двору прошмыгнула. Урядник мигом огонь в лампе увернул и весь в окно влип. Видит: играет по двору студёный ветер. То воронкою совьётся, то рассыплется, то по ограде волнами позёмку погонит... И вот кажется уряднику, что кто-то белый ползёт к избе. Вроде как сугроб ожил и направляется до крыльца.

– Ах, ты ж, каналья! – ухватился за усы сторожной. – Ну, я ж тебя полюблю за хитрость!

Выскочил урядник за двери, к тому месту подбежал, где ему живой снег почудился, а там всё как должно быть:

— Фу ты, голова садовая! — ругает себя урядник. — Переглядел малость. Блазнится уже...

Вернулся караульщик на прежнее место, а огонь в лампе совсем погас. Темно в летнике, хоть за скобку держись. От двери шагнул урядник к столу, где лампа должна быть, — под ногу что-то попало. Согнулся пощупать, а оно вроде кошки и поползло, поползло в сторону... и заплакало ребёнком. Урядник — к лампе... Хвать, хвать по столу — нету лампы. А потом в углу, куда лохматое поползло, засмеялось хохотом... Урядник — к двери! Заперто... Нету выхода. Он тогда по раме оконной кулаком... Высадил и полез на улицу. А с улицы ловят его худые, длинные руки. Тянутся прямо ниоткуда...

Выпал урядник сырым мешком из окна на снег и ноги врозь. Еле-еле живой дух в нём теплится. Сидел, сидел — в себя приходить стал от морозу. И чует, будто кто-то рядом с ним дышает. Скосил урядник глаза в сторону и застонал... Морда синяя, борода — козою, бельма — поперёк рожи... Не приведи Господи, кто рядом сидит! Повалился урядник сатане тому в ноги и давай поганому лытки слюнявить... Тот и сунул ему в зубы копытом. Уймись, мол, недоедок! Вспомни об себе маленько! Поцелуйщик немного от боли очухался, а сатана и гундосит:

— Приставлен ты людей сторожить? Сторожи! Но покуда ты будешь псом, велено мне быть твоим хозяином. А теперь — пошёл вон!

Подхватился караульный и ходу по деревне. Шпарит урядник по улице, ажно вихорёк сзади снег подхватывает. Пойди поймай...

Не то чтобы ловить, а в избу его тою ночью никто не пустил. Как сговорились люди. Вот какая деревня оказалась.

Так и пришлось уряднику морозною ночью до другой деревни скакать.

После того случая ушёл урядник со службы. А потом врал, что, мол, в летнике-то его сам Пантелей Звяга напугал.

Но кто бы ему поверил, чтобы такой человек стал с нечистой силой связываться? Кто-то с ним, с урядником-то, другой, у-умный, поиграл.

КУМАНЬКОВО БОЛОТО



Почему Куманьково? Да потому, знать, что вокруг той непролазной трясины чёртова уйма куманики¹ плодилось. Вся просторная логовина по окоёму объёмистой дрягвы² была взята колючей куделью ожины. В редком месте можно было подойти вплотную к зыбунам, чтобы не обхватать одёвки цепким её шипьём.

А может, потому оно было Куманьковым, что славилось болото липучей кумахою. Ежели когда кто ненароком попадал в его обнимки, да оказывался столь ловким вырваться из них, так ловкач тот всё одно большой радости с собою из дрягвы не выносил: тут же его схватывала вытрясать из кожи вон чулая³ лихорадка. Перекидывала она больного из студицы в огневицу⁴ неделю-другую, понуждала его говорить Бог весть что, а потом и вовсе уводила беспамятного на другую сторону жизни.

Могло дать болоту такое название ещё и то, что близ тех зыбунов

¹К у м а н и к а, о ж и н а — ежевика.

²Д р я г в а — топкое болото.

³Ч у л а я к у м о х а — нервная лихорадка.

⁴С т у д и ц а, о г н е в и ц а — озноб, жар.

живал в своё время пытливый мужик – Володей Кумань. Так Володей тот самый осмеливался заглядывать в чёртово месиво. Он, вроде бы, всё пытался выудить из болота какую-то особину. Прикидывал он да поговаривал, что кумоха на побывавших в зыбунах нападает вовсе не от природной заразы...

А пособлял Володею в столь рисковом деле здоровенный да косматуший пёс, которого вся деревня звала Шайтаном, позабыв о том, что кутёнком он был назван совсем иначе.

Шайтану не только за великость да чёрные косматы приладил народ чёртово имя. Был он, кроме того, хитёр да ловок, нелюдим да неласков степенью такой, что даже семейным своим не позволял больно-то над собою выглаживаться. Что же сказать об остальных любителях собачьей нежности, так всякому панибрату косматый этот бес такую умильную улыбочку на своей морде творил, что у короткого друга мозга¹ от страха спекалась.

Шайтан – одним словом.

А силён был косматый улыба такой силою, что и не знали, где ему кого под стать найти.

Володей Кумань подобрал своё чудо кутёнком всё на том же на упомянутом болоте. Может, какой дурень мимо зыбунов ехал да кинул щенка на смерть, а космарь сумел выбраться...

И вот какая особина получилась на деревне с тем Шайтаном. Лохматый бес над своей натурой дикою позволял как угодно командовать одному лишь человеку – Саньке Выдерге. Люди так и говорили:

– О, гляньте-ка, чёрт чёрта нашёл!

Девчатке той было годов под семь, под восемь, когда в ночном пожаре задохлась вся её семья. Спасло Саньку то, что, с вечера набутызганная отцом за проказы свои, выверты, унеслась она из дому да спряталась в болотной моховине, где её искать даже никто и не попытался. Не впервой было находить ей в камышах укыву.

Когда же, после пожару да поутру, появилась Санька живёхонькой на болотной логовине, чей-то недобрый язычище смерзил: черти, мол, Выдергу берегут. Они, мол, в отместку её отцу, и пожар сотворили!

А кто-то самодурошный нашёлся добавить, что ночью, якобы, видал, как летела с болота галка² ...

¹М о з г а – кровь.

²Г а л к а – горящая головня.

У нас ведь всякий досадник – чёртвов посланник.

Выпала нужда после пожара принять сироту на хлеба деревенскому лавочнику Дорофею Мокрому, потому как молодая его супружница приходилась Саньке родной по отцу тёткою.

Так вот она, молодая да ранняя тётка Харита, чуть ли не в первый день высказалась сердцем перед братанкою¹:

– Отяпа² проклятая! Уберегла ж тебя нечистая от огня! Майся теперь с тобою, с Выдергой паразитскою. А ну, ступай в клеть³! Не место тебе в порядошном дому людей пугать...

Высказалась так Харита и втянула Саньку за ухо в тёмный чулан. Потом дверь с приговоркою на крепкий засов посадила:

– Три дня будешь тут у меня пауков считать!

Выдерга тогда взялась было колотить голыми пятками по дверным доскам – на свободу ломиться. Да только на потребу её появился в кладовой сам Дорофей Ипатыч и приложил свободухе такого лопуха, что девчаточка маленько по стене не растеклась. А вдобавок наляпал:

– Отец-покойничек не успел вытряхнуть из тебя сатанинскую природу твою – я вытравлю! Ты у меня шелковее шёлковой станешь!

Он, Дорофей Мокрый, только лавочником полным на людях держался, а человек из него с рождения вышел пустой – для совести ближних неловкий, словно дырка на мясистом месте.

Очень даже скоро пропитал лавочник сироту такой болью, что девка сама с нею справиться не смогла – стала на деревню выносить, полеткам⁴ пригоршнями раздаривать.

И отроду неробкого десятка, заделалась Санька грозою ребятни, а то и кого постарше. Вот тогда-то и стала девка перед всеми настоящей Выдергой. Угмонить теперь могли её разве что кнут да цепи. При великой нужде могла она хоть в колодец прыгнуть, хоть в костёр нырнуть, могла под любую вершину по гладкому стволу взлететь – не охнуть. Один раз больше суток просидела на осокоре⁵. Её Дорофей даже ружьём страшал, а согнать на землю не сумел. Лишь на рассвете сманил её оттуда ласковым приветом Володей Кумань.

¹Б р а т а н к а – дочка брата, племянница.

²О т я п а – чёрт.

³К л е т ь – чулан, кладовая.

⁴П о л е т к а – одногодок, ровесник.

⁵О с о к о р ь – тополь.

Володей аккуратно шагнул мимо Санькиной отсидки. Нёс он тогда за пазухой только что найденного Шайтана. Кутёнком этим и послабил он девчаткину настырность.

В тот самый раз и нашла Выдерга себе верного, неразлучного друга.

А когда у Куманей подрос сынок Никиток, так и его эта дружба заманила в свой неширокий, да неразрывный круг. Девка прямо-таки заболела крепким согласием. И сколь Дорофей Мокрый ни приступал лечить её от такой привязливой хвори, зря только хлысты ремкал...

Как-то случилось раз, что лекарь шибко великую дозу «микстуры» племяннице прописал – забежала леченная от той примочки в такую тайгу, что и выплутаться из неё сама не сумела...

Так вот кабы не Шайтан, нам бы с вами сейчас, может, и разговор бы не о чем было вести.

Отыскал пёс другиню свою в замшелом урмане, чуть ли не волоком её изголодавшуюся доставил до Куманей, а уж оттуда Володей да со своею красавицей Андроной не захотел бедолагу до лавочника отдавать. На Дорофееву злую упреду, что-де наведёт вам Санька полный двор чертей, Володей ответил:

– И черти от Бога. А вот от твоего святого догляду нет ни спасу, ни ладу...

– Спаси её, спаси, только вперёд не голоси, – сказал тогда Дорофей-лавочник.

Тут и пойми, кто вернее чертей скликал? Через три дня после Дорофеевой сказки стряслось такое, что вся деревня задохнулась. Вобрала деревня в себя воздух от изумления да и приняла за истину, что Санькино рождение случилось не для добра. А дело в том, что Володей Кумань пропал в зыбунах! Шайтан был с ним, и Шайтан не воротился.

– Вот она, Куманёва жалость, – спихнула-разбежалась, – изрёк на тот случай Дорофей, и овдовевшая Андрона уже не смогла огородить Саньку ни от плети, ни от клетки...

Да и где ж было Андроне чужой бедою бедовать, когда своим горем затопило её до макушки. В половодье том нашла она себе одно лишь занятие – у болота с Никитком ходить, Володея больным голосом кликать...

– Ох ли умянут зыбуны кликунью в свою глубокую котловину, завлекут страдалицу! – пророчили на деревне бабёнки.

И опять сбылось предвестие: сама Андрона ушла по июльским травам в логовину болотную и Никитка с собою увела.

Попричитали, поплакали бабёнки, поохали у Куманёва двора, окна в доме ставнями поприкрывали, ворота наглухо заперли и разошлись по своим заботам – жить, как жили. А вот что бы да кому бы кинулась в голову задумка – пойти поискать загинувших в болоте. Даже росинка маковая не блеснула...

Кроме непролазных трясин была тому ещё одна причина. Дело в том, что на Куманьковом болоте с недавнего времени поселился туман. Обычная его пелена и в прежние годы нередко устилала провальную эту нетронутость. Но в последнюю пору она устоялась такая густущая да вязкая, словно муть её прорвало из самой преисподни. Прямо не туман, а какой-то кисель молочный.

Ещё большая его странность состояла в том, что ни зазывными летами, ни кристальными зимами, ни вёснами лебяжьими или бы хлизкими осенями в уютной низине-логовине туман тот никакими ветрами взять не могло.

Деревня о нём судила так: на Куманьковой, дескать, топи да нечистая сила устроила кашеварню. Что-де черти поселились под самым днищем болотного котла и зачали там держать постоянный огонь. Приставлены-де рогатые парить безотрывно вонючее снедало, чтобы кормить им на том свете грешников...

Чего уж тут корить людей за то, что ни один не сунулся в экое сатанинское варево?

Только опять да вдруг, денька ежели так три-четыре отчесть от Андронина ухода, под самый вечер, ведёт забота старого шорника Свирида Глухова вдоль болотной логовины, по гривке, из соседней деревни домой. Плетётся поживший неторопко да мимо скомого¹ выпаса да видит... Дедок Свирид подслеповатым был. Вот и видится ему, сыздаля-то, ровно бы чей телок в низину забрёл. Стоит телок у самого у болотного тумана и домой направляться не думает. Тогда и пала на шорниково сердце забота – пугнуть животину от поганого места, не то прямой убыток может кому-то из деревенских случиться. Бывало уже такое.

Дед Свирид – из добрых добрец, полез ежевичником напрямки до чужой нужды. И тут! Вот те нам, да наше вам!

¹С к о м о ж н ы й – чахлый, скудный.

Взамен ожидаемого телка видит старый – Шайтан собственной персоной у болота стоит, с лапы на лапу перепадает, языком бедняга дышит – настолько устал. А рядом с ним, в росной при закате траве, Никиток распластался – чуть живой! Оба в грязь болотной – глядеть страшно! Да измождены! Кажись, помедли чуток – домой уже не доставишь. Дедок Свирид медлить не стал... Своих ребятишек старому шорнику за всю долгую жизнь звезда его таланта не раздобрилась послать. А тут вдруг да сирота в руки! И размечтался над парнишкою дед, покуда нёс Никитка ко двору. Вот, мол, и послал Господь внучонка. Столь надёжный подарочек подарил, что и прибежать отобрать некому.

Только вот Шайтан чуток замутил старикову радость. Поскольку пёс ни в какую не захотел отстать от малого своего хозяина, то и принудил этот факт Свирида-шорника поразмыслить по-стариковски да вслух. Дескать, чем он станет кормить этакого зверюгу, ежели сам он весь свой век одним только шилом охотился, дратвою силки ставил. Так что лёгкого корму, каким считался на деревне охотничий добыток, на столе шорника отродясь не водилось. А много ли ремённым тем ремеслом, да ещё в старых годах, мог он заработать? По миру не ходил с протянутой рукой и то слава Богу. А такого косматого пестуна¹ караваем хлеба за один присест вряд ли уговоришь. Тут волей-неволей в затылке заскребёшь...

Только Свириду-шорнику не досталась на этот раз долгая нужда плешатую маковку скрести: Шайтан, прямо-таки прослушав стариково беспокойство, силы остатные собрал и понёсся в недалёкий Светлый борок, мимо которого они направлялись до близкой уже деревни.

– Отстал, – подумалось дедку. Но вскоре видит: несёт космарь из сосняка ушкана, да живого! Только малость пришибленного тяжёлой лапой.

Хорош добыток, ничего не скажешь!

Добытчик похвалить на словах позволил себя шорнику, хвостом даже на одобрение его шевельнул. Но погладить не дался. Оскалился. От его столь знаменитой в округе «улыбки» дедовы лопатки морозом свело. Но бежать, понятно, старик не кинулся: теперь им вместе жить – не набегаешься. Надо привыкать ко псовой строгости.

¹П е с т у н – молодой медведь.

Вытерпел Свирид Шайтанову упреду и зайца за спасибо принял...

А другим днём поутру вся деревня увидела, как из понизовой уремы косматый охотник нёс на хребте до шорникова двора кабарожку. Чисто бабр¹ какой!

Так изо дня в день и повелось-пошло. Не успеет старый Свирид подумать насчёт поездки запасов – космарь, глядишь, в тайгу подался...

Деревня головами качает, удивляется:

– Шайтану, знать, черти болотные ума подсыпали. И прежде собачий сын в диковинку всем был, а после зыбунов стал десяти умов...

И добавляет-говорит:

– Да-а! Себе бы такого добытчика!

Понять такое желание очень даже несложно. Давно в миру повелось: счастья только ждут, а зависть уже тут...

Слова мои к тому, что Дорофей Мокрый, Саньки Выдерги наставник ярый, вдруг да раскатился во всё своё пузатое хотение во что бы то ни стало переманить до себя косматого заботника.

С великой охоты, с горячего запалу и не подумал он путём, как бы это ему да похитрее до шорника подъехать; припёрся вроде бы заказать медно-бляшистую сбрую для своей выездной лошадки...

Вот он, Дорофей Мокрый, с дедом Глуховым разговор посреди двора шорникова ведёт, а сам перед Шайтаном лебезит – хвалу на похвалу внахлёст кидает. Будто нетерпеливый жених перед капризной невестой лезет из кожи вон...

Шайтан, понятно, ответить «ухажёру» солёным словцом не способен, но косматой мордой ведёт так, словно живому хохоту прорваться из себя не даёт. Зато уж Свирид-шорник хохочет не стесняется, и за себя и за своего добытчика отводит душу.

– Не кажись, Дорофей Ипатыч, – советует он лавочнику. – Не тяни заздря пупок. Этот чёрт косматый и до нас со старухой не больно-то ласков. Одного только Никитка и признаёт над собою полным командиром...

После такого откровения и порешил Дорофей Ипатыч переманить до себя Шайтана да с Никиткою заодно.

А что? Парнишонка лавочнику не показался простой берендейкою².

¹Б а б р – тигр.

²Б е р е н д е й к а – деревянная фигурка, подвижная игрушка.

Серьёзным представился ему пацанёнок. Тем самым, из которых в умелых руках прокуроры вырастают.

– Ну, прокурор не прокурор, – рассуждал сам с собою Дорофей Мокрый, когда в лавке не случилось народу, – а приказчик из Никитка оч-чень даже толковый может получиться...

Вот тут-то лавочник и вспомнил о Саньке-Выдерге, которую успел за это время нянькою в уезд отторгать.

Поехал он, забрал девку от неплохих людей, везёт обратно, толкует:

– Шайтан, – сообщает, – твой отыскался. И Никиток с ним. У Свирида Глухова больше недели уже как живут. Вот я тебе, – показывает, – новый сарафан купил: наряжайся и ступай до шорника. Да постарайся опять с Никитком да Шайтаном сродниться. Понятно?

А чего тут непонятного, когда девчаточка от друзей своих душонкой-то и отпадать не думала. Никаких сарафанов не стала она на себе менять, а прямиком-вихрем пустилась из Дорофеева ходка да ко Свиридову двору.

Бабёнки, что были радёхоньки Санькиному в уезде найму, узрели этот вихрь, завскакивали ему вдогон:

– Во! Опять заявила метелица.

– Выпустили бурю на море – всех теперича бешеной волной захлестнёт...

Только Саньке оказалось без нужды понимать, что там следом за нею летит. Ей было страшно передним страхом: вдруг да не захотят принять её у себя старики Глуховы?! Вдруг да прогонят со двора?

Зря вихревая боялась. И сам Свирид и его Свиридиха-бабка, как завидели в воротах гостью, зашумели весёлым майским ветром:

– Шайтан, Никиток! Да идите, гляньте сюды! Да посмотрите, кто к нам пожаловал.

Шайтан как вырвался откуда-то из-за стайки, Никиток как вылетел из хаты, из сеней... Кучею-малой все трое повалились посреди ограды... Да бабка Свиридиха наплакалась, гляючи на такую радость, сам же Свирид куда-то шило впопыхах сунул – потом никак отыскать не мог...

Старики Глуховы не первый день на земле жили – сразу докумекали, для какой такой цели, для какой корысти Дорофей Мокрый девчонку с места сорвал. Однако же Санька-то тут при чём?

Ну, а пока... Свириды засуетились:

– Ой да ли гостюшка дорогая к нам пришла. Да где самовар наш, где сахар-леденцы? Да садимся-ка все за стол – праздник праздновать, гостью здравствовать...

А когда время наступило Саньке домой уходить, Никиток следом за ворота выбежал, рукой замахал, закричал вдогон:

– Приходи завтра – в козлятков играть будем.

На что старики в ограде согласно заулыбались.

Ну вот.

А на другой день торговые заботы Дорофея-лавочника поманили из деревни вон. Покуда заботный справлялся с делами где-то на стоне, дружителю наши и позабыли напрочь о том, что они не родня...

Дорофей же Ипатыч как прибыл в деревню, с ходу кинулся в приказ:

– Ну вот ли что, дорогуша дорогая, – преподнёс он Саньке. – Довольно тебе прохлаждаться, впустую время терять. Завтра же води Никитка до нас и Шайтана от него не отгоняй. Чо ты глаза-то вытаращила? Али не поняла меня? Тебе, дуре, самой же лучше будет – станете рядом жить...

Только теперь докумекала Санька, на какой поганой задумке взошла Дорофеева доброта: оказывается, лавочник из неё подсадную творит. Вот оно что!

Но девчонка даже ухом не повела, чтобы поставить своих друзей да перед грехом Дорофеевой жадности. Оттого-то она и заявила в конце следующего дня одна-одинёшенька и стала выкручиваться перед Дорофеевым спросом – насчёт зряшного его ожидания.

– Звала, – слукавила Санька. – Только Никиток не идёт до нас.

– Какого беса кочевряжится? – высказал своё недовольство лавочник и застрожился того пуще: – Отвечай, когда тебя спрашивают! Мямлишь стоишь.

– Дядька, говорит, у тебя больно сурьёзный, – нашлась ответчица, каким враньём откупиться от Дорофеевой строгости.

– Ышь ты клоп! – подивился на Никитка улещённый. – Смотри-ка ты! Мал росток, а уже дубок! Надо же сколь верно подметил! Тогда передай ему от меня – пущай не боится. Я до умных ребятишек очень добрый. Ну и ты постарайся – чтоб не ждать мне больше впустую.

Только и другим вечером предоставила Санька Выдерга Мокрому Дорофею одну лишь отговорку.

Вот когда нетерпеливый отрезал:

– Чего ты мне угря подсовываешь¹? Не приведёшь завтра гостей, сама домой не являйся...

А Саньке впервой, что ли, под чистым небом ночевать? Взяла да и не явилась. Старикам Глуховым она говорить ничего и не стала, а по закатному времени ушла за деревню – в стога. Там и на ночь определилась.

А кто-то видал её там определение; прибежал, перед Дорофеем выслужился. Тот кнутище в руку и до выкоса...

Только бы ему всею ширию размахнуться – сполоснуть сонную ослушницу сыромятным огнём да с мягкой высоты на росную стерню... Вот он! Шайтан из-за стога! Ка-ак вымахнул! Ка-ак лапищами дал тому полоскателью в плечи! Как повис над ним своею чёртовой улыбкою... Потом Дорофеюшка так и не сумел вспомнить тот изворот, который помог ему выбуриться из-под зверя... Но вся деревня сыздаля видела, каким прытким зайцем уносили лавочника по отаве от лохматого беса его прыткие ноги.

– На гриве-то берёзу чуть было надвое не рассадил.

– Ты б не то рассадил, когда бы смерть лютая взялась тебя за пятки хватать...

Но такие разговоры селяне вели потом, после, время спустя. А в этот закат народу было не до пересудов:

Шайтан-то... Он ведь погнал Дорофея Мокрого распрямёхонько на Куманьково болото! Сколь ни досадлив был для деревни лавочник, а всё человек. При таких страстях руки стоять сложивши – великий грех!

Повыхватывал народ дубьё – отбивать Дорофея от зверя лютого понёсся. Только маленько припоздал. Загнал-таки бес лавошника в Куманьковы зыбуны. Так оба и ушли в туман – как в вечность!

А время-то – к ночи.

Что делать?

– Спасать! – верещит Харита Мокрая. Верещать-то она верещит, а сама в топкую дрягву не лезет.

Ну так ведь как? Хозяину не к спеху, а соседу ни к чему...

Под звон пустозаботного Харитина визга решено было мужиками подождать до утра – может, само собой что-нибудь прояснится...

¹П о д с у н у т ь у г р я – извернуться, налгать.

Решено-то решено, да решение грешно. Потому и потянулся народ в деревню, как в плен. Но не успел он всею своею суровостью и на гривку-то путём подняться, как взревели Куманьковы зыбуны Дорофеевым языком. Деревне показалось тогда, что от бешеной трубы его голоса даже кисельный туман над Куманьковой дрягвою вспенился.

А тут вот и себя, безумного, выкатил лавочник из болотного кипения.

Чуть ли не в три скока перемахнул он логовину, шальным тифоном¹ влетел в скопище перепуганных селян, пойманный мужиками задёргался, захрипел, отбиваться надумал от цепких рук.

Не отбилсЯ, пал на колени перед век нечёсанным, красношарым от беспробудного похмелья Устином Брехаловым да слёзно возопил:

– Андронушка, матушка,пусти! Чо я тебе изделал плохого? Век буду за тебя молиться...

Когда же, обхихиканный дурачьём, Устин шагнул на Дорофея с угрозою – щас-ка я тебе отпущу, лавочник ногтями заскрёб землю и стал кидаться ею прямо в красные шары «отпускальщика».

– Сгинь, ведьма, сгинь! – бормотал Дорофей при этом. – Изыди, сатана...

Потом Ипатыч кувырнулся на спину и стал выкрикивать вовсе какую-то неразбериху, под которую и поволокли его мужики в деревню.

Понял народ, что не тем вовсе страхом блажит Дорофеево нутро, над которым не грех и посмеяться. Тут можно и на себя большую неудобу накликать, ежели не принять произошедшего всерьёз. Потому и заговорил он потихоньку:

– Слава Богу, хоть таким Ипатыч воротился – нам в болото не надо лезть.

– Знать, пришлось ему немалого лиха отведать...

– Господь даст – одыгается.

– Шайтана жалко.

– Воротится. Тот сколь раз плутал, а выбрался. И теперь обойдется...

И обошлось.

Воротился Шайтан. Только каким?!

¹Т и ф о н – смерч.

Поутру видел охотный парняга Чувалов Коська, каким мочалом выбрел космарь из Куманькова болота. Был он понур, а истерзан до той степени, ровно всю ноченьку напролёт бился в тумане с целым выводком лешаков да кикимор...

В шорниковом дворе забрался Шайтан в пустой пригон и оттуда завыл столь надсадно, столь зловеще, будто хотелось ему упредить народ о неминуемой гибели всей деревни разом.

Солнце только вполблина успело выплыть на край неба, а уж деревня всё что могла передумала и пришла к выводу, что надобно готовиться к худшему...

Скоро стала и ребятня просыпаться по закутам да полатам. Ста-ла смотреть на озабоченные лица большаков тупыми спросонья глазами...

Санька Выдерга в клетухе своей поднялась тихая от невольной своей виноватости. Поздняя дрёма досталась ей с трудом; в избе всю ночь бушевала Дорофеева буря. И просып тоже лёгкости не принёс. На Шайтанов вой она схватилась, было, лететь до Свиридова двора, но тётка Харита сверкнула в темноту чулана свирепыми глазами, на-кидала на душу братанки бранья невпроворот и, до полной кучи, по-велела:

– Прижми хвост, летало! Не то я тебя, собачья вера, сгною в этой клетки!

Сказала и глубоко всадила в дверные скобы брусчатый засов.

Да-а! Вот те раз – из белены квас...

Сколько бы просидела Санька в неволе – кто знает? Только вдруг да сообразила она, что Шайтан, время от времени возобновляя вой, зовёт к себе именно её – Саньку.

Ну что же ей делать? Башкою стену долбить? Ох, как поняла она за то время, пока металась в кладовухе, сколь неразрывно привязана она к Никитку, сколь необходимой стала ей приветливость деда Свирида, какой отрадой лежит у неё на душе сердечность бабки Свиридихи... А что сказать о Шайтане, так Санька в кладовухе о нём и подумать без слезинки не могла, хотя отродясь мокроглазой хворобой не страдала. Прямо как в пропасть кинуло девку в тоску... День до вечера, словно шар в лузу, западала она в клетки из угла в угол. А тут ещё в пред-закатье да услышала она за стеною бойкий голос Коськи Чувалова. Должно быть, охотный молодец явился на зов Хариты Мокрой и, от несогласия с нею, вёл громкий спор.

– Не, – перечил он лавочнице. – Затея твоя, Харита Миколавна, шибко не по домыслу идёт. Ить подумать умной головою, какой такой дурак тебе отыщется, чтобы за столь плёвую деньгу рисковать нервой. Ить чёрта косматого, поди-кась, только заговорённая пуля и сумеет успокоить...

Хотя Санька не услышала тёткиного ответа, посколь торги уплыли в глубь двора, однако поняла, на какой «подвиг» снаряжает тётка Харита скорого на лихую руку Коську Чувалова – Шайтана, понятно, стрелять! И сразу голова её сделалась такой ли сообразительной, что невольница даже хлопнула себя по лбу ладошкой: как сразу не додумалась? Вот он лом в углу, вот она, широкая под ногою, половица.

Закладки каменной вокруг подклети у Дорофея Мокрого сделано, спасибо, не было – одна лишь дощатая огородка прикрывала подлаз, где хранилось всякое хламьё. Да и огородка та была снабжена дверцею, которую не было никакой нужды садить на замок.

– Уж куда как проще выбратся-то!

Но и для такого простого дела пришлось дожидаться темноты.

Когда же недолгая июльская ночь заторопилась приживулить медными булавами над землёю небесный полог, затворница неслышной тенью скользнула под звёздами через двор. А там, за воротами-то? Да за воротами её б не смогла поймать ни одна дурная собака.

К тому же беглянка была уверена, что, при нужде, вымахнет к ней на выручку заступник её Шайтан.

Однако она вот и до шорникова двора добежала, вот и в саму ограду внеслась – никто встречь ей не кинулся, никто даже не ворохнулся. Как будто вымерло всё подворье.

Ночница старательно переглядела-перешарила под навесами-клетями – нет нигде Шайтана! Ни живого, ни стреляного...

Это что же это за сторож за такой?!

Санька знала, что при косматой охране старики Глуховы не то клетей, избы на ночь не запирали...

Напоследок она сунулась в пригон.

Ещё – вот те раз!

Прямо тут, у переступы подворотной, мёртвой дохлятиной лежит вытянулся Шайтан!

Кроме него и вся глуховская скатинеха пораскидалась так, будто над нею волки командовали. Куры и те с насеста посваливались на солому, лапки задравши...

При виде такого «побоища», на Санькином месте, любой бы всполошился: отравлена живность! Только ей скоро понятным стало, что глуховское мыкало да хрюкало спит мертвецким сном. А петух, зная, с непривычки лежать вверх тормашками, ажно похрапывает, распутивши крылья по куче назьма...

Ну, диво!

Принялась дивница тормошить-трясти косматого друга: какой ты, дескать, мне заступник, хозяевам охоронник, когда тебя самого бери за хвост и волоки? Но Шайтан под её беспокойными руками оказался как есть из тряпья пошит...

Тогда-то Санька и заторопилась в избу – тревогу поднять. Но и там оказался такой же точно повал.

Неужто он, Харитов подговорщик, сошёлся с лавочницей в деньгах да успел когда-то побывать у Свиридов?! Побывать да подсыпать кругом сонного зелья?

Ну, а ещё-то чего путного могла придумать Санька на такую беспробудность? Ничего другого она придумать не могла. Потому и собралась поначалу всполошить всю деревню. Но потом решила, что Коська-злодей может теперь явиться всякую минуту, что не время оставлять Свиридов на произвол его продажной душонки.

С тем и осталась девчоночка в шорниковой избе. Села Санька у самого окошка да на широкую лавку, на которой в застенье спал Никиток, настроилась дожидаться гостенёчка незваного, а уж тогда и народ поднимать...

Глуховский двор плетешком был обсажен не больно высоким. Против окна, за оградой, темнела хатёнка Устина Брехалова. Того самого нечёсы да неумывы, которого Дорофей Мокрый принял на гривке за утопшую в зыбунах Куманёву Андрону. По правую сторону от окна тянулась плохо видная Саньке деревенская улица. Зато слева хорошо просматривался край Светлого бора. Меж ним да брехаловским двором, минуя Свиридов огород да ещё скоможный выпас, за некрутой гривкою ночная видимость резко убегала в низину. Там, увитая сплошной куманикою, низина-логовина с каждым шагом всё более хлябла и уходила в Куманьковы топи, который год окутанные загадочным, непроглядным туманом.

Вот сидит Санька в мёртвой от беспробудного сна шорниковой избе, смотрит в сторону болота и чудится ей: человек не человек,

зверь ли какой белым лоскутом отделился от кисельного марева, не больно решительно, враскачку двинулся по низине, остановился на луне, которая светом своим пропитала всю округу. Хотел, видно, поворотить вспять, да не осмелился и неторопко пошлёпал через логовину в сторону деревни.

На недолгий час-времечко пошлёпок тот скрылся за гривкою, затем выбрался на неё, осмотрелся вором и подался через выпас, прямёхонько до Свиридова двора...

Санька в испуге отодвинулась в простенок. Смелости в ней хватило одним только глазом следить из-за косяка за непонятным живьём.

А то живьё уже и поторапливалось.

Вот оно перевалилось через огородный плетешок, вот зашлепало широкими лапищами промеж морковных грядок, вот направилось к избе...

Тут Санька вовсе отпала в угол. Её трепала жуть. А успела она разглядеть, что до шорниковой избы шлёпает прямиком голым-голёхонький, да весь не то мокрый, не то маслом помазанный, громадный, с человека, перепончатый птенец. Только голова птенцова не имела никакой намётки на обычный в таком случае клюв. Она была гладка и бела, будто её обтянули тряпкою с прорезями для глаз...

Какого только страха на земле не бывает, но страшней этого придумать было мудрено.

Кабы Санька могла, она бы дурным криком развалила хату. Да вот только все жилы на её лице стянуло судорогой. И саму её всю по рукам-ногам скрутило безволием, как младенца повойником. Спасибо и за то, что при всём при этом она оставалась ещё способной что-то слышать да видеть...

А услышала Санька сперва тихий скрип сенной двери, потом тяжёлый шлёп великих лап. Вот осторожно отворилась изба, белое чудище перешагнуло через порог, наклонилось над Никитком, зашептало голосом тётки Андроны:

– Вставай, сынок. Вставай. Пойдём со мною...

Весь голубой от луны, Никиток поднялся и пошёл маленький, пошёл... Избою пошёл, сенями, двором, огородом, скоможным выпасом...

Судорога отпустила Саньку, когда оборотень с голосом Андроны уже вводил сонного Никитка в туман Куманькова болота.

Каким путём-случаем оказалась Санька тою ночью опять в своей кладовухе? Каким чудом сумела она определить на прежнее место отвёрнутую половицу? Кто скажет?

С одного темна до другого била девку на скудной подстилке чулая лихорадка, на что Харита Мокрая мстительно приговаривала:

– Это тебе за Дорофея леденец, за Ипатыча сладенький... Может, кумоха вытрясет, наконец, из тебя дурь твою несусветную да заодно с натурой твоею поганую...

Оно и деревня вся решила, что Саньке Выдерге передалась липучая хворь от Дорофея-лавочника. Народ быстро согласился на то, что отчаюга не выдюжит трясухи и оправится к Богу на руки. Он и рассудил вполне резонно:

– Лавочник эвон какой сноп, а другой день не приходит в себя, да и придёт ли. Эту же соломинку любая смерть одним зубком перекусит...

Про Саньку деревня определила, а вот про Никитка и подумать не знала что – только охала да плечами пожимала.

Однако и насчет «соломинки» неплохо было бы ей языки попридержать.

Не сбылось говоримое.

Выпало девке, против Дорофея, скоренько с немочью справиться. На другой день к вечеру Санька на ноги поднялась. А не успевши подняться, удумала она тут же бежать до стариков Глуховых, пока не узрела её подъёму тётка Харита да сызнова не посадила дверь кладовухи на засов.

Ну, а не терпелось Саньке потому, что надо было поскорей уразуметь правду. Ту правду, которой она прошлой ночью оказалась невольной очевидицей, да ежели та правда ей не померещилась.

А ещё надо было поторопиться ей втолковать возможную правду старикам Глуховым. Так втолковать, чтобы Свириды поверили ей да согласились подмогнуть хотя бы разведать, какая такая оказия да поселилась на Куманьковом болоте? И ещё девчаточка торопилась избавиться от страха за Шайтана: вдруг да уж нету косматого её товарища вживе!

Вот сколь было у Саньки забот.

Пока она, хмельная слабостью, спотыкалась вдоль деревенской улицы, бабёнки изохались над её ходьбой. Но ни одна из охалок тех

сама не кинулась девчонку поддержать, ни ребят никто не подпустил до неё – испугались, что прилепится к ним Дорофеева зараза.

Что же до стариков Глуховых, так тем всё одно оказалось – помирать, не помирать. С утратою Никитка они и ко всему прочему потеряли интерес.

Вот она каким водопадом сорвалась-ухнула на Свиридов Санькина правда!

А попробуй-ка ещё и разъяснить её старым! Вовсе с ума сколупнутся. Какая уж там от них подмога? Такой да подмоге самой бы унести ноги...

Одним словом, не повернулся Санькин язык глуховскую беду да напастью лечить. Только и осмелилась она при горестных, что спросить о Шайтане.

– Не сѣдни-завтра подохнет, – ответила Свиридиха слёзно. – Маковой росинки не принимает...

– Ровно человек раненый, стонет и стонет, – досказал старухино Свирид. – Из пригона даже не выползает. Ступай, проведай. Тебе хоть, может, обрадуется заботник наш.

На такое дело понятное Саньку долго не надо было уговаривать. Поторопилась она до Шайтана, а тот и в самом деле – языка своего от бессилия не подбирает. Шевельнул хвостом при виде верной своей подруги, и вся сила из него вышла, ажно голову откинул. Подруга на колени перед космарѣм опустилась, под пѣсью голову ладонь подсунула, другой рукою давай морду его оглаживать. А сама приговаривает, вразумляет Шайтана:

– Я ить тоже собралась, было, подыхать, а гляди, очухалась. И ты у меня давай не дури! Ноги-то вытянуть – не труд. А с кем тогда мне на болото идти? Надо или не надо Никитка вызволять? Разве одной мне со всею болотной хитростью справиться? Да и боюсь я, одна-то! А с тобою б я и в пекло полезла. Вон ты у меня какой – умнящий, сильнящий! Так что смертную дурь из башки своей косматой выкинь! А для силы – поестъ бы тебе сейчас надо...

На Санькины слова Шайтан ответно заскулил, и тут почуяла вразумительница на ладошке своей странную влагу.

Да батюшки мои! Не то слёзы?

Санька быстро отвела от Шайтановой морды лохматы, глянула другу в глаза и обомлела: потоком слёзы бегут! Редкий человек может столь горько плакать...

Да и может ли всё это быть?!

Так ведь многого быть в эти дни не должно, а оно есть! Есть! И никуда от него не деться.

Вот такая штука.

И всё же Санька заозиралась – не в своей ли она кладовухе, не бред ли, доставленный кумохою, опять намеревается сбить её с толку?

Но и эта, Шайтанова, невероятная правда оказалась настоящей. Такой ли настоящей, что Саньке впору было пойти от неё скачками, как Дорофею Мокрому от неведомого страха Куманьковых зыбунов...

Может быть, и вправду взять да бросить к чёртовой матери все эти чудеса, забиться куда-нибудь в безопасье и притихнуть до поры... Только Шайтановы слёзы уже успели выпалить своим горем всякую трусость из Санькиного нутра. Взамен в груди её осталась лишь какая-то тяжкая неуютность и крайняя слабость и сострадания тесная боль...

И всё-таки хотелось теперь девчаточке оказаться подальше от этого места, пусть даже запертой в кладовухе. Прикорнуть бы там теперь на дохлой своей подстилке и не двигаться, не думать – просто ждать, когда же вся эта беда пройдёт сама собою...

С другой стороны – можно ухитриться и разом впустить в голову все подробности последних дней. Пусть они смещаются в мозгах, сотворят бездумье, унесут её опять же в забытье...

Только штука-то вся в том, что не выдюжить Саньке повторной лихорадки. А помирать – ох, как не хочется! Ну, а если не помирать, так рано или поздно, а всё одно приходить в себя надо. Зачем тогда время тянуть? С правдою в прятки играть? Ведь правда, она и за углом правда.

– Ну, чо ты? – сказала она Шайтану. – Чо ты, как маленький... Увидят люди – за нечистого примут. Тебя и без того Чувалова Коську тётка Харита подбивает застрелить. А прознай она о твоём рёве – и тебе и мне не сдобровать. Как же тогда Никиток?

Нашептала Санька такую безрадостную истину Шайтану, да сама вдруг поверила в то, что пёс её вот как славно понял. Так славно, что когда в пригон заглянула бабка Свиридиха – узнать, не настала ли пора копать для косматого добытчика яму глубокую на задах огорода, девчоночка уже безо всякого сомнения попросила старую принести Шайтану свеженького молока с хлебными крошками.

Не успела Свиридиха охнуть да поспешно засеменить до погребушки, сам Свирид прибежал.

— Эко чудо расчудесное! — взялся удивляться. — Ой, Санька-а... Да, ой, Санька! Да на тебя, знать, девка, не то простой, красной цены нету! Они ить, собаки-то, повторную жисть из рук только золотых людей принимают...

А когда бабка с посудыной полною прибежала, да Шайтан принялся жадно хватать из неё, то дедок и носом зашмыгал и решил:

— Вот чо, девонька. Жалко нам, конечно, со старухой кормильца такого от себя отрывать, однако твой он по всем правам. Бери его себе. При нём и Дорофей с Харитою будут с тобою потише... Бери.

— А ещё б лучше остаться тебе у нас, — вставилась в дедово рассуждение со своей крайней охотою его хозяйюшка. — Вот уж тогда и мы немного ещё пожили...

— Не морочь девке голову! — застрожился шорник. — Это он Володея Куманя побаивался. А нам с тобою Дорофей Ипатыч, опомнится, таких оставаний накладёт, таких оставаний — аж до самых расставаний. Забудешь, куда и прятаться бежать.

— Дорофей ещё опомнится или нет, — хотела заспорить старая, но Свирид её перебил.

— А Харита на что? — спросил. — Она и сама, безо всякого Дорофея... не свихнёт, так вывихнет...

Прав был Свирид. Только старая надеялась на то, что её доброта правее. Потому и не захотела так просто уступить своему деду, раскудахталась. Оттого и Свирид разошёлся... Санька же на огорожок коровьих яселек присела и стала думать себе о том, что с Шайтаном, после того, как потерял он в зыбунах Володея Куманя, вообще случилась большая перемена. Пёс и прежде был дивно умён, а теперь... эти слёзы! А его позавчерашний вой? А чем объяснить мертвецкий сон? А как понять появление оборотня с голосом тётки Андроны? А Никиткова пропажа?! Пресвятая Богородица! Сколь вопросов безответных! А что сам непроглядный туман над Куманьковой дрягвою? Это ли не первейшая загадка? Чьё логово укрывает он? Какая ещё беда-морока вызревает за его кисельной густотой? Не-ет! Столь вопросов никакими думами не одолеть. Так ведь не зря же пословица русская подсказывает: не достал умом, дотянись делом...

Надо идти на болото! Вот в каком чистом виде и предстала перед Санькой её многосложная истина.

Сумеет ли только она истину эту оправдать на болоте? Вот это вопрос, так вопрос – ажно выше волос!

Изо всей Санькиной правды выходит какая догадка? А такая, что поселилась на Куманьковых зыбунах нечистая сила! Поселилась для того, чтобы заманивать на болото да перекидывать в оборотней добрых людей... для какой-то непонятной надобности. Должно быть, и Никиток за тем же самым уведён. Потому и нет больше у Саньки ни поры, ни времени надеяться на то, что болотная затея уляжется сама собой. Зато имеется у неё опаска, что на медлительность её возьмёт да и выползет из дрягвы какая-нибудь здоровенная гусеница-змея с Никитковой головою...

«Не-ет! При живой при мне такому не бывать! – сказала себе Санька и наметила: – Ночь переждём, а поутру идти надо...»

– Что же вы меня-то не угощаете? – встрепелась она после этого на ясельной огорожке. – Я ить, гляньте-ка, отошала хуже Шайтана...

От её правильных слов старики и спорить забыли, заторопились печку топить.

Только не успелось им согласным путём и поужинать – Хариту Мокрую дурная сила в дверь суёт. Похоже, кто-то услужливый ухитрился подслушать у сараюшки стариков спор, насчёт Шайтана да Саньки, и перенёс его в хоромы лавочника. Вот она, Харита, и прикатила на двух резвых – неотложно требовать братанку обратно в своё хозяйство.

– А то шляется по чужим дворам, что колобкова корова, – оправдала она свой приход громкой руганью. Санька ж мигом сообразила: при таком тёткином нетерпении быть ей непременно запертой сегодня в кладовухе. И улизнуть едва ли придётся. Это уж как пить дать. Вон как тёткины-то глаза выкатывает на лоб озлоблением.

– Не пойду! – отрезала Санька столь бесповоротно, что Харита сперва на полуслове клёкнула горлом, будто заглотнула целиком куриное яйцо, потом кинулась в чужом дворе смотать дерзкую за косы.

Да Саньке было не впервой увёртываться от длинных рук. В минуту она уже стояла в сараюшке под Шайтановой защитой. И хотя пёс всего-то и делал, что знаменито улыбался, однако жаль – не было поблизости Чувалова Коськи. Лавочница в этот миг, ей-бо, не пожалела бы накинуть сверх им просимого ещё золотой.

Того охотного парнягу черти, видать, где-то по другим заботам

волочили. Потому и пришлось Харите Мокрой, с угрозами да криком, поворотить оглобли...

А Санька пока осталась у Свиридов.

Определилась она спать в застенье на лавке, на Никитковом месте; легла, как была – в кофтёнке немудрящей своей, в старенькой юбке. Прикорнула она на лавке, только уснуть путём не уснула. Сперва, вроде, маленько закемарила, да вскорости её как домовой под бочину шурнул. «Вдруг да впрямь, – подумалось ей, – Харита с Коськой Чуваловым сумели договориться?! Не пойти ли мне лучше ночевать в пригон?»

Встала, пошла. Не побоялась.

Вытемнила она во двор и что видит?! Пригон настезь распахнут. Шайтан стоит на выходе и натянут весь чуткостью, как струна. Космы его по хребту – дыборём, глаза безо всякого до посторонних дел внимания... Весь как есть он уже находится на Куманьковом болоте – одним только телом ещё тут. И вот это его тело дергает и туда, и сюда непонятной силою. Ровно бы кто упорный да на долгой верёвке намерен подтянуть пса до зыбунов, а он упирается...

– Опять... новое чудо.

И всё-таки тот, кто на болоте, пересилил Шайтана – сдёрнул с места. Нехотя да с натугою пошёл косматый мимо Саньки. И хотя весь он был уже отдан колдовской силе, а не забыл заскулить напоследок. Вроде хотел сказать подружке: прощай, дескать, товарищ мой верный, ухожу я в тайность болотную, равно что в смерть неминуемую...

Ну уж, коне-ешно! Нашёл кому такое говорить...

Санька и пригона не стала затворять; метнулась следом за Шайтаном – удержать друга. Она так и повисла кулём на его шее, да только зря коленями глубокие борозды по морковной грядке пропахала. Вот до какой силы налит был косматун чужою волей! Он даже не обернулся на ободравшую колени Саньку.

Однако же девка не зря звалась Выдержгой. Не в её понимании было ухватить да не выдернуть. В конце огорода она догнала Шайтана, ухватилась опять, да уперлась голыми пятками в плетешок...

Но такой же давнишний, как и его хозяева, предел этот хрупнул, повалился навзничь. Санька проехала по нему животом, от бедра до самого низа располосовала юбку, в досаде выпустила уходящего, полежала на земле, покорчилась от боли, затем непонятно на кого озли-

лась, вскочила, бегом опять догнала космаря, завладела его хвостом и... такой вот недолгой цепочкой оба они вошли в болотный туман...

Санька скоро поняла, что Шайтан распрекрасно знает Куманьковы топи. В такой сплошной непроглядности их ни разу не занесло в трясины, хотя кругом, прямо руку протяни, кипела пучина. Она отдавала какими-то вздохами, бульканьем, пошлёпками. А то вдруг оживала огромными вонючими пузырями...

Чистыми водьями да кочкарником, а где и вовсе суховинами, пробиралась оборванная, порядком извозёканная Санька и вперёд и вперёд. Она не отрывалась от хвоста своего по-прежнему безучастного к ней друга; даже на сухих местах она лишь меняла руку на руку, но Шайтана не отпускала.

А под ногами всё чаще и чаще болотная хлябь пересекалась травянистыми взлуками, и скоро вовсе перешла в сплошную крепь, поросшую довольно густой гривою вовсе не знакомых растений...

Ну, скоро, не скоро, а стало Саньке казаться, что кисельное мажево тумана редееет перед глазами. Вот, вроде бы, сквозь запотелые его промоины, да при каком-то голубоватом свете, уже и мерещатся ей чужие вовсе травы да цветы нездешние. Прикинуть, так вроде бы получается, что среди Куманьковых топей чудом-дивом образована совсем какая-то неопределимая земля. Голоногая, ободранная, чумазая вошла Санька не в свои заросли, задела рукой один, другой цветок очень даже интересной красоты, узрела над головою в полёте противную, с какими-то серыми тряпками, взамен крыльев, птицу. Она разевала на лету свой могучий клюв – похоже, каркала, но голоса её Санька не услышала и скоро потеряла беспёрую в совсем уже поредевшем тумане. Не услышала Санька и пения малой золотистой птахи, что на ветке невысокого, с долгими плодами дерева, явно вымолачивала трепетным горлышком заливистые трели. Чисто голубой её клювик мелькал в пении быстрее, чем у старательного зяблика...

Засмотрелась Санька на пичугу, рот раззявила. Тут ей прямо в лицо и порхнул из густоты высоких трав проворный метляк¹ синего бархата. Да такой он был здоровенный, что тугим своим крылом, будто ладошкою, хлестанул разиню по щеке. Санька отскочила в сторону и чуть было не села на красную жабу, которая полуметровым

¹М е т л я к – бабочка.

пнём подвернулась ей под ноги. Жаба сердито зашипела, показала ей зубастую пасть и одним скоком ушла в заросли...

Только теперь Санька хватилась, что когда-то умудрилась выпустить Шайтанов хвост.

Друга рядом не было! Кисельный туман напрочь рассеялся над странной этой болотной кулижкой¹. Он как бы раздвинулся на стороны и плотной стеною окантовал мирок с чужой для Саньки жизнью. И эту жизнь озаряли совсем с близкой черноты неба сразу три луны! Они не были ни спокойными, ни деловитыми, как земная, старенькая луна. Вроде только что созданные, они горели каким-то пушистым огнём и даже чуть-чуть потрескивали от жара, подрагивали от нетерпения гореть. Только свет их не был силён: от заросливых стеблей разбегались на стороны густущие тени. Высвеченные из темноты цветы да листья поблескивали трепетными росинками. Всё кругом сияло умытостью да убранством таким, ровно с минуты на минуту ждали сюда сановитого гостя. А заявила – вот те на! – грязнущая, изодранная деревенская отчаюга...

Но, даже при упорстве своей да решимости, незваная героиня, так вот просто, взять и выставиться из зарослей на светлую прогалину, которая приметалась ей за кустами, не посмела. Она тихонько притемнилась к прогалине поближе, остопилась в укрытии и тайком взялась разглядывать круговой её простор. Вершка на три от земли перед Санькою оказалось приподнятым лобное какое-то место. Разглядывать тут особенно-то было нечего. Просто среди зелени высилась устроенная кем-то круглая да ровная, как барабан, площадка, величиною с деревенское гумно². Основная её необычайность заключалась в том, что была она всплошную выбелена чистейшей известью. Но, когда Санька пригляделась попристальней, оказалось, что никакая тут не известька, а похоже, словно разлитое по всему подхвату молоко накрепко приморожено к основе поблескивающим настилом. Кругом стоит теперь теплынь банная, а от настила того и в самом деле отдаёт приятным холодком...

Хорошо, конечно.

И вдруг! На тот холодок, на то место лобное да выходит Шайтан.

¹Кулижка – островок, клочок земли.

²Гумно – место для молотбы.

Ни грязи на нём уже никакой нету, ни тины болотной. Шерсть старательно оглажена... Кем?

Когда успел обиходить себя пёс?!

Снаружи-то Шайтан выхолен, хоть бантик привязывай, а нутром, видно, совсем похирел: тёмная туча вышла на прогалину, а не Шайтан. Башка лохматая опущена, хвост волочится, лапа об лапу запинается. Идёт и с подвывом чуток потягивает. Вроде спит космарь на ходу и видит страшный сон...

И вот тебе сон его да вознамерился образоваться над белым настилом... да въяви! И не только перед Шайтаном вздумалось ему представиться, а и Санька из-за куста увидела, как вышла-появилась с другой стороны площадки и поднялась на неё недавно утопшая в зыбунах Андрона Кумань! Но какая она стала! Санька и не думала никогда, что барское платье да показная осанка до такой чужой красоты могут изменить человека!

Среди лобного места стояла царица!

Так подумалось Саньке, хотя отроду не видела она помазаниц Божьих даже на картинке.

Короны, как положено царицам, на голове её, правда, никакой не было, зато разголёхонькая её шея была занавешана таким богатым ожерельем, каких и придумать-то сразу не знаешь как...

Поначалу измертво-снеговая Андрона, эта Явлёна, в короткую минуту приняла живую, человеческую окраску и медленно подняла опущенные веки...

Вот тогда-то Санькина душа и поменяла начальный свой восторг на болезненный озноб. А сама хозяйка этой души чуть было не свалилась со страху в заросли, поскольку глаза Явлёнины не имели ни белков, ни зрачков, – они были сплошную залиты такою яркою краснотой, ровно бы под черепом осанистой «царицы» пылал жаркий костёр. Однако пламени костра не давали вырваться наружу прозрачные меж её век заставки.

Сатана!

Догадка Санькина подтвердилась ещё и Явлёниным голосом.

Он хотя и пошибал на человеческий, но было в нём столь много понапёхано высокомерия да самомнения, что, казалось, должен вот-вот лопнуть и разразиться над землёю громовым раскатом...

А сатана тем временем говорила Шайтану:



– Вот уж не думала, что ты окажешь себя столь неблагодарным. Я же отпустила тебя только Никитка проводить-выручить. А ты и сам ушёл. Теперь пришлось мне из-за тебя и парнишонку на болото забрать. Так что вперёд знай: ты упрям, а я упрямее. Ты, знаю, хотел бы, чтобы я воротила тебе твой собачий разум? Нет! Этому никогда не бывать. Только с моим отбытием либо со смертью возможно всему стать на свои места. А пока я тут, на вашей земле, мне необходим помощник с твоим чутьём, пониманием и сноровкою. Но для роли моего доверенного в тебе мало было природного соображения. Вот почему я поменяла его на разум твоего бывшего хозяина. Видишь ли, человек в подручные мне не годится. Володей Кумань не менее разговорчив, чем остальные люди. А я не желаю, чтобы кто-то обо мне узнал больше нужного. Да и сердцем своим человек настолько глуп, что страшится любой непонятности. И этот великий страх невежества толкает его уничтожать всё для него непостижимое, неподатливое. К тому же он ещё и труслив. Оттого-то, для уничтожения нежелаемого, он часто покупает невежество ближнего. И чем глупее человек, тем он продажней, тем безжалостней. Жизнь на такой основе тормозит развитие земного разума. Тебе даже представить мудрено, как далёк рассудок землян от того совершенства, когда его направленная сила обретёт умение присваивать волю низших, творить из недоумков счастливых рабов одним лишь только желанием воли...

Глаза дьяволицы, по мере изменения её настроения, резко меняли цвет огня. То они полыхали пожаром, то рдели закатным заревом, то плескались блёстками беспокойной реки, а то вдруг сквозили такой чернотой, что втягивали в себя на время Санькину память. Моменты такие были, правда, коротки и только потому, видать, Санька не высказывала из-за куста, не шла на белый настил покорствовать дьяволице.

– Примером счастливого раба можете служить на земле вы, собаки, – продолжала высказываться тем временем Явлёна. – Одна беда – соображения в вас маловато. Вот почему была я вынуждена поменять твой пёсий толк на Володеев. Зато жене Володеевой я оставила полный её разум. Воспользовалась только её телом. Ты должен понять, что прежней своей плотью, появившись такой среди землян, я бы вызвала конец света, как у вас говорят. Люди бы с ума посходили. А теперь? Кто поймёт, что я не человек? Глаза выдадут? Но глазами с Андроною я поменяться не могу. Без своих глаз я – ничто. Они излу-

чатели воли моей! Ну, это – невеликая беда. Во взгляде моём и таится самая главная опасность для землян: он парализует волю в один миг. Всякий, посмевающий глянуть на меня в упор, останется ничтожеством, пока я того захочу! А я вольна длить и свою, и чужую жизнь сколько угодно...

Глаза её полыхнули вновь чёрным огнём, затем вспыхнули солнцем и она воскликнула:

– Скоро, очень скоро я подчиню себе всё земное невежество и тогда... Пусть только попробуют сунуться ко мне те, которые ищут меня во Вселенной! Я двину на них полчища подвластной мне глупости. О, направленная косность! Она способна пожрать собственное дитя.

Явлёна расхохоталась хмельно, как пьяный барин. А потом призналась Шайтану:

– Вот видишь, тебе я могу сказать всё. Этим ты для меня и хорош: всё понимаешь, но ничего, никому не сумеешь разболтать. Могу доверить тебе ещё большее. Последнее моё открытие позволило мне бывать среди моих преследователей! – При этом она уставила палец в небо. – Знать их помыслы, определять место в пространстве. И они, – опять расхохоталась она, – они посмели со мною спорить! Хочешь, – вдруг спросила Шайтана Явлёна, – я теперь же, сейчас перенесу сюда, – указала она на помост, – их полное подобие? Хочешь? – повторила она и стала пояснять. – Только тебе не услышать их голосов. Они говорят на столь высоком охвате звука, которого земной слух не достигает. Да и не вынесли бы земные нервы этих звуков. Но хватит с тебя и увиденного. Только – ни гугу! Иначе – беда! Поток зримого способен захватить волны твоего голоса и вместе с тобою унести в простор Вселенной!

Тут бы, на Шайтановом месте, кто угодно закаменел. Явлёна же тронула рукой богатое своё ожерелье, побежала кончиками пальцев по его камушкам... Как бы в ответ по белому настилу заплясали радужным многоцветьем быстрые искорки. Когда же огневые брызги принялись свой перепляс замедлять, Санька узрела, как над всем простором лобного места взялись образовываться из ничего какие-то суеки, что ли, сундуки ли высокие. Они имели наклонные крышки, усыпанные сплошь опять же огоньками да ещё кнопками разными, в добрый ноготь величиной...

Скоро предстала перед тайно глядящей Санькою не то лавка тор-

говая какая, не то контора. Она была обустроена вкруговую этими самыми кнопчатыми сусеками по всему белому настилу.

Как раз против Саньки хорошо так пришёлся проём между надстроек: вся середка конторы оказалась видна. И на той на серёдке теперь не было никакой Андроны-Явлёны, никакого Шайтана. Так, вроде туман какой-то витал над тем местом и всё. И больше ничего! Зато стояли там и бегали через туман напрямки те самые оборотни, один из которых прошлой ночью уманил на проклятое болото сонного Никитка. Только теперь оборотни не показались Саньке столь страшными. То, что в ночной темноте было принято за беспёрую, мокрую кожу огромного птенца, при свете косматых лун оказалось хотя и странной, но очень даже допустимой одеждою. Под просторным её покроем без труда угадывались подвижные, приземистые тела с большущими ступнями в мягкой обуви. Голыми при такой одежде оставались только совсем бесцветные, длиннопалые руки, да головы, круглые, как шапошный болван, и, точно как он же, безволосые.

На месте наших скул головы те пошевеливали какими-то тонкими, жаберными решётками. Может, они дышали через них, а может, слушали друг дружку таким способом, поскольку ни носа человеческого, ни ушей на тех головах не было. Вот рот, хотя и полностью безгубый, находился на своём месте. И глаза тоже находились во лбу. Прорезью своей такие же точно, как наши, они не имели ни ресниц, ни бровей. А изнутри были заполнены тем же самым дьявольским огнём, который только что полыхал за прозрачными заставками в очах Явлёны.

Всё это живое скопление огненноглазых оборотней судило о чём-то явно спорном Оно размахивало длиннопалыми, белёсыми руками, разевало наперебой безгубые рты. Жабры ходили ходуном... Один беспокойный больше остальных носился через контору, почти перед каждым лысым останавливался особо, распахивал рот широкой трубой, пылал глазами и опять схватывался носиться по настилу.

Но скоро он, зная, выбился из сил доказывать свою линию, прошёл до края площадки и чёрт его определил как раз в том проёме, куда заглядывала Санька. Повёрнутый к недовольной девчонке спиною, оборотень как бы привалился к невидимой стене, восходящей, зная, от самой кромки настила.

Саньке захотелось убедиться, на самом ли деле круговая площадка

огорожена каким-то пределом? Она осторожно потянулась из-за куста. Но рука её не ощутила никакой огородки, случайно пальцы её прошли сквозь ногу спорщика, точно сквозь ступок неощупного пара.

Перед нею действительно была одна только видимость. Однако спорщика будто бы кто ужалил за ногу. Он быстро обернулся и зелёными, огневыми глазами уставился прямёхонько на тот куст, за который успела отпрянуть Санька.

Похоже, что оборотень не поверил увиденному. Он ровно так же, как делает в таком случае человек, попытался протереть глаза. Но и на этот раз не доверил им. Потому он ловким движением пальцев нажал на прозрачные заставки.

Санька даже откинулась назад, боясь возможного огня. Но страшного не случилось. Прозрачные скорлупки величиною с пятак выгнулись наружу и выпали из-под век. Они тонкими лепестками легли спорщику на подставленные ладони, а на Саньку глянули как есть земные, только глубокие и жёлтые зрачки. Они тут же наполнились неопишным удивлением и даже испугом. Руки дрогнули так сильно, что гибкие скорлупки на ладонях подскочили, блеснули в свете лун и порхнули за предел настила, прямо на землю... Рот оборотня разошёлся трубою, но в этот момент всё видимое растворилось, и на помосте вновь образовалась Явлёна да с нею Шайтан. Дьяволица опять взялась толковать, теперь о только что виденном.

— Спорят, — объяснила она и без неё понятное. — Никак не могут определить, где я укрылась от них. Если они и додумаются до этого, то без моей помощи сумеют добраться до Земли не очень-то скоро. Ну, а ты — прямо молодец! Ты даже, по-моему, дышать перестал. Страшно было? Ничего, ничего. Это мне понятно. А опасность и на самом деле была велика. Видишь ли, — тронула она рукой своё ожерелье, — это моё недавнее и совсем новое измышление. Оно не совсем мною испытано. С ним я надеюсь натворить много дел. Сама-то я в нём ничем не рискую, а вот того, кто рядом со мною находится, могут ждать большие неприятности. Я ещё не знаю, можно ли со стороны видеть его действие — другой раз попробуем. А пока... прости, что я рисковала тобой. Мне так хотелось похвастаться своим умением... А теперь — я устала. Пойдём вниз. Я отпущу тебя к твоему Никитку. Парнишка ни в какую не хочет признать меня своей матерью, а действовать на него силой я не хочу — больно мал ещё. Андрона ж, понятно, в

теперешнем её виде не настроена показываться сыну. А Володей – увы! Не знаю даже, что мне с ним делать? Оставить таким – самой мало приятного. Отпустить его на болото – тебя жалко. Утонет. А вдруг мне придётся покинуть землю? Андрона-то сможет принять свой прежний вид, а ты навек останешься с Володеевым разумом. Это будет невыносимо! Лучше уж ничего трогать не надо. Пусть пока Володей живёт, а потом видно будет, Андрона всё знает, она за ним досмотрит. А ты ступай к Никитку – вторые сутки парень один...

Ещё договаривая, дьяволица уставилась своим огненным взором в самую середину белого настила. Скоро под её ногами что-то загудело тихо-тихо и вся белая площадка пошла разъезжаться на сторону ровными клиньями.

Под настилом-перекрытием отворился такой же круговой простор. Он уходил в глубину ступенчатым уклоном, который был рассечён несколькими проходами. Каждый проход упирался торцом в тупиковый срез, в коем виден был овальный проём, задвинутый наглухо ровной загородкою. Все обустройство нутряное сияло белой чистотой и само по себе светилось неброским светом...

Пока Санька тянула из-за куста шею да хлопала успевшими устать от удивления глазами, Шайтан с Явлёною сошли с перекрытия на ступеньки. Потолочные клинья разъёмного настила, по мере их опускания, взялись опять сходиться, и вот уж они примкнули один к одному. Снова перед Санькою под лохматыми, неземными лунами забелела гладкая пролысина лобного места.

Теперь прятальщица, в грязной одёвке своей, с ободранными коленками вольна была выбраться из укрытия. Она маленько размяла затёкшие руки-ноги, потом присела на краешек настила, принялась мозговать...

О возврате в деревню да за людской бы помощью не могло в ней образоваться даже самой малой думки. Смешно было надеяться, что селяне так вот просто поймут и доверятся её рассказу. Скорее всего деревня взбулгачится и на этот раз, наверняка, признает Саньку полной сатаной. И тогда уж ничем ей не сумеет помочь Куманям...

Нет, конечно. На люди ей теперь и показаться не моги. Только как же ей одной, хотя и задиристой, и неустрашимой, однако такой махонькой, такой безыскусной, совладать со всеильной дьяволицей?

Поднырнуть под белый настил она сразу не додумалась. Может, внутри ведьминого логовища она бы, по ходу дел, до чего-нибудь и додумалась бы. Но страшно попасть Явлёне на глаза...

«Глаза, глаза! – спохватилась девчоночка. – Они, должно, у дьяволицы точно такие, как у оборотней – вставные? Интересно, куда беспокойный спорщик-то уронил скорлупки свои? Вроде бы они в траву порхнули. Надо поискать...»

Санька опустила на колени и приступила осторожно раздвигать стебли высокой травы. Она ряд за рядом отглаживала их на сторону, основательно проглядывала пробор, сама себе думала: «Ишь, чего захотела! Так вот он тебе прямо и подкинул свои колдовские гляделки. Подставляй подол!».

Подтрунивала так сама над собою искуха, но траву разводить не бросала. И на один, и на другой, и на третий раз перечёсывала она её на все бока. Делать-то Саньке всё одно было нечего.

А ведь как вы думаете – и нашла! Ей-бо, нашла! Да вот же они, вот! Рядышком засветились в три луны, будто возликовали, что не придётся им пропадать на болоте впустую.

Санька приняла те лепестки прозрачные себе на ладонь, почуяла – тёплые! Вроде живые. Струсила сразу приладить их до своих глаз – вдруг да прирастут! Куда она потом с ними? Но скоро поняла, что и без них она – никуда. И вдруг ей стукнуло в голову: не случайно всё-таки оказались эти чёртовы снасти за пределом настила – подкинута! Безо всякого смеха – подкинута. С добром подкинута. Потому как за что бы Явлёниным супротивникам желать Саньке беды? Выходит, что бояться этих скорлупок особенно не стоит...

Интересно: мог бы кто из других ребятишек до такого додуматься? А Санька додумалась. Она даже сумела себе обрисовать в уме, как спорщик желтоглазый нарочно выпустил скорлупки из ладоней.

Ну, девка! Ну, Выдерга!

Чтобы не успеть ничего передумать, Санька заторопилась. Она быстро подвела край одного лепестка под верхнее веко, а уж под нижнее он и сам привычно лёг. Очень даже ловко устроился шельмец! Со вторым приладом Выдерга справилась и того ловчее...

Никакой видимой перемены, при новых глазах, Санька на болоте не обнаружила: луны остались лунами, настил настилом, а заросли зарослями. Перемена оказалась в другом. Гляделка услышала зали-

вистый голосок укрытой чащею птахи. Услыхала она голосок и подумала: «Откуда такая певунья? Не водится на наших болотах столь славных щебетух».

– Эй, эй, – тут же разобрало её озорство, – лети ко мне. Дай на себя глянуть.

И вот на это, на шутливое её приглашение, взяла да выпорхнула из ветвей та самая, золотая пичуга, которую девчаточка заприметила ещё на подходе сюда. Стоило только Саньке протянуть ладонь, как щебетуха с полным доверием определилась на ней и прям-таки зашлась трелью...

«Угодничает, – поняла безо всякого удовольствия Санька. – Фу, как противно! Все тут, видать, невольники Явлёниной чертопляски!»

– Лети! Ну тебя! – сказала она певунье и стряхнула угодницу с ладошки. – Некогда мне с тобою...

Пичуга упорхнула, и Санька поняла, что новые глаза кроме лишнего слуха дали ей ещё и умение командовать, как Явлёна, чужой волей.

Однако же покуда касалось её умение только мелкого живья. А вот послушается ли её приказа перекрытие сатанинского логова – это вопрос.

Слава Богу, за такую проверку не надо было далеко идти. Без долгих колебаний Санька вбежала босыми ногами на белый настил, по тонким лучикам сомкнутых граней нашла его середину, уставилась в неё и... всею волею души своей приказала:

– Отворяйся!

Перекрытие послушно загудело и пошло... Пошло разъезжаться на стороны знакомыми клиньями...

Хотя и надёжно дьявольское гнездовище было отрешено от людского внимания провальной топью да непроглядным туманом Куманькова болота, однако же творить свои сатанинские затеи Явлёна решалась пока лишь только потёмками...

Теперь, по Санькиным прикидкам, самое время выбегать над древнею шустрому да крепенькому, с востока горячему июльскому солнцу, пора звенеть под размашистыми нырками литовок росным на луговинах травам, в ржанных полях время перепелам просить «пить-подать»... А тут, во вражьем этом, подболотном уюте даже от белых стен бесконечно голого, бесконечно вихляющего длиннотой

своею прохода тянуло мягким, глубоким сном. Ту же самую дрему таил в себе и чёрт знает откуда исходящий, еле живой свет.

Саньке казалось, что сама она давно уже спит, только новые её глаза дают ей силы не упасть, не свернуться под стенкою калачиком, не засопеть довольным носом. Они заставляли ноги шагать и шагать, и этому шаганию, похоже, не было предела...

Одна за одной, по обеим сторонам прохода, перед упорным Санькиным взором охотно раздвигали свои плотные задвижки овальные проёмы. Они беспрепятственно позволяли озирать сокрытые внутри покои, приглашали войти, осмотреться. А и было чему там подивиться, на что рот разинуть: одним только пересветьем разным, обдающим Саньку то беспричинным блаженством, то неуместной кручиною, то восторгом, можно было потешаться хоть целый год. Да вот только не смела девчоночка переступить высоких дверных порогов. Больше всего пугала её беззаконность тех покоев. Она напоминала Саньке кладовуху в тёткином доме. Так что боязнь её была оправдана прежней неволею...

Отворялись перед Санькою и такие покои, где, безо всяких фокусов, можно было просто посидеть, полежать, разные картинки на стенах поглядеть. Но и понятной простотою не могли они заманить Саньку в своё нутро... По всему чувствовалось, что дьяволица устроилась в болоте распрекрасно и надолго. Одно вызывало полное недоумение: неужели Явлёна с таким огромным хозяйством управляется в одиночку?! За всё хождение ни единая живая душа ни радостью, ни испугом не отозвалась Саньке. И даже лёгкой тенью не промелькнуло нигде никакое дыхание...

Тогда Санька стала подумывать: уж не разглядывает ли она то, чего на самом деле и нету? Может, хозяйка логова образовала тут одну лишь видимость, на случай появления такой вот доверчивой дурехи? Получалось, что видимость надо было всё-таки осознавать на ощупь. Тогда и пришлось Саньке переступить высокий порог.

Она очутилась в окружении довольно просторного, очень занимательного сада. Снизу, из-под каких-то мудрёно завитых решёток, под которыми серебрилась чистая вода, не только по стенам, но и по потолку всползали-цеплялись за ловкие выступы разные там вьюны да повилики. Их долгие плети, унизанные густотой листьев, свешивали где лопушистые, где метельчатые, где в стрелку выведенные цветения.

Во всей пышности лепестков копошились да посвистывали забавные птахи, вспыхивали недолгими огоньками какие-то иные порхуны. В стороне, у одной из торцовых стен, вделанное прямо в пол голубело огромное корыто, полотенце висело на блестящей перекладине. Оно было ещё мокро. Кто-то недавно тут мылся. Интересно! А противоположная стена оказалась совсем голой.

Когда Санька подошла к ней, то поняла, что она покрыта точно такой же ровной, мерцающей белизною, как верхний на болоте настил.

Вот теперь-то ей совсем нетрудным делом оказалось понять, что эта лысина, среди остальной пышности, образована тут не без умысла. Похоже, что Явлёна не имела крайней нужды подниматься всякий раз на болото, если ей было желательно вызвать тени её однородцев. Должно быть, ей прямо из этого сада удавалось и подсмотреть и подслушать своих противников.

«Ой, да как хорошо бы, – подумалось Саньке, – взять да вымануть оборотней из поднебесья, тех, которым не терпится отыскать болотную эту диву. Оно бы небольшая беда самой пострадать при этом, лишь бы лысоголовые посчитались с ведьмою, утрясли бы с нею свои дела...»

Так мечталось Саньке, хотя понимала она, что без дьявольского ожерелья ниоткуда никого не заманить ей сюда, не дозваться. Да и не сама ли Явлёна доложила на болоте Шайтану, что, покуда владеет она своим проклятым ошейником, никакие мировые страсти ей не страшны...

И всё же Санька, из простого упорства, попросила стену:

– Покажи, а! Чо ты умеешь делать?

Знакомыми искрами ответная белизна стены вспархивать не стала, она взяла и просто засветилась сплошным, ровным светом.

Засветилась и сделалась насквозь проглядной. И увидела просительница по ту сторону стены да непролазную, болотную топь. Чёртова каша почти рядом с Санькою пузырилась, расходилась ржавыми кругами, лоснилась плешинами маслянистой грязи... А этак шагах в двадцати в глубине видимого проглядывалось упрятанное в густых камышах низенькое, маленькое такое, странное жилище. Перед его овальной опять же дверью девчатка различила косматого, грязного человека. Он сидел как-то по-собачьи, на коленках, упершись руками

в землю, и тяжело дышал, будто бы только набегался. Санька пригляделась к нему и со страхом признала Володея. Тут из низенькой постройки показалась хотя и чужетелая, но понятная теперь Андрона. Она, в гадком своём обликии, присела на порожек, откинулась безволосой головою до кромки дверного проёма, и по бесцветному её лицу покатались быстрые слёзы.

От жалости в Саньке зажмурилось даже сердце. Кровь ударила в голову с такой болью, что она не сумела от неё опомниться сразу. Когда же пересилила её, по ту сторону стены образовалась уже иная картина. Там, по мягонькой среди болота лужайке, со смехом носился Никиток. Он, понятно, радовался Шайтану. Да и сам пёс, довольный, знать, встречу, забыл на время о своём положении – дал волю короткому счастью. Он и ползал, и скакал перед Никитком, и валился лапами кверху, и вдогон за парнишкою пускался и нарочно не мог поймать удирающего... А тот заливался неслышным хохотом, что-то кричал Шайтану, размахивая руками...

Чуть поодаль от их веселья виднелась такая же точно постройка, какую видела Санька при Володее с Андронкою...

А вокруг и того горя великого, и этой временной радости верным приставом стоял густой болотный туман. И очень даже было понятным, что к одиноким этим приютам нету никакого земного доступа; проходы к ним из дьявольского гнезда ведомы только лишь Явлёне. Вот когда Санька простонала в упадке духа:

– Никиток, Шайтан...

И вдруг! Да оба разом игрушки замешкались, замерли, насторожились...

Санька не поверила стати – приняла за совпадение. Повторно сокликнула встревоженных. Шайтан на её призыв заметался по лужайке, Никиток постоял-постоял, ляпнулся животом на траву и заревел.

Тогда Санька, и сама готовая удариться в слёзы, кинулась на стену, заколотила в неё кулаками, закричала:

– Пусти! Пусти меня!

Белая преграда послушно загудела и пошла собираться гармошкою на одну сторону.

Крикуха же, пылая нетерпением, поспешила протиснуться в совсем ещё малый проход, но... никакого Никитки, никакого Шайтана по ту сторону не обнаружила. Там, на удобной, чистой постели,

спала дьяволица. Она дышала глубоко и безмятежно. В такой покой уппадают люди, которые верят в то, что долгий их сон не может быть никем потревожен. Даже рот у ведьмы, как у простого человека, малость был приоткрыт. И точно так же, как у деревенской щеголихи любезные ей причиндалы¹, рядом с Явлёною, на придвинутой до постели плоской подставке, покоилось колдовское её ожерелье. Кроме него, налитая водой, тут же серебрилась чудной работы посудина. В ней плавали скорлупки приказного да слухового зрения...

Санька всегда была неоглядкою, а тут её ровно подменили. Она даже сама не услышала, с какой осторожностью двинулась до подставки...

Первым делом она нацепила на себя чертов ошейник, чтобы и ей не грозила никакая беда, затем она выбрала из воды глядельца, увязала их в край порванной юбки своей – про запас, после того отступила подальше от ведьминогo сна, нацелилась на полоротую зеркалами и приказала:

– Просыпайся, паразитка!

И сразу же приказчица увидела то, чего больше всего хотелось увидеть: веки сонной дрогнули и оголили жёлтые зрачки во всём остальном обычных глаз.

– Ну, чо вылёживаешься?! – совсем осмелела Санька. – Поднимайся давай! Накуражилась над добрыми людьми – хватит! Мы тебя сейчас на расправу, в деревню поведём. Всё расскажем! Наш народ не такой уж дурак, чтобы не понять твоего злонамерения. Он с тобой чикаться не станет...

Пелену ведьминой сонливости одним хлопком ресниц так и смахнуло с жёлтых зрачков. В страхе Явлёна уставилась на чумазую, голопятую грозницу да и взялась вдруг терять человеческую окраску. Потом нос её полностью завалился под кожу плоского лица, ресницы да косы Андронины развеялись в дым, тонкой ниточкой растянулись губы, на боковинах набухшей шеи зашевелились жаберные решётки...

Санька уже видела такие страхи...

Однако ведьма начала медленно подниматься с постели, растопыривая руки, начала пыхтеть – пугать. Но и эти фокусы не прошли.

¹П р и ч и н д а л ы – украшения, уборы.

Санька не то чтобы рассмеялась, а так – фыркнула. Нашла, дескать, чем меня взять. Тогда лысая нечисть трубою распахнула рот – собралась, видно, сказать что-то. Но в этот миг грянул такой раскат грома, что, спасибо, ноги Санькины не подкосились! Гром тут же перешёл в скрежет, треск, вой, свист...

Куда там вытерпеть!

Девчонка в ошейнике своём в три голоса заорала и о ведьме забыла – спастись понеслась...

Было похоже, что по дьявольскому логову резануло такой молнией, которая расхватила его стены на несколько частей и теперь болотная тяжесть доламывает всё остальное. Она сопит от натуги, стонет и охает, ползёт во все щели, ломает преграды и вот-вот поймает Саньку за голые пятки...

Покуда голопятая на крыльях ужаса взлетала вверх, она не ображала, что же творится на самом деле, а когда увидела болото в прежнем покое, тут и вспомнила, как ведьма говорила Шайтану, что земные нервы не вынесли бы голоса её однородцев.

Ах, вот она штука-то какая!

Это ж лысая нечисть из утробы своей поганой такую грозу выпустила. Решила её сразить наповал. Кого? Саньку? Выдержку?! Хотя понятно: где ведьме было знать, что Санькины голопятые ноги уже не раз и не два выносили хозяйку из неминуемой беды...

Санька замолчала, обернулась на ведьму, которая со ртом трубою избегала на сходящиеся клинья настила, велела ей строго:

– Заткнись ты, полоротая!

Ведьма захлопнула свою трубу, да, знать, не по Санькиному велению. Ей, должно быть, самой надоела её сатанинская песня. Понятным это стало потому, что Явлёна не остановилась на её приказ. Она напрямиком, через сомкнутый настил, направилась до растерянной Саньки, полная намерения овладеть своим добром. На неё больше не действовали никакие сторонние веления. И в страшной улыбке чувствовалась полная уверенность, что неволя не грозит ей. Потому и наступала она неторопко, с ленцою победителя...

Затянула сатана своё удовольствие, перемедлила...

К той поре, как дошлепать ей до края настила да протянуть к Саньке длиннопалые руки, та уже успела всё для себя решить – будь, что будет! И нет, чтобы попятиться от насильницы в кусты, Санька прыг-

нула вперёд, сшибла ведьму на площадку и... наугад, быстро-быстро, стала нажимать на самоцветы проклятого ошейника...

Ой, что тогда завязалось на болоте! Какая потеха поднялась!

Налетела на зыбуны чёртова свадьба! Ветрище! Грязища! Дождище! А темнища! А вместе с туманом закрутило над топью повыверганные с корнями кусты, деревья... Да крики в темноте, да вой нестерпимый, да хрип... Господи!

Вот натворила девка беды!

Явлёну оторвало от настила и уволокло куда-то в самую гушу, вцепиться не во что! И чувствует Санька – поднимает её над зыбунами...

Крутануло девку над болотом, дало в бок волною шального ветра, зацепило за что-то подолом, рвануло, дальше понесло, а там и шмякнуло о тряское место. Да, слава Богу, что срослый пласт моховины только сильно спружинил, но не продрался – выдюжил. Лишь полная люлька насочилась воды и окупнуло Саньку с головой.

Да это уже разве беда?

Утро-то не октябрьское – июльское. Остуды девка никакой не подхватила. Особенно-то даже и не заметила она своей купели – задивилась на то, что над нею голубеет бестуманное небо, а где-то рядом, в знакомых камышах, покрикивает суетливый зуёк. Вот он и комаршкола – волчья порода, мухатый бес – штык наперевес...

Санька ловить его не стала – просто шлепка дала. Сама села в люльке своей, заулыбалась утру, как проснулась только. Глаза протёрла... а колдовских гляделец-то на месте нет! Посеяла где-то в потехе.

Это уж никуда не годится!

Тогда Санька за юбку-то за свою – хватъ. Но и запас её остался в былом. Это когда её, видать, оторвало от зацепки. Один только ошейник на ней холодит шею...

А ведь Кумани-то? Они же все на болоте остались! Кто скажет Саньке, что с ними натворила вся эта чертопляска? Да и как ей воротиться в деревню одной?

Санька тык, тык в камушки пальцем, а они не действуют. Вот беда! Девчоночка даже заплакала.

Только чего реветь-то? Её удача на слезу не клюёт.

Поднялась. Из моховины выбралась на близкий болотный край. Взялась ожиной продираться до того места, где ночью за Шайтаном входила в зыбуны. Надо ещё оберегаться, чтобы кому из деревни на

глаза не попасть. Поймают теперь – убьют! А тут, как на то зло, голова впереди.

Затаилась Санька в колючках, ждёт.

А Шайтан-то её учуял!

На то ведь и собака.

Да как лай поднял. Да в аршин от земли прыгать давай! Да волчком, да волчком...

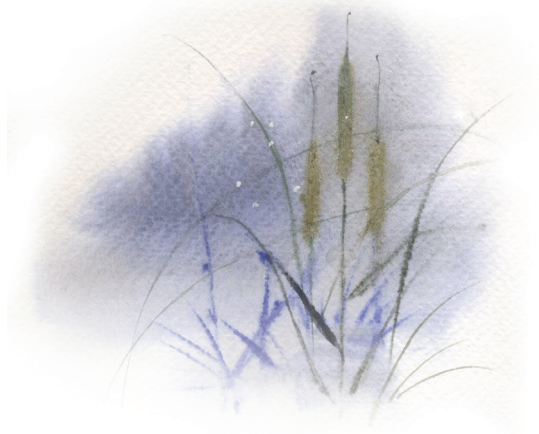
И Володей, и Андрона, и Никиток, и сама выручательница – пока дошли до дому, нахохотались все до седьмых колик...

Что ожерелье? Да пригодилось!

Камушки из него шибко пособили и Куманям в другое место переехать, и Свиридам, ими с собою взятым, хорошо дожить, и главное, Саньке – до неё уже никогда не смогли дотянуться дурные руки.



БЕРЕГИНЯ



Ступай чёрным бором,
плешатым утором,
болотом мочажным,
повалом корчажным,
медвежьим урманом,
куможьим туманом...
На сотый денёк увидишь пенёк;
долбанись разок –
выскочит лабзок¹,
с него и сказ проси,
а с меня – Господь тебя упаси...



Таковыми вот примерно шутками-прибаутками отнекивались, бывало, от надоедливой мелюзги деревенские сказоплётёты, когда те допекали их своими канючками. А случалось в прежние годы сказителей разных, считай, в каждой хатке по охапке, в каждой землянке по вязанке.

Шутка шуткою, а понимать потешки эти надо было так, что даже сквозное враньё и оно истиной кормится. Ведь ещё тогда, когда ничего на земле не было, правда уже была.

¹Л а б з о к, л а б з у н – угодник, потатчик.

Правдою, видать, и удерживалась в народе эта заповка, с которой заведён теперешний сказ.

За чёрным бором, за Плешатым угором, за сопкой Авдейкой, за рекою Улейкой, в дюжине верстах от Белояровки когда-никогда вёл годы свои изрядный скудельник¹ Леон Корнеич Самоха. Не в одни руки творил Самоха глиняные чудеса свои, не в одни глаза радовался им. И выходил он из гончарного сарая на чистый двор таёжной заимки своей, и небу улыбался, и шагал меж ёлок тропкою, что вела от заимки до старицы, поросшей по берегам резунами да таловником, тоже не один.

Не бобылём жил-бедовал Леон Самоха. При нём внук его Дёмка суетился, уму-разуму учился, делу сноровлялся. А дело у Леона Корнеича сызмолodu было налажено тонкое, со всеми хитростями перенятое от давно покойного Якова Самохи. С Адамовых лет² передавалось в их роду от старого к малому умение из белой глины – каолина выделывать чудеса. Те самые, которые после проковки да росписи колонковой кистью, обмакнутой в сурьмяную медь, да глазурью облитые, ценились купцами чуть ли не наравне с чистым серебром холоднойковки. Это о посуде. А что сказать обо всяких разных, из-под ловких пальцев выходящих мужичках хитрющих или там красавицах, обращённых якобы колдунами в полузверя, в полуптицу... Тут ценители в драку лезли – деньгу наперебой совали.

Творить такое чудо из подлопатной глины – дело мешкотное, прихотливое. Оно дурного глаза не выносит, уважает полный покой. Любит оно зарождаться во чреве тишины да умиротворения. Дружится с богатой выдумкой, со свободной игрою мысли...

Потому Самохи и утаивались на лесной заимке, которая сотворена была ещё Леоновым прадедом за названной рекою Улейкой. Заимка теснилась среди нетронутого сосняка-ельника, перемежённого где черёмушником, где березняком, где зарослями калины...

Извилистая тропа еловым подлеском провожала Самох до упомянутого ёрика³, заросшего по окоёму тальником. Там она выпускала их на луговину, которая хрящатым⁴ мыском вдавалась в сухорусло, отделяемое летами от основной реки песчаным перешейком...

¹С к у д е л ь н и к – гончар.

²А д а м о в ы л е т а – начало земной жизни.

³Ё р и к – старица, парусло, протока, сухорусло.

⁴Х р я щ – крупный с галькою песок.

Любили Самохи заимку свою и строго берегли от ненужного человека.

Тёплыми вечерами усаживался старый Леон со внуком на брёвнышко возле избы своей замшелой, непогодой осеннею либо вьюгой-завирухою придвигались они поближе к печному теплу и принимались один перед другим во всяких придумках скороваться¹. И нахохочутся, бывало, и наспорятся, и наудивляются тому, насколько извилисто может служить человеку его фантазия.

Не диво, что после таких вечеров Дёмке представлялось, будто бы знакомый лес полнился околдованными богатырями, кудесниками бородатыми, а в зарослях да буреломах шныряет пакостливая нечисть.

А вот ещё что представлялось Дёмке. Представлялось ему, что с наступлением потёмок, когда на земле засыпает даже караул, богатыри да царевны отряхивают с себя дневной сон и вступают в сокрытую от людского глаза борьбу с лихим племенем колдунов да чародеев.

Каждое приметное дерево в округе имело у Дёмки отдельное имечко. Столетнюю сосну на недалёкой от заимки елани² величал парнишка Авдотьей Микулишной; тонкую берёзку над закатным, крутым огибом сухорусли называл ласково Еленой Светозаровной; кедра могучного — стража урманного одаривал званием Богатыря Великаныча; молоденькую ж ёлочку на взгорочке окликал Алёнкой-сестрёнкой...

Тут у него был клён Семён, там рябина Катерина... Всякому дереву радовался парнишка, с каждым кустиком здоровался он ровно бы со старым товарищем, до любого цветка долетала его ласковая улыбка.

Вот, должно быть, за эту ласку, за это внимание к лесному народу и полюбила Дёмку Самоху суровая тайга. Ни разочку не напугала она друга своего малого, недорослого; не подстерегла она в чаще такого случая, когда легко ей было замутить голову отчаянному блукарю-мечтателю, каким был Дёмка. Не напустила она на него из чащи ни бродника³, ни ведника⁴, ни сергацкого барина⁵.

¹Ск о р о в а т ь с я — соревноваться.

²Е л а н ь — лесная поляна.

³Б р о д н и к — разбойник, бродяга.

⁴В е д н и к — колдун, нечистый.

⁵С е р г а ц к и й б а р и н — медведь.

Не вспомнилось бы Дёмке и такого случая, когда бы таёжная глухомань неумно позабавилась и над его дедом, Леоном стал быть Корнеичем. А ведь приходилось старому не только топтаной тропочкой от заимки до сухорусли бегать. Выпадала ему забота по дебрям непролазным, по волчьим лягам зверя стеречь, по болотистым рямам птицу поднимать. Доводилось и кедрачи поздними листопадами ходить обстукивать, и в клюквенных моховинах ягодку из-под ледяной накипи брать.

Как только Дёмка из Белояровки от деда на заимку перебрался, так его ко всем своим заботам и стал приучать Леон Корнеич, хотя парнишка путём ещё с палашного коня не соскочил.

– Ну дык чо ж теперь? До жеребчика тебя ли чо ли пестовать? – всякий раз приговаривал старый Самоха, когда приходилось ему ни свет ни заря поднимать с постели внука. – Привыкай, брат, мужиком быть. Привычкою-то человек, ровно закром, не с покрывки, а с донышка полнится.

На кишмя кишашую чёрногривым линём, пескарём да окунём Улейкину протоку также точно не отказывался старый лишний раз прихватить Дёмку. Тут и вовсе, ещё до вторых петухов¹, вынимал Леон Корнеич парнишонку из тёплой постели.

Словом, не позволял дед внуку налёживать скуку.

– Ленивому Кондрат² – кровный брат, – приговаривал Самоха над редким внуковым непросыпом.

Но как-то раз случилось такое, что Дёмка ото сна поднялся уже при полном свете. Пустым занятием оказалось тогда искать старого в избе, и в сарае, и по всему подворью. Нашёлся дед на протоке. Он занемело сидел на суковатой коряжине, которую весенним половодьем вынесло на хрящатый мысок, смотрел пустыми глазами в сторону крутого берега, что темнел над заилевшим омутом, и даже, как показалось Дёмке, не дышал.

Дедова немота шибко напугала в тот раз внука: ажно задёргал носом парнишка.

– Ну чаво ты всполошился? – оправдывался позже старый. – Чаво вспенился? Ить время ото времени ко всякому человеку приходит нужда побыть одному. Для души нашей одиночество всё одно, что

¹Первые петухи поют в полночь, вторые – до зари, третьи – с зарёю.

²Кондрат – кондрашка, паралич.

баня для тела. Пересиживать в ём, как в парилке, не след – угореть можно. А вот похлестать подлинность свою веничком продуманности – это человеку на пользу.

В то утро Леон Корнеич воротился со старицы просветлённым, ровно и в самое дело промытым изнутри. И весь день глядел он на мир такими глазами, вроде бы сполна постиг беспредельность его, а себя в нём осознал не последней пылинкою.

Тогда и Дёмка до самого вечера видел вокруг себя одни только цветы да росные звёзды.

А вот вечером... Вечером Леон Корнеич не удержался, признался:

– Нонче поутру я в такую думу ушёл, что прислышалась мне песня. Ой, какая колдовская! Спасибо – ты прибежал: мне бы самому от неё не очухаться. Смерть, видно, меня зовёт...

– Не ходи больше на парусло один, – попросил тогда Дёмка.

– Не пойду, – пообещал старый.

Однако ж на другой день Дёмка опять пробудился в сиянии спелого утра. Он спешно кинулся в порты и босым галопом покатил в сторону ёрика. Да не успел он и через прясло перемахнуть – вот он, Леон Корнеич. Катит старый от руслища обратно, несётся, прямо сказать, на семерых трусливых...

Подслеповатый Самоха только сблизил разглядел внука. Тут он и опомнился, что молитву читает, но не крестится, а лишь клюёт себя в серёдку груди тряскими перстами.

Осознавши несуразность вида своего, Леон Корнеич вильнул на тропе – хотел было в густом подлеске испуг свой укрыть. Но сообразил, что он уже пойман острым глазом внука, потому остопился, перевёл дыхание и засеменял до заимки напрямиком. На все Дёмкины вопросы он долго пожимал плечами, вроде не понимал, что хочется тому от деда узнать. Дома Леон Корнеич сразу же сунулся заняться привычным делом, да руки хозяина подвели. Взамен давно задуманного им хитреца-скомороха они, тряские, вылепили ему какую-то фигу, а потом и вовсе опустили. Тут старый вспомнил, что с вечера не пил квасу; и ковшом-то не очень полным почерпнул он из дёжи клюквенки, но лишь оплескал на себе рубаху.

Тогда уж Дёмка взялся теревить деда:

– Ты чего это? А? Кто тебя?!

– Никто, Дёмушка, никто. Ей-богу.

– Нешто утопленника на старице узрел?

– Никого не узрел, – даже осерчал Леон Корнеич, но, подумавши, всё-таки признался: – Хуже, Дементий Силыч. Хуже! Вчерашняя песня, оказывается, не во мне звучала.

– А в ком?!

– Так вот, понимаешь ли: вроде бы что и слышалось, а вроде и рассказать не о чем. Вишь какая штукавина получается...

– А что слышалось-то, дедуня?

– А то, внучок, чего и быть не должно. Верь, не верь, а послышалось мне, ровно бы малое дитё из-под воды в омуте плакало. Не ором орало, не захлебывалось в крике, а тоненько, жалобно так: у-у, у-у... Похоже, забилося оно куда-то в илистую глину и выстанывает там тяжкую обиду свою. Поначалу-то я стон опять было за песню принял, а потом разобрался. Подумал ещё: может, нечистый ребятню из Белояровки на старицу за лёгкою рыбою пригнал? Может, она мне, пугая, пение-стоны разводит? Я и полез в рогозник¹. Хворостину выломал. Да только зря армию комаров на себя поднял. Воротился на мысок, сел опять на каршу² – плачет! Ещё слышнее прежнего. Вот когда меня морозом и продрало. Понял я, наконец, что ребячьим голосом стонет омутовая глубина! Что же это такое? Уж не водяной ли зовёт меня к себе?!

– Почему ж он тогда ребятёнком плачет?

– Кто его угадает? Должно, надеется, что так жальчее.

– Водяной кошкой орёт, – убеждённо заявил Дёмка и стал гадать: – Может, берегиня какая, русалка, в нашем ёрике поселилась? Может, её половодьем с верховья принесло...

– Берегиня больше хохочет.

– Дай сбегая, послушаю, – сорвался было Дёмка слетать до парусла.

Но Леон Корнеич застрожился:

– Я те побегу! Я те послушаю! Начирикал заботы, – тут же посетовал он на себя. – Кто меня за язык тянул?

Дёмке же он не забыл повторить:

– Только вздумай... побегу мне! И вообще... На протоку – ни ногой! Понятно?!

¹Р о г о з н и к – камыш.

²К а р ш а – коряга.

Ясно, что понятно. А то как же? Ведь кабы да не ад, так был бы и с чёртом лад...

Вот с этим ненастным согласием, с этим слякотным послушанием и протащился Дёмкин день до самого заката. Вымотанный никчёмными делами, завалился тот день во мшаник¹ густых сумерек. Заботливая ночь, дабы не тревожить покой изнемогшего, пологом облаков задёрнула небеса. Звёздам велела она не больно-то высовываться наружу, не больно-то выпяливать красоту свою, чтобы завистливой неясности не вздумалось ухачь посреди тишины, углядевши в глубине парусла их отражение. Да чтобы ревнивая выпь на дальнем болоте не взялась кликать блудливого лешего, принявши спросонок звёздный ответ за хоровод озорных шутовок²...

От осторожности такой даже луна, ещё на днях медовая, спелая, ссохлась на небе какой-то обкусанной плесневелой краяхою. Когда же она, робкая, посмела заглянуть в оконце самохинской избы, когда разглядела в умиротворённой дедовым похрапыванием темноте несонные Дёмкины глаза, то и себе давай строжиться. Не на звёзды – на парнишку. Чего, дескать, тебе не спится?! Уж не замыслил ли ты среди ночи на старицу бежать? Смотри у меня, парень! Не то возьму да и высвечу для тебя на протоке то, чего и в самом деле никак не может быть на земле...

«Ну вот. Ещё одно пужало, – в свою очередь подумалось парнишке о луне. – Саму-то вон как со страху сжулькало. А я не боюсь! Мне только деда всполошить жалко, потому и жду, когда он хорошенько уснёт. Счас-ка встану... пойду... не струшу...»

И ведь поднялся пострелёнок! Поднялся. По избе, по сенцам – на цыпочках... Вышел на погоду...

А луна!

Луна, оказывается, по-над сопкой Авдейкою только что восходила. Потому-то она из-за рубчатого края тайги и показалась парнишке такой обглоданной. А тут она образовалась перед Дёмкою крутобокой красавицей, которая так и расплылась перед его храбростью в полной улыбке. Будто бы и не луна всплыла над заимкой, а глазурованный мятный пряник. Очень уж, видно, ей понравилось Дёмкино упорство.

¹Мшаник – клеть, амбар, сарай.

²Шутовка, берегиня – русалка.

Кроме того, хозяйка ночного неба успела когда-то светом своим растопить облачную завесу, успела и на земле прояснить среди подьельника извилистую тропку. Вот и повела она, заторопила отчаянного парнишонку до ночной старицы, заказанной ему Леоном Корнеичем для наведывания даже среди бела дня.

Вот луна осторожно выпустила Дёмку из-за ёлок на хрящатый мысок, вот довела его до суковатой на берегу карши, вот спрятала его в тени той коряжины, наказавши внимательно слушать затаённую ночь. Сама тихонечко поплыла дальше, будто бы до ёрика ей нет никакого дела.

Вот Дёмка сидеть, вот ждать... Ни над водой, ни под водой... Тишина мёртвая. Разве что коростелёк в метляках¹ спросонок присвистнет, либо коровашек-раakitник² жалобно забормочет во сне, вспомнивши, до чего же глупо упустил он пойманного днём мотыля.

И вот как бы предрассветный туман занялся над старицей; даже не туман, а марево. Оно и с воды-то путём не поднялось, а выставилось светлой дорожкой по ёрику... или в глубине его? Не понять. На лунное отражение не похоже. Да и при чём тут луна? Она плывёт вовсе по другую сторону парусла...

Должно быть, что-то происходит-начинается?!

Потянул Дёмка из-за коряги шею – разглядеть наваждение, и тут полоснуло его по глазам лучом ослепительного света. Парнишка от неожиданности за каршу завалился. Проморгался чуток и опять выглянул из-за укрытия – световой дорожки уже не было на воде. И вообще кругом стояла полная ночь, поскольку луна и себе с перепугу завалилась за облако. Но вдруг! Плеснуло... Прямо на середине старицы. Вроде кто из камышей невидимой рукою запустил туда увесистый камень.

А под водою опять огонь факелом засветился.

Вынырнул факел тот на поверхность, маяком лучистым повёл по резунам, по раakitникам, по хрящатому мыску... Вроде бы хозяин того света желал досконально оглядеть ночной берег, чтобы не случилось помехи, если ему понадобится выбраться из глубины на сухое место.

Затем огонь опять погас, погрузившись в глубину.

Свет его взялся мерно двигаться, определяя кому-то путь прямо

¹М е т л я к – метельчатый камыш.

²К о р о в а ш е к, к о р о в а й к а – кулик.

до хрящатого мыска. За ним следом по поверхности ёрика вскипел бурунок.

Дёмка перестал дышать.

Водяной?!

Дьявол?!

Шутовка?!

Кто?!

Что делать?!

Дать стрекоча? Но Дёмка давно мечтал увидеть потаённую жизнь ночной тайги. Потому он бежать и не дёрнулся, а только прилип до коряжины, ровно блин до непрогретой сковородки.

А бурунок, в свете робкой луны, всё кипел, всё пенился...

Допенился бурунок до мыска, приутих, сравнялся с водою и огонь погас. Однако ёрик никакого водяного на песок не выпустил. Дёмка увидел совсем иное чудо: перепончатая, огромная лягушачья лапа высунулась из воды и осторожно выложила на галечник шутовку, длиной в аршин, похожую на железный пест, который был увенчан блеснувшим набалдашником. В это время пискнул в резунах коровашек-ротозей, реванула на болоте выпь, на высокой сосне лупатый филин ухнул от изумления и захохотал клёкотно на всю округу. Лапа дрогнула, унырнула в глубину.

А Дёмка?

Словно лихой порыв ветра подхватил парня на крыло своё и единым духом доставил его на заимку.

Уже из оконца избы, уже маленько отдышавшись, уже чуток одумавшись, увидел парнишка на небе во весь круглый рот хохочущую над ним луну, упал ничком на свой топчан и расслезился.

Вот тебе на! Был, говорят, герой, да убит кобурой... От Дёмкиного хлипа пробудился на припечике Леон Корнеич. Поднялся, босо дошлёпал до внукова лежака, тронул парнишку за плечо.

– Проснись, Дёмушка, – сказал полушёпотом. – Пробудись. Ты чавой-то расхлюпался? Сон ли дурной до тебя пристал?

– Пристал, – вроде заспанным голосом соврал Дёмка и далёк взялся сочинять: – Вижу во сне, будто на нашем ёрике огонь под водою плавёт; будто бы кто факел запалил и до мыса направляется. А я за каршою, на берегу будто бы прячусь и всё вижу. Подплывает водяной... волосатый! Космы на башке с тиною перепутались. Глазищи

во! Горят. В одной лапе железная палица, другой воду загребают... Лапы зелёные, как у лягушки. Подплыл до мыса и выложил палицу на песок. А тут филин... да как захохочет... Я и заревел.

– Напужался?

– Небось напугаешься, – не стал Дёмка отнекиваться. – Он ить прямо над головой... да как ухнет! А потом и закатился...

– Это я – старый сверчок, виноват, – опять затосковал Леон Корнеич. – Наверещал сглупа страху. Разве ж могла омутовая глубина ребятёнком или ещё кем куликовать? Это же во мне самом старость моя плакала. Из-под воды-то никакой водяной не сумел бы голосу подать. Ему для голосу пришлось бы в камышах сидеть. А ведь я тогда всю урёму¹ обшарил. Никого на парусле не было. Старость моя плакала...

– А вдруг да не старость? – затаённо, точно его сумел бы кто-то услышать, прошептал ответно Дёмка. – Ведь мне всё как наяву представилось.

– Ну тебя, – осерчал Леон Корнеич и стал заверять: – За каким дьяволом водяному тут объявляться? Наше сухорусло больно мелко для него. А ежели омут, так он давно топляком забит. Туда и карасю-то доброму не пронырнуть. Негде ему тут гнездо заводить, негде. И русалкам тут никакого раздолья нету.

– Может, погостить прибыл? – не мог сдаться Дёмка.

– И гостить ему тут негде, – отрезал Леон Корнеич. – Что ты привязался среди ночи со своим водяным? Сон это, сон и есть. Мало ли кого он тебе подсунет, – вовсе забыл Леон Корнеич, что водяного Дёмке «подсунул» он сам. – Давай теперь перетолковывай всё наживо. И вообще... Нету никаких на земле водяных, никаких русалок. Всё это одне только бабьи сказки. Нам, мужикам, не пристало ихними мерками каждую недоумку мерить. Я на ёрике живу с той самой поры, когда сухорусло наше ещё рекой выгибалось. Теперь и сам я скоро песком да илом затянусь, а чтобы из ёрика нечисть какая выскакивала да гонялась за мной – не было такого, и нет, и не будет, и спи!

– Ну ведь плачет. Ты же сам слышал.

– Чтоб тебя мухи заели! – не утерпел дед. – Плачет. Плакать может и ключик, – вдруг придумал он и обрадовался своей придумке. – Может, родничок открылся на ёриковом дне. Вот и хлюпает, пузырится.

¹У р ё м а – густые заросли вдоль берегов.

Надо будет поутру оглядеть досконально всё парусло и всяким страхам положить конец. А теперь давай досыпать.

Утром Дёмка путём ещё и не проснулся, а уже принялся размышлять, что перепончатая лапа на старице и огонь подводный – всё это и на самом деле могло привидеться ему во сне. Но подумать только, до чего же отчётливый сон. Однако дедушка прав: не мужиково это дело – верить во всякие небылицы. Сейчас вот он проснётся окончательно – и всё вокруг него по-прежнему окажется понятным и надёжным. Сейчас разбудит он Леона Корнеича, похрап которого чуть слышно трепещет в сонной избе; сейчас они соберутся с дедом и пошагают на парусло – глядеть ключик. Где вчерашним буруном вскипит вода, там он и открылся – родничок. Устроятся они на суковатой карше, станут глядеть на певучий бурун, потом Леон Корнеич запоёт тихонько на тёплую погоду, на ясный восход, на спокойный среди тайги ёрик. Запоёт очень даже молодым голосом:

Круто моё поле,
круто, невелико.
На нём ягод много
и спелых, и зрелых...

Дёмка подхватит тоненько, звонко. Будто прошьёт чистую холстинку дедовой песни золотым шнурочком:

И спелых, и зрелых,
сладких, духовитых.
Как по тому полю
красна девка ходя,
красна девка ходя,
землянику щипля...

Придумывает Дёмка в полусне скорую радость хорошей песни, только взамен красной девки на земляничном поле видится ему Улейкино парусло, в приглядной же глубине его – зелёнолапый да всклокоченный водяной. Нехристь этот совсем по-ребячьи трёт кулаками глаза, хнычет, взглядывает из-под воды на Дёмку, шевелит толстыми губами – что-то хочет сказать парнишке. Вот уж Дёмка вроде бы и слышит стонливый голос его: ску-ушно-о... При этом водяной тянется к поверхности ёрика пальчатой лапою. Парнишка вздрагивает и окончательно просыпается, даже похватывается на топчане.

В хатёнке ранняя зоревая смурь. И без того, при единственном оконце, робкая, она ещё занавешена старой дедовой рубахой; за рубахой – скорое летнее утро. По оконному стёклышку ползёт мотылёк. В глупой надежде прошибить стекло, чтобы вырваться на простор, он время от времени вспархивает, быстро колотит по стеклу крылышками. Этот трепет Дёмке больно знаком. Его-то он и принял спросонок за дедово похрапывание.

Ещё не позволяя себе поверить в обман, парнишка осторожно ловит мотылька, заключает его в горсть, чтобы во дворе выпустить на волю, и только потом различает в смурной избе, что Леона Корнеича на припечке нету. И это уже никакой не сон.

Дёмка не бежит, Дёмка выстреливается из избы. Ему некогда глянуть, куда летит с его ладошки мотылёк. Он несётся на сухорусло с такой быстротою, будто Леон Корнеич, не сказавши, покинул его навсегда.

А ведь Дёмка не помнил того случая, чтобы старый Самоха позволил себе сказать кому-то хотя б одно ненадёжное слово. Однако же обидой дедов обман Дёмку не опалил. Понял парнишка: происходящее принимает столь крутой оборот, что дед вынужден таиться...

Дёмка свернул с тропы, полез напролом черёмушником. При этом он умудрился ни сушняком не стрельнуть, ни горластую ворону не всполошить...

А тайга?

Тайга затаила дыхание: что будет?! Даже малая птаха нигде не пискнула, ветерок не пробежал по веткам, не подхватил на широкую ладонь самоцвет шелкопряда¹, не вскинул его на луч раннего солнца, не закружился рядом от радостной красоты...

Когда Дёмка пытался проглядеть впереди чащу, то в просветах виделась ему луна. Она висела на далёком небосклоне пустая и мёртвая, будто от неё за ночь остался один лишь обглоданный череп.

Мёртвая луна, мёртвая тишина, мёртвый ветер...

Может быть, уже и деда нету в живых?! А что? Заманила его нечисть в глубину омута, рясковым квасом опоила. Лежит теперь Леон Корнеич на глубоком дне, перегнулся старым телом через какой-нибудь топляк, не дышит...

¹С о с н о в ы й ш е л к о п р я д – бабочка.

От таких страхов в голове у Дёмки угар поднялся. В затылке заломило, затюкало в висках, в глазах тайга крупными волнами пошла. Не замеченная другом своим малым, рябина Катерина встряхнула удивлённо кудрями. Да тут клён Семён поспешил кинуть ей резной листок, словно подал дружескую ладонь, уверил: не беспокойся-де, красавица, всё станет на свои места.

Когда, наконец, запоблескивал меж подъёлков заревою водою ёрик, парнишка из черёмуховой чащи метнулся сквозь полосу чистого сонняка, ежом нырнул в подлесок, проюлил им чуть ли не до самого хрящатого мыска и вот уж нюхалка его высунулась из ракитника, взгляд кинулся до коряжины...

Дёмка сразу же разглядел своего очень даже живого деда. Леон Корнеич не сидел на карше, не вглядывался в покой сухорусла, а суетился возле. С помощью обломка старого весла он что-то подсовывал под суковатый пенёк, заглядывал с колен под него и опять старался. Потом туда же горстями покидал песку, заровнял, поднялся, отошёл, убедился, что спрятанного не видать, подхватил обломок весла и закинул его подальше, в резуны. Затем Леон Корнеич подошёл к воде, широко, троекратно перекрестил ёрик, направился до заимки. Но у подлеска остановился, обернулся и вдруг... погрозил паруслу злым кулаком.

Старый Самоха ушагал, малый остался. Зачем?

Гадать об этом Дёмке было некогда. Он понимал, что дед сейчас хватится его, сполохнётся искать, прибежит сюда, угонит хворостинной домой. И не узнает тогда Дёмка, что спрятано Леоном Корнеичем под суковатой каршою.

Потому-то парнишка, не успел старый Самоха путём за опушкою скрыться, уже сидел у коряжины и wygrебал из-под неё песок.

Под суковатой колодою Леоном Корнеичем оказалась упрятанной та самая палица с набалдашником, которая ночью зелёной лапою была выложена из глубины парусла на хрящатый мысок. Основательно насаженный на железную рукоять набалдашник имел три грани. В них сходились три лощёные плоскости. Под этой насадкою, ошейником, шло замкнутое кольцо.

Разглядывая пест, Дёмка думал, что Леон Корнеич понял его ночное враньё. Потому-то по заре он и поторопился на старицу – проверить внуков «сон».

И проверил.

А что теперь? Зачем он припрятал находку? Почему не кинул её в глубину омута? Может, дед намеревался тайком договориться с водяным, а после убедить Дёмку, что виденное им ночью на ёрике и вправду всего лишь сон? А может, надеется старый, что всё притихнет само собою и жизнь их, доныне такая спокойная, пойдёт своим чередом?

Вряд ли! Никуда она теперь своим чередом не пойдёт. Ну, даже побьёт внука Леон Корнеич за ослушку, ну в клеть запрет... Но на цепь-то он его не посадит. Так что Дёмка всё одно распознает, кто поселился в старице. Для чего выложена из парусла на песок эта увесистая штукovina, похожая на богатырскую булаву? Тут, видно, кто-то просит мира, коли добровольно отдаёт этакий тесак.

Наверняка так размышлял Дёмка, скрытый от старицы суковатой корягою. Он оглядывал, ощупывал булаву, особенно её трёхгранный набалдашник, что был выточен словно из мутного льда, внутри которого теплился голубоватый свет.

Свет тот мерцал, вроде как подмаргивал Дёмке...

За интересом, за разгадкою парнишка не заметил того, что в бережных зарослях старицы завякала лягушка. Ширококоротый запев её тут же подхватила вторая веселуха, и вот уж полный взвод голенастых певиц, выпучивши от усердия глаза, вознёс над ёриком хвалу наплывающей из-за тайги непогоде. Над только что тихим руслом загудел лёгкий ветришко, побежал по воде, распотряс её мелкой рябью, после озорно взвился над ёриком, запорхал по маковицам сосен, стал кидаться на вороньи гнёзда, пнул на близкой лиственке шишку, хлопнул ею Дёмку по затылку. Тот глянул на небо, узрел по-над соснами край наплывающей грозы, подsunул палицу под каршу, присыпал её песком, чтобы избавить деда от лишнего волнения...

Грозовая туча ещё путем не вымахнула из-за тайги, когда порыв ветра рванул на Дёмке рубаху, поднял её пузырьё и по голой спине врезал здоровенной косою каплей. Но Дёмка сперва охлопал ладошками копанину и лишь потом кинулся бежать. Однако покляпый¹ ливень резанул потопом, загнал его под ель, запрыгал вокруг, шальной, весёлый – Дёмке хоть выскакивай на волю да пляши под его звонкие струны...

¹П о к л я п ы й – косой, наклонный.

Раньше парнишка точно так бы и поступил. Но сегодня, теперь...

Лягушки, спасаясь от хлестких струй, попрыгали в глубину ёрика и там затихли, но взамен широкогоротого их пения остался вдруг спорить с голосом ливня одинокий над старицей плач; он был полон обиды и безнадежности. Пробивался он до Дёмкиной души каким-то усталым криком. Плач перемежался то приглушённым стоном, то хлюпким бормотанием. Походило на то, что кто-то разумный угодил ненароком в чарус¹, выбился из сил и уже потерял всякую надежду на вызволение. Теперь он выдыхает остатную боль свою да пытается дочитать последнюю молитву. Но Дёмка знал, что вокруг старицы никакой трясины нет. Да и жалоба исходила не из тальниковой урёмы, а доносилась из-за только что оставленной парнишкою коряжины. Кто ж это и когда успел за нею спрятаться? Отгадка у Дёмки, как понимаете, была почти уже готовой. Осталось только заглянуть за колоду, чтобы увидеть там водяного.

Ха! Заглянуть... Легко сказать.

Заглянул бы архар² до хана, но не любит махана³. Да и на чёрта ли синице лев, ей и кошки хватит...

Но об этом обо всём подумал, быть может, кто-нибудь другой бы, но только не Дёмка. Помедлить он помедлил, но решился – была не была...

В напеве дождевых струй, лёгкой перебежкой, вот уже и оказался он у коряжины. Там наострил уши – плачет! Осторожно вытянул шею, затем и рот разинул – никакого водяного. На узенькой полосе хрящатого берега лежало, примерно Дёмкиной величины, долгонькое нечто, похожее на ящерицу без хвоста. Оно имело две пары перепончатых лап и костяной пластинчатый хребет. Безволосая башка, с крутым затылком и лобным над глазами навесом, держалась на довольно тонкой шее. Лицом ли, мордою зелёная невидаль была уткнута в согнутые лапы и оттого имела вид убитого горем человека.

Хотя сердечко в парнишке плясало как петух на горячей сковороде, но коряжину он обогнул. Обогнувши, постоял над бесхвостой, присел на корточки, словно так ему было удобнее понять, в чём тут дело. Может, зелёное чудо своё лягушачье тело поранило?

¹Ч а р у с – болотное окно.

²А р х а р – дикий баран.

³М а х а н – мясная еда, в основном из баранины.

Может, в глубине ёрика наскочило на острую занозу? Должна же быть причина такому горю.

Никакой видимой причины Дёмка не обнаружил, потому стал подкрадываться поближе. Ну, а тишина подвох таит. Подвернись ему под ногу неверный камешек, Дёмка и хлопнулся в лужу – только песок чмокнул. Зелёная вскинула башку, вылупила громадные глаза, раздула жабристые ноздри и попятилась в воду. Окунутой по самое горло, она и стала себе разглядывать Дёмку. Глядела долго, внимательно. Затем сощурилась, вздохнула с облегчением и вроде бы даже гулькнула смехом девчонки, увидевшей Дёмку в луже.

«Ну! Вот ещё! Будет тут всякая...» – подумалось Дёмке.

Он подскочил на ноги и сразу отметил, что ливень был только минутной забавой природы. Как налетела шальная туча на старицу, так и укатила за высокие сосны. А над паруслом осталось сиять неопикуемой красоты таёжное утро. И, странное дело, – виделось оно Дёмкою так, словно бы свет каждой капельки – его свет, тепло каждой травинки – его тепло, горе зелёной у берега невидали – его горе...

Но вдруг!

– Дё-муш-ка-а, внучо-ок... Ау-у-у...

С этим суматошным криком показался на тропе Леон Корнеич. Лица на нём и впрямь, как говорится, не было. Был только широко разеваемый рот да глазищи, каких Дёмка отроду у деда не видал. Со страху те глаза ничего перед собой, однако, не видели, потому что старый спотыкался, слепо хватался за подьёлки, семенил тряско, неуверенно. Когда ж он всё-таки различил на мысу внука, колени его подогнулись...

Немногим позже, когда внук пособлял деду доковылять до заимки, парнишке вспомнилось то, что, кинувшись к Леону Корнеичу на подмогу, он таки оглянулся на парусло: зелёной головы над водой уже не было.

Душевная встряска старому Самохе даром не прошла. Доставленный Дёмкою до заимки, Леон Корнеич свалился на припечек пластом и только лишь взаполдень перестал хвататься за сердце и забылся. Пробывши в забытии чуть ли не до заката, он отворил наконец-то веки, разглядел перед собою виноватые Дёмкины глаза, сказал со слабой шуткою:

– Во как бывает: робкий пуганых спасал – сам неделю воскресал. А ить ты, Дементий Силыч, послушником у меня растёшь, – не утерпел, укорил он внука. – Когда не велел я тебе ходить на парусло, тогда уж не велел – кокетничать не умею. Ить я тебя, Дементий Силыч, и без того на привязи не держу. На один-то мой приказ можно было бы терпения набраться. А теперь вот гляди на меня повинно, жмурься. Ишь как устрепал... родимого-то деда.

– Так ить ты сам, – начал было оправдываться Дёмка. – Хватился утром – тебя нету. Страшно стало. Я думал... водяной тебя того...

– Таво, не таво, – передразнил старый малого. – От дома отойти нельзя... Может, мне зайчатины захотелось, – стал он выкручиваться перед Дёмкою. – В избу-то я из-за ливня вернулся, а тебя нечистый уже на сухоруло уволок.

– Дедушка, – не дал парнишка старому разовратиться путём, – ить ты небылицу плетёшь. Какого такого зайца ловил ты на берегу ёрика да под суковатой корягою? А?

Покуда Леон Корнеич, пойманный с поличным, хлопал глазами, внук припёр его к правде окончательно:

– А ить я его видел.

– Кого? – не дошло до Леона Корнеича.

– Водяного твоего.

Старый приподнялся на локте, всмотрелся во внуковы открытые глаза и не посмел не поверить. Потому оторопел.

– Ну тебя, – сказал растерянно, затем спросил: – Как? Видел-то как?

– Вот так, как тебя. Шага на два подале.

– И чо? Худого он ничего не вытворил?

– Как видишь...

– И в омут не звал?!

– Никуда он меня не звал.

– Так вы чо? Близко-то так?... Разговаривали о чём?

– Не успели, – с досадой сказал Дёмка. – Ты ж его криком своим спугнул.

– А ещё прийти не позвал?

– Чо меня звать? Я и без того пойду.

– Так-таки и пойдёшь? – опять встревожился Леон Корнеич. – Взял волю... Никуда ты один не пойдёшь!

– Тогда вместе пойдём, – сказал внук деду так, словно разговаривал с меньшим братом. Да ещё с лёгкой улыбкою добавил: – Только ты не блажи больше.

– Ах ты, шельмец! – влепил Леон Корнеич Дёмке горячий подзатыльник. – Я ить разве об себе блажил? Я ить об тебе глотку чуть не вывернул...

Дёмка не обиделся на затрещину. Он ласково припал щекою до дедовой груди, сказал виновато:

– Ну чего ты, дедуня, шуток не понимаешь? Чего рассердился? Я ить и сам... Пошто я на ёрик-то кинулся? За тебя испугался.

Уже поглаживая внука по голове, Самоха, после доброго молчания, захотел узнать:

– Каков он видом-то – твой водяной?

– Не подходит он видом ни под лешего, ни под домового.

– Под кого ж он подходит?

– Не то под лягушку здоровенную, не то под ящерицу. А больше того под девчонку какую-то подводную.

– Не под русалку-берегиню?

– Может, и под русалку, – не стал ускорять Дёмка. – Из воды выползла, башку на лапы уронила и давай горевать. Беда у неё, похоже...

– Славно ты рассказываешь, – улыбнулся Леон Корнеич, – надёжно. Добрым человеком вырастешь. А что про Берегиню твою... Не хотел я тебе говорить, а теперь вынужден... Не спалось мне позапрошлой ночью. Поднялся я, во двор вышел – тайгу послушать. Чую – гудит! Где? Везде вроде. Потом над головой долгая тень проплыла, на луне серебром взялась и пропала за лесом. На ёрике плескануло что-то, и всё умолкло. И только выпь на болоте, только саранча в траве... Может, небом-то змей какой летел? Может, он и лягушку твою Берегиню, из какого-нибудь моря выхвативши, в лапах тащил да в ёрик выронил? Мало ли в морях-океанах всякой невидали пасётся... А теперь ей, бедной, пригоршня нашего парусла, против моря-то. Тьфу! Лыва. Тюрьма тухлая. Как тут не загорюешь? А соображения большого у неё нету – догадаться, что стоит ей мол переползти и вот она – река. А рекою-то в любой океан дорога отворена. Надо нам с тобою как-то бы приручить её маленько: мы бы её через перешеек на большую воду переволокли и дело с концом...

– Хорошо придумано, – сказал Дёмка, вскинувши голову. – Об одном только, дедуня, не спросил ты меня: что же это за лягушка такая бестолковая, которая способна перед людьми из глубины ёрика подарки выкладывать? Про палицу, которую ты под каршу уторкал, забыл?

– Забыл, – сознался Леон Корнеич. – Да-а. С палицей тою посчитаться, выходит, что Берегиня не столь глупа. Мы собрались её приручать, а она, похоже, с тем же самым умыслом до нас подбирается. Ну дела! Как нам теперь быть-то? – спросил дед внука не без нового страха.

– Запереться дома и сидеть.

Не успел Дёмка новой шуткою поиграть, как старый повторно хлопнул его по затылку.

– Придержи! – сказал. – Ышь! Распустил вожжи... Смелчак отыскался... Кто ночью в подушку-то целую лыву наревел?

– Так уж прямо и лыву?

– Не лыву, так озеро, – уже с улыбкою поправился Леон Корнеич. Дёмка обрадовался дедовой отходчивости и опять прижался к нему.

Спросил:

– Когда пойдём-то?

– Поутру, думаю, и настроимся...

Настроились, пошли поутру.

Вот шагают. Вот дошли. Вот открылась перед ними утренняя сказка таёжного парусла.

Доводилось ли вам когда-нибудь видеть такое утро? Не доводилось?! Бог ты мой! Да что же вы тогда в жизни своей видели? Да зачем тогда вышли вы из вечной тьмы? Неужели только для того, чтобы удостоверить своё наличие в мире нашем отражением в зеркалах? И ради этого, угробляя равнодушием всё и вся, производиться в детях?!

Опомнитесь! Оторвитесь от себя! Оглянитесь, пока ещё есть на что глядеть. Спросите Землю, что вы для неё значите? Кому вы без неё нужны?

А! Чёрт с вами! Не отрывайтесь. Не я первая лезу из кожи вон, взывая к вам. Сколько добрых умов изошло в простоту вашу, словно в чёрную могилу. А толку-то...

И всё-таки... Может, кто-нибудь после моих слов сходит до матушки-Земли на свидание; поговорит с нею с глазу на глаз. Я ду-

маю, что для такого сердцеобмена не найти ему более подходящего места, чем заревая, таёжная старица. Природа тут внимлет человеку, словно мир вечности, принимая душу его всеми соками.

Вот посбежались до берега резуны, вон повытягивал из-за камыша длинные шеи свой целый собор ивняка; притихли по-над тем собором, краплённые ягодой, черёмухи; сосны растопырили громадные уши, смахивающие на громадные ветки; выше них само небо вскинуло брови облаков; перепелятник плывёт над белыми – слушает, хотя слушать ему тут нечего: надел его – заречная луговина... Точно такой же коршунок плывёт в глубине ёрика, откуда опять же глядят тебе в душу облака, сосны, черёмухи, осоки... Ты весь – доверие, весь – природа... И вот уже поёт в тебе изначальная песня Земли. Желательно узнать, за какую такую заслугу перед жизнью подарена тебе эта благодать напевного слова твоей взаимности, совокупности со всем миром?

Не смей! Не вспоминай в этот миг, до какой последней степени искалечили мы этот напев продажностью своей на барахолке авторитета.

Не вспоминай – жилы вскроются!

Они у нас и без того на каждом шагу скрипят, изъеденные сомнением.

Давайте-ка воротимся лучше до сказа, пущай хоть он дозволит нам немного отдышаться от перегара нынешней суеты.

Ну и вот. Явились поутру Дёмка с Леоном Корнеичем на старицу. Стоят.

Не знают, чего ждать.

Тут уж им не до сосен-черёмух... Душа до горла теснится – убежать просится. Кабы они фасона друг перед дружкой не держали, тайге-то теперь и глядеть было бы не на кого. Глядеть да подумывать: чегой-то нынче от Самох ни привету, ни ласки? Явились и стоят, как перед казнью. Только и осмеливаются, что перешёптываться:

– Ну? Где твоя лягушка?

– Кто её знает... Боится, может. А то спит.

– Может, спит – эвонь какая рань. Комар ещё спросонок не чесался.

– Тихо-о, ровно на том свете.

– Хотя бы окунёк какой плеснул – всё бы живее на сердце сделалось.



– Гляди! Вон! – дернул внук деда за рукав. – Плеснул.

– Где?!

– Вон! У перешейка.

– Далеко. Глаза-то у меня поношены – не доглядеться.

– Вон ещё плескануло!

– Крупно. Теперь и я вижу.

– Гляди! Хребтом перистым поверху идёт.

– Не карась, – сказал Леон Корнеич и стал доглядываться с прищуром до плавника, что рассекал ёрик долгой бороздой. – Когда бы принять всё за правду, – решил он, – так это какой-то богатырский ёрш гуляет. Видать, лягушка твоя гриву распустила.

– Она, – кивнул Дёмка, неотрывно глядя на ту сторону ёрика, где вдоль песчаного перешейка скользил перистый плавник.

Вот плавник развернулся, пошёл кругами, заплескался на месте да и пропал в глубине.

И тут высунулась из воды как есть лягушачья башка, только здоровенная. Она повела глазищами, уставилась на деда со внуком, помедлила, повернулась затылком и, постепенно вырастая из воды зелёным телом, на песчаный мол вышла та самая плакуша, которую Дёмка видел за корягою. Она дала оглядеть себя со всех сторон, затем ловким движением лапы как бы резанула себя по горлу и... короб её башки откинулся на спину. Зелёной кожурою сползла с её тела лягушачья одёвка, чулками снялись перепончатые лапы, и осталась стоять на песке тоненькая, улыбчивая девчонка.

И на таком расстоянии Дёмка с Леоном Корнеичем сумели отметить, что её до пояса стриженные волосы красовались цветом медного купороса. Из-под жемчужной шапочки, мыском сходящей к переносью, они падали упругой волной. Плотный, искристый наряд выказывал всё её хрупкое тельце, отороченное ниже пояса короткой, пышной юбкою.

Чем не лягушка-царевна!

И ведь какая умница! Не выскочила вдруг из глубины ёрика, не окатила деда со внуком новым страхом. Сумела сообразить, что, издалека-то глядя, и медведь – дядя.

Ну вот. Постояла эта самая Берегиня и взялась опять обряжаться в лягушачий кожан. Вдела ступни в перепончатые лапы, натянула голенища до бедра, извиваясь тонким телом, сама окунулась в зелё-

ную кожуру, привычно накинула на голову короб башки и быстрым движением руки словно спаяла прореху у горла. Тут же распустила плавник, кинулась в ёрик.

И снова острый клин борозды взялся рассекать поверхность утренней старицы.

Не столь близко стояли Самохи у воды, чтобы на всякий случай попятиться от неё. Но не переглянуться они не могли. А переглянувшись, пришли в себя да и осмотрелись кругом – не сон ли им снится? И тут увидели вдруг, что, выпади нужда спастись, бежать-то некуда: тропа на заимку занята. Стоит на той на тропе, прямо сказать, чёрт-те кто: ни лешак, ни лопа¹ста¹, ни ведьма гриваста, ни шут с хвостом, ни поп с крестом... Стоит раскорячилась какая-то свекольной окраски каракатица, от самой маковицы до примерных колен занавешена она водопадом словно из дратвы надёрганных волос. В неширокий пробор этих струй глядит единственный глаз. Зрачок его, величиной с целковый, налит огнём дикой крови.

Нечисть, смахивающая на двухметровую поганку, медленно перебирает десятком грязно-жёлтых курьих лап, покрытых какими-то струпами. Под бахромою искрасна-чёрных волос угадывается просторная утроба. Она громко пыхтит. Дыхание смахивает на одышку загнанного долгим бегом мужика. Только оно колышет волосяную завесу не там, где положено быть груди, а сильной струёй ударяет в землю. Отчётливо видно, как листья молодого папоротника, которому не повезло оказаться между чешуйчатых лап, плотно прижимаются до земли этими выхлопами и всё гуще покрываются белым налётом не то бешеной слюны, не то иной едучей слизи. На только что чистой их зелени уже повскакивали волдыри ожогов. Старый Самоха крестом себя осенил:

– Господи Иисусе...

Потом воскликнул:

– Эка нечисть болотная! – А дальше сказал быстро: – Сгинь, сатана! Сгинь!

Только «сатану» ни с какой стороны не ковырнуло ни крестом, ни заклинанием. А медлила нечисть, зная, потому, что увидала на хрящатом мыске не того, кого ожидала увидеть. Но она, должно быть,

¹Л о п а с т а – кикимора.

решила, что сойдёт и такая пожива, потому как в нескрываемой угрозе вздыбила волосьё и зачепала шелушливыми лапами по хрящатому мыску.

Когда Дёмка подумал, что можно бы успеть выломать для обороны лозину, нечисть ударила в землю мощным дыхом, взвилась чёрным воланом и спружинила в коленях точно там, куда парнишка успел только глаз положить. Тут, видно, и Корнеич помыслил, чем бы ему более весомым откреститься от нечистой силы. Помыслил и вроде как послал волосатого прыгуна в камыши – туда, где лежал отгрызок вчерашним утром кинутого весла.

Ловко выдернувши из камышей обломок, космарь размахнулся запустить им туда, где поверхность старицы рассекал высокий плавник. Вся его свекольная утроба пыхтела откровенным злом.

Спасибо Дёмке: не о себе думал парнишка. Он мигом сообразил, что грозит Берегине, потому быстро нагнулся, гребанул горстью песка, подскочил до нечисти и швырнул им прямо в кровавый зрачок.

Космарь ухнул утробой, кинул веслом куда попадая, схватился двумя лапами прочищать око. Но ни Дёмке, ни Леону Корнеичу порадоваться избавлению не довелось. Пугало крутанулось и... с его обратной стороны уставилась на Самох точная копия повреждённого глаза.

Готовый предугадать любую неожиданность, космарь двинулся на старика с парнишкою. Он ступал по песку четырьмя лапами, в то время как пятая продирала ослепший глаз. Остальная же пятёрка растопырилась, образовала собою нечто вроде загона.

И опять спасибо Дёмке. Отступая от захвата, он почуял, как в спину ему уткнулась сучком береговая коряжина. Тут его озарило. Он изобразил в уме полный страх, сполз на землю, молнией выхватил из-под карши палицу – подарок Берегини, и сунул её в руку деду.

Космарь блеснул алым глазом, ударил в песок мощным дыхом, взлетел, распустил звездою лапищи и, в тяжёлом падении, рухнул прямо на суковину колоды. Брюшина его оказалась распоротой чуть не до глаза. Но нечисть ещё дышала, ещё ворочала побелевшим оком. Лапищи подергивались, полнились песком и опять пустели.

– Щас я его... – решился Леон Корнеич и замахнулся палицей. Да только зелёная лапа перехватила вдруг его замах.

– Не надо, – отчётливо поняли Самохи и, вроде как от невидимого

костра, пахнуло на них от Берегини теплом. Оно обласкало, успокоило их, дало возможность понять окончательно – нельзя!

Столь же ловко пояснилось деду со внуком и то, что Мума – того самого космаря, что грязной лохматинной висел теперь на коряжине, так вот просто лишить дыхания невозможно. Эта пакость, ежели её понятным путём захлестнуть, способна, оказывается, воскреснуть, а то и размножиться! Утопи её, закопай, в огонь брось – себе только хуже сделаешь. Вот он какой – Мум!

– Как это понимать? – с удивлением спросил Берегиню Леон Корнеич. – Зверь он, дьявол ли какой? Имя-то, вроде, уважительное.

И оказался тот космарь ни зверем, ни дьяволом, а вроде как ходячей утробой. Сами его люди, на непонятно далёкой земле, и сотворили, и вырастили, чтобы он отыскивал и пожирал всякие отбросы, хламьё. Из всего этого создавал бы он такое топливо, при котором, погасни солнце, человеку всё также было бы и тепло, и светло.

Берегиня вообще-то не собиралась наведываться к Самохам. Она якобы плыла себе с друзьями на корабле, на котором можно плавать меж звёзд, и никогда бы не оказалась на старице, не начини у них пропадать люди. Поднялась тревога, недоверие. Сумбуром этим и прибило их корабль до нашей Луны. И покуда не будет наведён на корабле порядок, отлепиться от неё им не суметь.

Для охоронки своей жизни Берегиня придумала спать прямо в лягушачьей одежке, потому как в ней трудно быть кем-то погубленным. И вот бы сквозь сон на корабле слышится ей шорох. Отворила глаза – Мум! Обступил её лапами со всех сторон и давай обволакивать липкой утробой своей. Хворь с ним какая-то, видно, случилась. Взамен доброго, вроде нашей собаки, существа сотворился из Мума людоед!

Помнит Берегиня, как вокруг что-то булькало, шипело, но справиться с нею не могло. Потерявши терпение, Мум плюнул ею в пол. Тогда она подхватила и бросилась будить остальных. Да с перепугу взяла не в ту сторону. Потому и оказалась в лодке, способной также плавать где угодно. Тогда ей надумалось покинуть корабль и поднять тревогу со стороны. Но Мум успел оседлать лодку. Он взялся колотить по ней прихваченной где-то палицей. Позвать на помощь Берегиня теперь не могла, иначе бы она лишилась Мума. А без него корабль не сумел бы воротиться домой – запалу бы не хватило. И понадеялась она на то, что друзья сами её хватятся.

Пустивши лодку летать вокруг Луны, она прикорнула в усталости. Когда ж очнулась – лодку уносило к Земле.

Тут она и спохватилась: какого страшного беса везёт к людям!

Надо было посадить лодку хотя бы подальше от жилья. Берегиня заметила старицу, пустила лодку приземлиться недалеко, сама же прыгнула в воду. Мум не поспешил за нею – в воде он не способен двигаться быстро. В злобе он лишь бросил вдогон трёхгранный тесак...

Тут Берегиня наклонилась над распластанным по коряжине Мумом, присмотрелась к его глазу, сообщила:

– Надолго он себя уложил! Надо бы его увязать, пока не поздно.

Самохи всё поняли так, как ожидала от них Берегиня. Доставленными с заимки гужами космарь был туго опутан по всем ногам. Леон Корнеич вырубил в чаще удобную жердину, что с одного конца расходилась рогатиной, продел её под путы; одним штырём определил рогатину на плечо Дёмке, другим – Берегине. Сам вскинул противный конец, крикнул от весомого – ого! Определил:

– Вот это грибочек – на семь бочек!

Затем двинул компанию вперёд привычным благословением:

– Ну! С Богом!

Таким-то клином и двинулись несовщики по тайге. Хорошо ещё, что шагать пришлось недалеко. Берегиня точно определила направление и сумела вывести помощников своих куда надо.

– Ничо себе лодочка! – подивился Дёмка, когда перед ними полным видом открылась махина, поставленная на попа среди таёжной прогалины. Она куда как больше напоминала серебряный штык высотой с молодую ёлку, нежели лодку. – И ты с нею управляешься?!

Берегиня кивнула на Дёмкино удивление, а Леон Корнеич одёрнул внука:

– Не суйся с глупым интересом. Она и без того всё, что надо, выложила. И рот не больно разевай – споткнёшься.

Остопилась Берегиня против махины, вскинула голову, что-то произнесла; на боковине лодки образовалось овальное творило, которое отъехало вглубь, затем в сторону. Из проёма, на рычагах, вывернулась и опустилась до земли площадка. На неё и определили Мума. Жердину откинули прочь, а площадка сама собою втянула космаря вовнутрь махины.

Берегиня вздохнула, как вздыхают спасённые, с минуту глядела в тёмный проём лодки, после тряхнула головой и повернулась до Самох. Быстро откинувши на спину короб лягушачьей башки, она удивила деда со внуком чистейшим, под стать волосам, взглядом голубых глаз, в которых стояли слёзы.

– Ну вот, – бормотнул Леон Корнеич, – дитё и есть дитё... Брось, внучка. Пустое дело – нюни распускать. Давай отправляйся. Дружья-то, поди-ка, заискались тебя вконец...

Он говорил, а в горле у него вроде бы тоненькие веточки ломались.

Берегиня подошла к старому, припала к его груди, обняла. А вот Дёмка растерялся. Попятился даже.

– Ты чо дикой такой? – легонько подтолкнул его в спину Леон Корнеич. – Уважь человека. Она же не забавы строит – прощается!

Берегиня поняла Дёмкино смущение, улыбнулась, нырнула головой в короб башки, призналась:

– Никогда не забуду вас!

Тем временем лодочный проём повторно высунул язык площадки. Девочка взошла на него, прощально подняла пальчатую лапу, и Самох опажнуло волною нежного тепла. Тут дед со внуком сообразили: как только махина затворится, им следует уходить.

Домой Самохи возвращались поздно: солнце уже вёслами лучей загребало синеву закатной стороны неба, а тайга отдавала настоящее запахами дневное тепло. Птахи, намозолившие за день крылья, разгнездились, притихли. В тишине молчалось и деду со внуком – одолевало многодумье. Хотелось верить в то, что сейчас они не проснутся – не развеют чуда минувшей сказки...

Вот уже Дёмка с дедом дошагали до ёрика, сошли на хрящатый мысок... Старица покоилась, полная отражения. Ни всплеска, ни шороха. Комар и тот затаился – прижался до резунов, ни до кого не просится в родню своим назойливым – куммм, куммм...

Но вот слышалось – вроде шершень где загудел.

Свербит в ушах. Откуда взялся? Гнездо ли на коряжине творит? Надо помешать. Не то не посидишь у воды.

Подошли Самохи до суковатой карши, а тут... лежит, гудит оставленная Берегинею палица.

– Забыла! – всполошился старый. – Может, успеешь ещё? Беги, внучек!

Однако над тайгою вдруг занялся такой шум, что голос старика потонул в нём. По-над соснами медленно всплыло лезвие матовой махины, зарделось в лучах заката, взяло наклон и унеслось в сторону только что взошедшей луны.

И всё!

А палица осталась. И гудение в ней осталось.

Дёмка постукал ею о ладошку, потряс, крутанул «ошейник» – умолкло. Но трёгранник затеплился голубым светом, и скоро ясные глаза различили Самохи в том свете...

Когда-никогда – свет погас.

Погасло над таёжной старицей и само то время.

Однако думается вот о чём: удалось-таки Самохам оставить людям о Берегине память. И случилось это примерно так: взял как-то Дёмка и вылепил из глины умелыми руками, прямо сказать, живую лягушку. А чтобы людям понять – не простая она, увенчал ей голову короной. Тогда вот, глядя на эту красавицу, и придумал народ всем теперь знакомую сказку. Переиначенную, конечно. Да какое это имеет значение.

Главное-то память.



ЗЕМЛЯНОЙ ДЕДУШКА



Самый ценный на земле клад в руках человека зарыт. В нём и радость бытия, и дух здоровья, и великое чудо необходимости своей. Ежели человек тароват, ежели он сполна владеет этим кладом, нет им обоим веку. Не в том ли и состоят полное чудо жизни...

Так, бывало, рассуждал дед Урман, когда при нём заводили односельцы разговор о земляном дедушке, который нет-нет да и объявлялся якобы в тайге. Появлялся дедок, в основном, для того, чтобы урезонить своим озорством не в меру жадного охотника. Но случилось изредка и такое, что подкидывал он талану тому, чьей сердечной доброты сторонила глупая земная удача.

Да-а. Хорош сказ, да не про нас.

Однако же на пустом месте и пузырь не вскочит. Бывалые охотники уверяли, что знавали они, как случалась прежде от земляного дедушки награда и посущественней. Когда раздабривался он, так наводил достойного человека на такой клад, об котором теперь и в сказках не сказывается.

Многим желалось бы хоть одним глазом глянуть на таёжного чудодея. Особенно, конечно, ребятам.

Ежели походить-поспрашивать по глухим селениям, так и нынче, наверняка, можно отыскать такого человека, который подтвердил бы, что на случай такой имелась даже песенка-призывалка. Когда желание увидеть чудотворца становилось навязчивым, некоторые, сглупа-то, пользовались ею.

Была она, похоже, такой:

Дедушка земляной,
появись за сосной,
улыбнись, подмигни,
за собой помани
не в болото, не в урман,
не на море-океан —
на восход, на закат,
на богатый клад...

А может, и не такой. Недоступно человеку в полной достоверности сохранить память о былом. Но всё-таки. Всё-таки перепало запасу и нашему Власу.

Я понимаю, что стародавнее это быльё надо было толковать так: намеренно, по наитию ли тот загадочный старичок появился на пути таёжного человека, а только выскакивал он прямо из-под земли всё больше перед желальщиком лёгкой наживы. Выскакивал таким озорником и принимался морочить жадную душу — манить её за собою в самые непролазные дебри. И удавалось ему уводить лакомца порою туда, где по сей день жаба ворону родня, а мухомор вырастает выше малинового куста...

Однако же никакого непоправимого зла в чудачестве стариковом не было. Проплутает, случилось, горе-лакомец по ветровалам да по болотистым низинам, сколь ему выпадет, а там, глядишь, и выбрался на верную дорогу. В деревню воротился... не солоно хлебавши.

Молву о земляном дедушке не вот тебе сорока из-под хвоста уронила на язык полоротому, и не Сиверко патлатый надул её, забавы ради, в ухо пустомелево. Разгорелась она, разыскрилась от живого, докладывали, случая.

Жила-была, ровно в сказке, в одной из таёжных деревень крепкая да ладная деваха — Наталья Мохова. При переселении к нам в

Сибирь, Бог ведает с каких там расейских земель, потеряла Наталья дорогою и отца-батюшку родимого, и кровную заступницу-мать. От кобылки будто бы от упряжной перекинулась на них на обоих злая болячка.

Похоронила Наталья слёзных своих покровителей на таёжной еланке и не захотела уезжать далеко от заветных могил. В первой же по дороге деревне и осталась она жить.

Зазвал к себе Наталью на долгий постой тот самый дед Урман, об котором в самом начале нашего сказа речь зашла.

Сам дед Урман, можно уверить, и не жил в халупёнке своей. Не зря, видно, люди говорили, что его тайга родила. Летовал он и зимовал Бог знает по каким углам непроходимых наших глушняков. Опекал он там заботой своею борты и кузовья пчелиных семей, которые приносили старому вполне даже сносное житьё.

Не успела Наталья в хатёнке бортника Урмана путём ещё печку выбелить да и повymести из углов дохлую мухоту, как закружились, завстряхивали чубами вокруг неё великим хороводом деревенские неженатики.

Оно понятно. На их месте и генерал бы усами задёргал: Наталья оказалась невестою, только из-под руки глянуть! Ох, кабы она да на грядочке огурчиком выросла, хозяйка б её, несомненно, на подоконничек бы положила – на семена вызреть. Да только вот первой же свахе-зазывахе эта невеста дала полный от ворот поворот.

– Есть у меня жених, – сказала она просто. – Когда батюшка с матушкой сюда меня повезли – надеялись оторвать от него. А когда к ним смерть вплотную подступила, они душою-то помягчали – благословили. Я ведь до своего Назара уже и весточку отправила. Так что извиняйте меня, сватушки, на неудобном слове...

Да Господи! Да чего уж тут. Кого тут извинять? Спасибо и на том, что правду сказала.

Когда же бабёнки узнали, что Наталья задумала к завтрашнему утру пельмени лепить, то ещё и черти в кулачки не бились, а уж они повысыпали на первозимок: смотреть-судить, какой такой раскрасавец писанный пожалует до этакой завидной невесты? Кто тот счастливый человек, который достоин Натальиной пригожести да светлой её души?

Следом за бабами и мужики потянулись, и ребятня не отстала.

И вот, когда в утреннем ещё дымоватом просторе залился безу-

держным весельем поддужный колоколец, селяне заторопились разублаяться встречь размашистому бегу ретивых коней.

Было чему тут улыбнуться и помимо гривастой тройки.

Ямщикок сидел на облучке таким ли бравым гусаром, словно под ним были вовсе и не козлы, а играл нетерпением породистый жеребчик. А уж сколь был тот «гусар» востроглаз да чернобров, сколь искусно окаянный пощёлкивал кнутиком!

Загляделась на него деревня! Напрочь выпало из всех умов, на кого смотрельщики собрались тут попятиться. Хватились, когда сани уже мимо пролетели.

Двор деда Урмана был не так уж и далёк. Возле него и нагнали зевороты возок. Нагнали и остопились. Остопились и подивились. Подивились тому, как новоприезжий перемогал недолгую тропу, что вела от саней до крыльца. Наталья, можно сказать, жениха своего на руках до избы доставила. Там ввела она болезного в тепло и дверь за собою затворила очень плотно.

Разудалый ямщик, поникший на своём облучке, надсадно при этом крикнул и сказал дрогнувшим голосом:

– Господи! Отними от меня половину, пошли этому золотому человеку...

Да, видать, душевные ямщиковы слова до Бога дойти не поторопились. Только и успели Наталья с Назаром, что повенчаться на Рождество. А там венчанный взялся быстро чернеть и загибаться к земле, точно догорающая лучинка. Густая, ещё по приезде, борода его до первой весенней капли исключковалась вконец, а глазищи, сухие от нутряного жару, подёрнулись пеплом...

В частых меж собою разговорах деревенские бабёнки старались даже не поминать о Назаре, жалели одну только Наталью:

– Ах ты, кака невезуха-молодуха. Подумать только! Об ней, видать, сказано – не родись красивой...

– Хотя бы дитёнка успела завести на утеху. Так ведь и приплоду Господь ей не послал.

– Чо ж тут поделаешь: злосчастному Фоме омут и в копне.

Всю долгую зимушку дед Урман в деревню не заявлялся. Лишь только на сороки¹ закрипел уже щербатый снег под его широкими

¹С о р о к и – 22 марта, прилёт 40 птах.

лыжами. Распряг Урман ноги у самого крыльца, вошёл в избу и застал под крышею своей чистоприбранной халупы всем нам уже известную печаль. Вечером дед помылся в бане, поужинал с Натальей, посидел возле больного молчком, а потом и заговорил:

— Вот что, красота ты моя ненаглядная, — сказал он невезухе. — Имеется в тайге нашей такое место хитрое, которое Глухою падью зовётся. Коренной тутошний житель его за семь вёрст обходит. Сказывает он, что нечистая сила там водится. Бортовал я недалечь от той пади. Не один год бортовал. И вот я приметил: со всей лесной округи хворое зверьё собирается туда ненастье своё жизненное избывать. Заворачивал и я в Глухую падь, приглядывался: какая такая страсть в провале кроется, что люди его боятся? Чего нетрудно там отметить — земля сплошь взята рывтинами да ямами. Будто бы она какой-то страшной оспою изболелась. Однако же сосна по всей Глухой пади стоит крепкая. И что гриб там, что цветок прямо тройной величины. Не поверишь: лапоток в ней Венерин с мою пригоршню будет. Воздух же там в безветрии, настоян такой живительной силою, что человеком себя сознаёшь не в один сегодняшний день, а на тыщу лет вперёд! Может, и зверьё точно так же чует в Глухой пади свою неизбытность, потому-то оно и здоровеет прямо на глазах? Но это говорю я о волках-оленьях. Что до людей — не видал я ни одного такого храбреца, который пожелал бы в Глухой пади хотя бы одну ночь перебыть. Похоже, что и в самом деле не принимает эта логовина человека. Наткнулся я там на один его след. Пытался кто-то под ярком заимку себе соорудить. Избёнку срубил, сараюшку, навес даже прилепил для запаса дров. Однако бросил затею. Не пожилось. Так что советовать впрямую, переселяться тебе туда с Назаром или отпустить его из жизни, не стану. Дело твоё. Мало ли какая собака в Глухой пади зарыта. А вот то, что подняла бы ты там своего суженого, знаю наверняка. Так что решать тебе самой этот хитрый вопрос. Можешь походить, народ поспрашивать — что они скажут.

Походила, поспрашивала Наталья деревенский народ: рассказали ей люди, не утаили: века с три, дескать, прошло с той поры, как в этих местах никакой Глухой пади и в помине не было. А дышала вокруг ровнёхонькая тайга. Да только вдруг загудели будто бы небеса нестерпимым гудом. Во весь простор взялись они сплошным огнём. Дрогнула и пошатнулась земля. И люди, и звери в едином стаде лома-

нулись через моховины да ряпки – животы спасать. А когда напасть поутихла, рискнули воротиться обратно. Воротились и увидали среди прежней тайги огромную впадину. Со временем же к выводу пришли, что это не кто иной, как чёрт устроил себе гнездовину. А того позже гнездовина-выемка была названа Глухой падью.

– И вот уж как триста лет сравнялось – никому туда не являлось, – докладывали бабёнки Наталье. – И ещё того более пройдёт – никто туда не пойдёт, – уверяли они испуганными голосами.

– Ить по той по Глухой пади когда-никогда, а сам земляной дедушка бродил, да и тот, знать, к чертям угодил, – постаралась подлить к настою давнего страха добавочной крепости бабка Шуматоха.

Старица эта, занавешенная чёрным платком до самих глаз, никогда толком нигде не жила. Весь век свой паслась она по чужим дворам и всяк знавал её бабкою, словно молодой она никогда и не была. А ведь помнили её даже те, которые нынче помирать собрались. Во все годы была она такою же метровенькой, носохрюклой да языкатой черницею. Языката же была Шуматоха до той степени, что селянам приходилось уверять друг дружку: ежели, мол, вытянуть её жало во всю длину, оно окажется куда как доле её серпом согнутого тела.

Вот с этим языкатым жалом и прилипла к серьёзному разговору бабка Шуматоха. Ровно бы её сюда черти покликали. При виде старицы говорухи все разом о домашних делах вспомнили – отправились свои заботы разгрести. Глядя на них, и Наталья домой поспешила. Ровно бы и не услышала она Шуматохиного заверенья. Но, когда оказалась в избе, спросила Урмана:

– А кто такой земляной дедушка?

– Э-э. Вона! – заключил Урман. – Бабка Шуматоха объявилась опять. Это она навякала. Наши-то бабёнки об том дедушке уже и думать позабыли. А Шуматоха Бог знает каким временем живёт. Однако и я слыхивал от прежних людей, что жил в нашей стороне такой дедушка. Ведуном слыл. Ходил он, якобы, бродил по таёжным угольям; выбирал по своим колдовским приметам из обычного наносного кругляша камни с какой-то особенностью. Для чего? А вот для чего. В простую пору был земляной дедушка человек человеком. Когда же наступал его так и не угаданный людьми час, убредал он тайно в Глухую падь и ловким кротом зарывался там в глубь земную. Был ли у него налажен под землёю постоянный какой приют, или всякий раз

сооружал он для себя новое какое вместилище, никто ответить на такую загадку не мог. Но стоило ведуну устроиться в берлоге своей поудобнее, как приступал он там разводить огонь. Вся Глухая падь наполнялась тогда угаром таким, в который не то что человек, зверь не совался, птица летела прочь. Поговаривали знающие, что земляной дедушка всё намеревался из набранных окатышей выплавить для какой-то колдовской своей нужды каменную кровь! Да только был ли камень не подходящ, работа ли была ведуном налажена не тем порядком, а выпекались у него из камней вовсе ненужные колдуну самоцветы. И хотя, по людским-то меркам, не было тем самоцветам цены, земляной дедушка в продажу их не пускал. Хоронил он этокое богатство опять же в недрах земных да ещё и завет на них накладывал. Пушай, дескать, дадутся его камешки рукам человечьим тогда, когда люди поумнеют настолько, что лишь радость от найденного обретут, а не пустят его во вред и себе и другим. Но порою дедушка земляной из правила своего делал исключение, то есть одаривал радостью неожиданной человека достойного. И не было его подарка надёжнее и благодатнее. Ну, а потом? Потом вроде бы напасть на земляного дедушку в Глухой пади случилась. Будто бы кому-то понадобилось выжить его из подземной кухни. Может, кто себе наметил заняться там столь богатой стряпнёю. Может, испугался, что старому когда-никогда, а повезёт всё-таки добыть каменную кровь. Одним словом, чадить Глухая падь перестала. Но и земляной дедушка о себе больше никому не напоминал. Люди могли бы подумать, что помер колдун. Только охотники, которые прежде, бывало, брали спокойно по тем местам зверя, стали прибегать из Глухой пади перепуганными и клятвенно заверять, что больше сроду туда не пойдут. Но и меж собою даже не могли они определиться, что же их так сильно отпугнуло от Глухой пади...

— Сказки, должно быть, всё это, — отозвалась Наталья на Урманов рассказ. — А ежели и не сказки, так я за Назаровым здоровьем хоть в пекло кинусь.

— Так уж в пекло, — подивился Урман. — Ты гляди, какая смелая! Ну-ну. Что ж тогда. Коли надумала податься всё-таки в Глухую падь, тогда и тянуть нечего. Скоро в тайге снег-то на нет сойдёт, каким тогда способом Назара своего до заимки доставишь? До пади-то наезженной дорогою не менее десяти вёрст, да по чащобе половина

того будет. А покуда, снегом-то, можно хорошо дойти. Лыжи тебе дам. Санки у меня есть с широкими полозьями. Для Назара в самый раз подойдут. Могу и ружьецо уделить – мало ли в тайге какая нужда пристанет: отпугнёшь, и то ладно. Так что – смотри... Собирайся, пока не поздно. Не то я днями, пока снег добрый, опять в тайгу уйду. Кто тебе подмогнёт?

И Наталья решила. Собралась.

На другое же утро наняла она у соседа лошадёнку, уложила в широкие розвальни полумёртвого Назара, временные какие пожитки связала, провианту собрала, прицепила до санного задка широко-ступные салазки и... И вот уже дед Урман взгромоздился на козлы. Поехали!

– Сбесился старый! – не смевшие галдеть при Урмане, зашумели бабёнки вослед саням. – Куда ты её? Воротись, Наталья! Зря только Назара растрясёшь... Чего доброго, сама в чёртовом гайне¹ здоровья лишишься. Никакой Урман тогда тебе не поможет. Помни, что и мы спасти тебя не кинемся...

На эту упреду старый Урман крепким кнутовищем бабёнкам пригрозил.

Заимка под яром Глухой пади, об которой говорил дед Урман, оказалась вполне даже нерухлой, потому как срублена была из лиственницы. А для лиственницы и три века – не время. Рядом с бревенчатой этой леснухой, в сарайке, оказалось много чего необходимого для домашнего уклада. Даже дрова были сложены под навесом – полено к полону...

Расположилась Наталья, избу натопила, Назара определила на просторных нарах.

Стали жить.

Назар хотя и не вдруг расцвёл розовым цветом, однако пожухание приостановилось, а там дело со скрипом вроде бы и на поправку пошло. Весну со страхом перебыли, а к Стратилатовым² грозам больной, на хозяйку опираясь, мог уже из леснухи выходить, слушать скупое щебетание к этому времени большим делом занятых птиц. Мог уже улыбаться своей Наталье. Правда, не столь уж часто выпадало

¹Г а й н о – двор, сокрытый от людского внимания высоким забором и сплошной крышей.

²С т р а т и л а т – 21 июня.

видеть её возле себя – кормить-то надо было кому-то семью. Она хотя и не семь ртов разевала, а всё равно не росой с листа была сыта. С деда Урманова ружьёца приноровилась Наталья к малой охоте. Скоро стала она с одного вскида брать что зайца-шустряка, что глухаря-дундука. Только вот радость её тревожила такая странность: всё ей казалось, что будто бы кто-то помогает ей на скорой охоте. То вроде бы зверя на месте попридержит, то на ружьё курок щёлкнет прежде, чем она догадается его наддать.

О подозрениях своих Наталья Назару не докладывала – боялась потревожить его медленно восходящее здоровье. Но приглядывалась она к тайге всё тревожнее...

Так миновало лето. К осени Назар окреп настолько, что решил в леснухе подполье вырыть, поскольку у заимки был Натальей огород посажен.

– Лучше бы, конечно, погребок во дворе, – делился он желаниями с хозяйкою. – Выкопать бы погребок крынкою, возок бы дровец туда, подпалить бы дрова. Тогда бы стены погребка каменной корою запеклись – веку бы ему не было!

– Ничего. Сойдёмся и на подполье, – отвечала ему Наталья. – Бог поможет зиму-лето ещё перебыть, а там, глядишь, и до людей подадимся...

Сказала такое Наталья, сама вдруг до стены привалилась бледная. Но засмеялась счастливо, точно в ладошку звёздочку поймала.

– Об чём ты? – не сумел Назар догадаться сам.

– Об сыне твоём, – отозвалась Наталья. – Ишь вот как, под самым сердцем переливается. Февралём-мартом запоёт нам с тобою родную песенку...

– Да Бог ты мой! – растерялся Назар. – Да Наталья ты моя свет Ивановна! Да я ж теперь и помереть не испугаюсь. За меня ж кровиночка моя на земле останется...

Не хотела бы Наталья слышать от него таких слов, но, похоже, сердце Назарово чувало перемену. И не болезнь вовсе подломила мужика – случилась беда, никакими догадками не объяснимая...

Землекоп-то из Назара не очень покудова кудышный был: на две лопаты только и опустил подполье, а уж запарился вконец.

Прилёг он в хатёнке передохнуть, а когда Наталья за какой-то нуждою сунулась в леснуху, Назара-то и нет! Как нет?! Да так. Нету, и всё. Как испарился.

Наталья туда, Наталья сюда – нету. Не видела она, чтобы Назар за порог выходил, а всё кинулась логовину оглядеть. Потом взялась и ближнюю чашу таёжную обследовать. В каждую ямину заглянула, каждую сосну-валежину осмотрела. Искружилась вся. Домой пришла, как из татарского плена сбежала...

Ночь наступила тёмная, страшная. Будто не август бродил по тайге, а расплясалась-разгулялась Параскева-грязница¹! Распелась погода поминальная! Над Глухой падью шумит буря, брызжет в провал обильными слезами. По крыше струями секёт. Наталье же слышится, вроде кто скребётся снаружи. Сколь раз выскакивала она из леснухи на непогодь; смотрела-высматривала – нет ли кого в темноте.

Никого не было.

Только перед самым рассветом забылась Наталья короткой дремою. А когда всполошилась – над Глухой падью уже всю сияло распрекрасное утро. Тайга паровала под солнцем. Перезванивалась птица. Но и в этой радости не отыскался Назар.

Тогда обезумевшая от горя Наталья побежала в деревню. Зачем? Мужа спрашивать? А там бабы в один голос заявили:

– Так и знали! Уволокла нечистая сила мужика. Упреждали мы тебя... А теперь не бегай, не плачь – не отыщешь. Лучше об себе подумай: пока не поздно, в деревню переберись...

– Да как же так? – подивилась Наталья такому совету. – Оставить Назара чертям на потеху?! Самой спокойнѐхонько с вами об этом судачить?! Какая ж я тогда ему жена? Да будь я трижды проклята, ежели отойду от этой тайны!

Жуткая Наталья клятва сразу же сделала все бабы уговоры бесполезными. Никому больше не захотелось соваться до клятвенницы со своими советами...

Готовясь стать матерью, Наталья всё ж таки перед самыми зимками была вынуждена переселиться к людям. Бабы сразу же вознадеялись, что ради ребёнка она и вовсе отступится от своего зарока.

Не обманула Наталья Назаровой надежды – в первый день весны родила сына. Да такого отвалила крепыша – еле справилась. Приходской батюшка Феофан благословил новорождённого на долгую

¹П а р а с к е в а - г р я з н и ц а – 27 октября.

жизнь и нарёк его по отцу – Назаркою. С этим с Назаркою всю весну-летечко деревня тетёшкаться бегала. До чего же добродушный пацанёнок уродился – ни полслезы от него пустой, ни полкрика уросливого. Святое дитя, да и только!

Случаются такие, но редко.

– Это ей, Наталье, от Господа Бога подарочек за великое её терпение, – дружно порешили бабы.

Только ни в горе своём неизбывном, ни в счастье превеликом не забыла молодая мать о данной ею клятве. Потому она и в жизни своей ничего не пожелала поменять, хотя за лето её и в белошвейки до себя зазывала славная волостная барыня, и довольно богатый уездный бобыль сватов к ней засылал.

Отказала.

А с наступлением Казанской¹ засуеутилась она воротиться в Глухую падь.

Тут уж не то бабёнки, мужики не стерпели:

– Да куды тебя несёт – ворошить чёртово гнездо! Хоть народ пожалей. А ну, как нечистая сила с твоего неуёмного старания да на деревню выплеснется? Ты на подъём-то вона какая ласточка – схватилась да улетела, а нам тут век оставаться жить.

– А и на кого ты дитё кинешь? – высунулись из-за мужиков бабёнки. – На нас, что ли? Не-ет, матушка. У нас у каждой своих забот, хоть бей об заплот...

Когда же увещеватели услышали от Натальи, что она и не собирается никого за сына просить, того тошней набросились на неё:

– Дьявол тебя поймёт, что ты за мать такая! Из какого ты крутого яйца умная такая вывелась – дитёнка малого в сатанинское пекло тащить! Да какого ж ты там человека из него вырастишь! Да пошто ты такая беспутная оказалась?!

– Ну вы! Путные-распутные! – охолодил их кипяток тем временем пребывающий дома дед Урман. – Много ли вами-то соколиков ясных в белый свет выпущено? Эвон сколько индюков пыжливых по деревне ходит-клюкает. Нешто их всех Наталья нахлохтала?

Бабёнки, понятно, поторопились тут же от Урмана отбрехаться. Пропажу Назара чуть ли не вменили ему в вину. Однако скоро остыли: шибко хорошим человеком был дед Урман. Только лишь

¹К а з а н с к а я – 4 ноября.

бабка Шуматоха опять нежданно-негаданно подскакнула до гаму, как чёрт до сраму, хрюкнула:

– Когда уж ты, мать-красота моя, столь себядумна, то и ступай; подыхай на Глухой заимке своей. А на деревне нет таких дураков, чтобы спасти тебя кинулись...

Как бы там ни была черница та задворинка не любима селянами, а слова её легли, как говорится, прямо в очко. К тому же они вроде бы даже огородили Натальиных доброхотов от лишнего беспокойства. Не потому ли со временем в Глухую падь даже из охотников, даже мимолётом никто не заглянул.

А вообще-то надо было бы хоть кому-то, хоть одним глазком увидеть, какие ладные ясельки соорудила Наталья в леснухе своей для малого Назара – высокие да крепкие. Это чтобы холод от двери не подхватывал сыночка. Из корья соснового, из мягкой древесины понавыврезывала молодая мать дитёнку своему игрушек разных, яркими тряпицами пообшивала их – праздник да и только!

В тайгу надо сбегать – мать сына накормит, напоит, леснухину дверь засовом закладёт и заторопится на широких деда Урмановых лыжах в лесную чашу.

Далеко от заимки Наталья не убегала, но и возле не приходилось крутиться: зверь-то не дурак, разве станет он пастись по услеженному человеком месту?

Назарка же в тёплой избе наиграется и повалится на бочок и посапёхивает лежит. Мать домой возвратнётся, а он и просыпаться ещё не собирается. Когда глазёнки распахнёт, у Натальи уже всё готово. Посадит она сына возле себя, сама там шьёт или вяжет, да сказки рассказывает или песни поёт. За матерью и Назарка чего-то повторяет-лопочет. Вроде бы понимает, соображает. А может, и понимает. Душато у человека, она же сразу большой рождается. Большой да понятливой. Надо только уметь с нею разговаривать. Так что хватало им друг дружки, и никакого иного собеседника покуда не требовалось. Тут бы и насмелся какой удалой прибежать за заимку – провести отшельников, только бы ненужную канитель привёз.

Одно мешало Наталье сполна праздновать своё печальное счастье – настороженность тайги. Теперь молодой матери всё казалось, что не только до неё доходит в тишине всякий надлом, всякая ветриночка, но и ещё кто-то неотступно сторожит лес, а заодно и любой её шаг, любой разворот...

Так минул Зиновий¹. Нагнал он на молодой мороз снегирей-свиристелей. Переодел зайца в белую шубу. Взялся прошивать дятловой дробью малоснежный лес чище всякого солдатского барабана. Потом надумал сыпать порошею. Стал укрывать в тайге всякий и живой, и мёртвый след. Тем и приговорил он Наталью лишь только выскакивать на погоду – слушать да прикидывать: скоро ли зима-матушка окончательно обживёт сибирские уголья свои.

Скоро седая приступила не только щедро посыпать, а и круто замешивать свою завируху. На Матрёны² она так задымила курой, словно бы у белой стряпухи изо всех сусеков разом шальной Сиверко по-выдул всю как есть муку.

Только на Студита³ улеглась вся эта хурта. Небо вдруг прояснилось чуть ли не весенней лазурью. Но, взамен ожидаемого Натальей мороза-крепыша, запошлёпывало по тайге с хвойной высоты подталым снегом.

Наталья испугалась и того большей оттепели да решила пробежаться по солнышку налегке – почитать следовую книгу тайги.

Безо всякой поддёвки, только лишь в одной душегрейке, вскинувши ружьецо на заплечье, встала она на лыжи, поднялась по уклону на кромку пади и пустилась неторопливым скользом по зимнему теплу. Пошла и пошла она меж сосен величавых, мимо шустрого подлеска. Миновала безлистый карачай⁴ да негустой кедровник...

По следам, по снеговым сбоям Натальей понималось то, что зверья полон лес, да только похоже – вроде бы кто-то перед нею побывал в тайге, чуть не до смерти напугал всё лесное живьё.

Наталья прикинула, насколько пустою будет её охота, и повернула вспять. Да прямо тут вот, в десяти шагах обратного ходу, споткнулась она о только что отшлёпнутый оттиск рысей когтистой лапы. Куцая шла явно по Натальиному следу.

Интересно! Очень даже интересно.

С каких это пор таёжная шельма научилась ходить охотничьей тропою, да к тому же ещё и когти держать наготове? А где же теперь затаилась эта рыжая чертовка? За валежиной ли за крутобокой при-

¹З и н о в и й – 12 ноября.

²М а т р ё н ы – 22 ноября.

³С т у д и т – 25 ноября.

⁴К а р а ч а й – лиственница.

жала она к затылку злые уши, на сосне какой среди густой хвои схоронила она себя от охотницы?

Наталья оглядела ближний лес, где оморочья¹ рыжина должна была непременно высквозить для её острого глаза. Вот она и в самом деле заметила на старой лесине жёлто-бурую боковину рысей шубы. Сумела даже разглядеть, как под лёгким ветерком пошевеливаются её шерстинки, и, не мешкая, вскинула ружьё.

Во все стороны брызнула сосновая перхота. Затем на подталый снег свалилась здоровая отметина старой коры.

– Ворона слепая! – обругала себя Наталья, перезарядила своё глупое стреляло и осторожно двинулась по тайге.

«Что же это за особенность за такая у рыжей бестии, – думала она, – следом за человеком землёю ходить? По всем лесным законам всякому таёжному жителю положено пользоваться только своими привычками. А тут? Тут явно получается нарушение обыденного...»

Вот и вновь попала Наталье на глаза сомнительная рыжина. Что-то явно таилось на крутом выгибе дородной сосны. Теперь охотница выпускать заряд погодила – тихонько заскользила на примету. И в это время ей на голову порхнула кисточка хвои.

Не будь Наталья настороже, не заметить бы ей такой малости. А тут она вскинула лицо и... обмерла. С могучей развалины древней сосны глядело уже готовое прыгнуть на неё гологрудое чудище.

Гривастое вдоль хребта, а по охвату поясницы и ниже покрытое бурой шерстью, чудище имело рысьи задние лапы и точно такой же обрубок хвоста. Лысая, как пятка, голова была снабжена стрельчатыми ушами громадного нетопыря². Иссиня-чёрные, в пол-аршина каждое, они были распахнутыми на стороны, словно гривастый этот кожан собрался вовсе не оседлать Наталью, а воспарить над нею демоном. Пара кабаржачьих клыков торчала на обе стороны его хоботом загнутого носа. А глаза! Глаза человечески смотрели так, ровно видели в Наталье давно желанную добычу. Цепкие обезьяньи пальцы были снабжены волчьими когтями. Во лбу чудища небесной голубизны огнём сиял огромный алмаз.

Всё исходило жутью.

¹О м о р о ч ь – рысь.

²Н е т о п ы р ь, к о ж а н – летучая мышь.



Но самым зловещим было то, что в гривастом нетопыре неуловимо сквозило что-то очень Наталье знакомое.

Потом уж, после всего, Наталья могла бы дать голову на отсечение за то, что в самый нужный момент ей, растерянной, кто-то сильно поддал под локоть. Ружьё само собою взметнулось. Чудище утробно мяукнуло, потом кинулось через охотницу, спружинило на рысых лапах и огромными, лёгкими прыжками пошло нырять по мелкому снегу за частые валежины...

«Бойтся!» – подумалось Наталье. Не стала она ни о чём больше размышлять – пустилась следом: вознадеялась, что куцая нечисть оступится либо подхватится на лесину. Только лопоухая всё шла и шла землёю и, как вскорости поняла Наталья, не больно-то старалась отделаться от погони. Похоже, наоборот. Она, вроде бы, даже поджидала охотницу, когда той попадалось на пути долгое околье: крупная ли валежина, которую требовалось обойти, подлесок ли непролазный.

Дошла до Натальи глупость ею затеянной погони тогда, когда от неё повалил на окрепший ветерок индевеющий на лету пар. Пришлось остановиться.

Концом платка Наталья отёрла потное лицо, распахнула душегрейку – маленько проветриться, беспокойными глазами поискала на посеревшем небе солнце. А когда не нашла его там, где надеялась увидеть, то и спохватилась времени. И по всем приметам получилось у неё, что не попасть ей теперь на заимку свою раньше скорой темноты. Вот когда особенно почему-то ясно представила она себе когтистые пальцы на обезьяньих руках чудища и зловещий голубой огонь алмаза...

Ломилась Наталья обратно дорогою так, что тайга стонала. Виноватила она за глупость свою и себя, и ушастого беса, и даже время, которое могло бы и не торопиться столь неотвратно нагонять на землю непроглядную темноту. Вслух же она уговаривала Назарку простить свою неразумную мать, словно бы тот мог услышать её на таком расстоянии.

– Сыновеюшка, – говорила она со слезами. – Кровиночка моя! Потерпи чуток...

Тревога да поспешность её были столь велики, что, вихрем влетевшая в леснуху, она не обратила внимания на то, что дверной засов был заложен совсем иным концом!

Но озадачиться ей всё-таки пришлось: в таёжке, считай, на полный день покинутой хозяйкою, оказалось теплым-тепло. Назарка сытый, ухоженный спал себе за огородкою высоких яселек. А в лампадке, на кем-то недавно скрученном фитильке, поигрывал весёлый огонек...

В недоумении села Наталья, раскинула мозгами, решила, что какая-нибудь жалостливая бабёнка всё-таки не утерпела, явилась из деревни – проведать её с Назаркою на диком зимовье. Да, видно, не дождавшись хозяйки, темноты скорой испугалась, поторопилась убраться из Глухой пади...

«Теперь бабы поднимутся, – лезло в голову Натальи. – По целному, дескать, дню кидает дитёнка одного. Чего доброго, всем гамузом корить налетят...» Но мысли эти неприятные скоро оставили Наталью. Опять представилось ей таёжное чудище в разлете чёрных ушей, в колком сиянии голубого алмаза. Вот чьё появление на заимке было бы тревожным по-настоящему...

Однако ни бабы, ни таёжная нечисть ни на другой день, ни на третий смущённого Натальиною покоя не потревожили. Не могла бы она прокараулить даже самого мимолётного гостя, поскольку остро почуяла наступающую на неё остуду. Потому она сидела дома, хлебала травяной отвар, чтобы полностью не расхвораться. Только зря она надеялась на столь надёжную, казалось бы, подмогу; в третий день к вечеру слегла. Знать, больно глубоко вдохнул в неё Сиверко морозный свой дух.

В ознобном беспамятстве Натальи порою наступала мутная полынья сознания. Тогда она порывалась подняться – досмотреть Назарку. Да только вся её сила уходила на этот порыв. Затем Наталья вновь упала в жаркое бездумье...

Когда простуда, наигравшись, оставила хворую лежать в безволии на нарах, да когда Наталья все-таки сумела поднять голову, чтобы оглядеться, изба вновь оказалась и чистёхонькой, и тёплой. Даже чайник на плите дышал кипением. А Назарка, в чью сторону еле живая Наталья и доглядеть-то сразу побоялась, ухватился розовыми пальчиками за край высокой огородки своей и стоит приплясывает да повизгивает – радуется матери.

Мать даже заплакала бы, да сил не хватило. Но не думать она уже не могла. Потому и подумала с благодарностью: «Это чья же добрая

душа не испугалась бегать в Глухую падь, чтобы и за мною приглядывать, и дитёнка моего холить? Дай ей Бог здоровья! А я поправлюсь – в долгу не останусь...».

Потом думальщица как могла напряглась, села на нарах, посидела, дождала того, кому собиралась сказать сердечное спасибо, да и забеспокоилась: никто в леснуху не явился и во дворе также не было слышно никакого живья.

С великим трудом Наталья всё-таки постаралась подняться, по стеночке, шаг за шагом, добралась до двери, с грехом пополам оделась и вышла на погоду. Ей не терпелось убедиться по следам, где же её благодетель: успел ли он убраться в деревню и стоит ли сегодня мучиться – ждать его.

За порогом леснухи стоял не по святцам весёлый декабрь. Он купал ярое солнце в молодых снегах, и оно, проказничая, брызгало во все стороны золотыми лучами.

Оно принудило Наталью прижмуриться. Улыбнувшись столь чистому на земле празднику, хворая огляделась крутом. Однако же, кроме белого половодья нетронутого снега, ничего не увидела. Нигде никакого следа никто для неё не положил. Оставалось думать, что это она сама в бредовом беспамятстве столь исправно вела хозяйство, что, помимо избяного ухода, сумела когда-то и дровец наколоть, и снег от крыльца чисто откинуть...

Быть того не могло!

Потому Наталья ещё пристальней оглядела вокруг заимки белую непашь да вдруг и различила поодаль, за парюю отстоялых от лесной чащи молодых елей, изволок кравшегося по снегу зверя. Далее, к лесу, заметила она одну, другую, третью вмятину, оставленную мощным отскоком всё тою же, понятно, живностью. Знать, была она откинута в хвойный сплошняк внезапным испугом.

Конечно, не больно трудно было Наталье предположить, что у зимовья побывала куца нечисть.

Расстояние до оставленного ею следа так просто Наталья бы не осилила, пришлось опереться на палку. Догадка её не оказалась пустой: изволок оказался пропечатанным задними рысьими лапами. Под этими вмятинами без труда угадались теперь Натальей следы когтистых рук. Как охотники говорят, зверь шёл лапа в лапу.

«Она!» – сказала себе Наталья и поняла, что, видно, лопоухая и

есть та самая нечистая сила, которая справилась с Назаром. А теперь знать, чудище до неё самой добирается.

Когда Наталья воротилась в леснуху, перед ней вдруг встал ещё один вопрос: кто хозяйничал на заимке, когда гривастая бестия водила её по тайге? Кто доглядывал за нею за хворой? Кто Назарку без неё нежил? Кто?

Не могла на него ответить себе Наталья; решила, что надо поскорей выздоравливать: тогда, может, что и прояснится.

На более-менее терпимую поправку ушла у неё добрая неделя. Все эти дни Наталья старалась почаще выходить на погоду, ревностно оглядывала округу. Но на снеговой новине примечала она лишь пернатой мелкоотою натрусанные кисточки лёгких, крохотных следов. Сорока кое-где, правда, оставляла после себя рытвины, когда с разлёту окуналась по самые крылья в пену чистейшего снега.

Когда же сердитый морозец поприжал пичужью бойкость, тогда и сорока сообразила, что отошла её радость нырять безоглядно в холодную кипень. Теперь, на хрупкий наст, садилась она как на белое пожарище, где можно ненароком опалить лапы.

Наталье достаточно было глянуть на сорочью осмотрительность, чтобы понять — идти в тайгу рановато: малый зверь по такому чир¹ следа не оставит, крупный, вряд ли по ломкому пути настигнутый охотником, впопыхах только зря лодыжки поизрежет и загинет, чего доброго, попусту.

Требовалось дожждаться мороза покрепче да к нему бы хорошо потерпеть до щедрой пороши.

Дождалась Наталья путной погоды; дверь леснухи посадила на замок; направилась в тайгу. Да не успела она отойти от заимки и полверсты, загорбком прямо почуяла на себе пристальное внимание.

Ждала. Потому и почуяла.

Безотчётная сила кинула её в сторону с таким проворством, что уже слетевшая на распущенных ушах с крупной лесины гологрудая нехристь успела только зацепиться острым когтём за подол её полушубка; расхватила паразитка одёвку прорехою до самой подбивки.

Покуда Наталья опомнилась да покуда вскидывала ружьё, куца ведьма оказалась для заряда уже недосыгаемой. Она летела через валежины да рытвины таким скоком, будто бы ей из-за каждой леси-

¹Ч и р — наледь на снегу.

ны доставался кем-то посланный увесистый пинкарь. Должно быть, нечисть отлично понимала, что Наталья не пустится больше за нею следом, потому разлётной своей прытью давала ей понять, что на сегодня с неё хватит.

С больною от переизбытка всяких дум головою Наталья воротилась на заимку, беспокойно оглядела все подступы до леснухи. Ничего тревожного не отметила и только тогда отворила в таёжку дверь.

Всё было, как было, как оставлялось Натальей полчасом назад. Лишь Назарка не гулюкал в ясельках, а успел когда-то свалиться на живот да так и уснул. Да так и посапывал он в блаженном покое.

Наталья скинула с себя располосованный ведьмою полушубок, направилась достать с полки чурок с нитками да иглу и тут попятилась...

На самой середине стола лежала кем-то забытая рукавица белого заячьего пуха. Кто-то, зная, больно торопился убраться из леснухи, сумевши непонятным образом учуять на расстоянии Натальино приближение.

Кто? Ну, кто? Следов-то никаких во дворе нету.

И тут пало Наталье в голову: уж не сам ли земляной дедушка бывает у них в таёжке? Кому ж ещё, как не ему, столь умело, столь скрытно делать добрые дела?

Неизвестно, сколько б ещё стояла она посреди избы в полном раздумье, кабы внезапно да не потемнело в леснухе. Обернулась Наталья до малого оконца, и что же? А то, что всё его глядельце залепила клыкастая рожа гологрудой нечисти. Лопоухая рыскала по избе кровожадными глазами, будто искала в ней и никак не могла увидеть хозяйку. А когда уткнулась в неё диким взором, то вдруг захохотала с человеческой издёвкой. Так захохотала, что с потолка леснухи посыпалась труха, а за ясельной огородкою резано крикнул и закатился дурнинушкой перепуганный Назарка.

Если бы Наталья могла тут же кинуться на черноухое поганище, она наверняка повалила бы стену и придавила ею эту нехристь. Но покуда подхваченный матерью мальчишка приходил в себя, гривастой нежити и след простыл.

Вот когда поняла Наталья, что не вольна она далее оставлять сына в столь прокажённом месте. Хочешь не хочешь, а пришлось ей прямо поутру собирать Назарку, усаживать его на те самые салазки, на ко-

торых она запрошлой весною доставила на погибель в Глухую падь своего Назара, да отправляться в деревню.

Куда же ей ещё-то было податься?

Пробивалась Наталья снеговой тайгой и всё прикидывала: до какой бы ей доброй души с нуждою своею сунуться. Если и поймут её упорство деревенские бабёнки да не станут над нею куражиться, то и тогда надо подумать, у кого оставить парнишонку. У Авдотьи, к примеру, Минаевой своей кашеедины, – хоть корыто бери да посередке избы ставь. У Лизаветы Корюковой? У той полна хата престарелого хворья; тут и без Назарки последний сон жалобами да стонами у кормильцев отнимается. Ежели до Сивалихи сунуться, так у неё, бедной, до того пластанка кривобока, что домовой, должно быть, в курятник ночевать бегаёт. Про тех же, которые в достатке своём денно и ночью токуют, Наталья и думать не стала: те всё одно чужого горя не услышат...

На просёлок успела выбраться думальщица, но так и не решила, до кого бы ей приткнуться со своей обложившей головушку заботой?

Однако жизнь наша – то сума, то чаша; то она свет, то она тень... и так всякий день.

На великую на удачу вдруг видит Наталья – дед Урман шикает разлапистыми своими лыжами повдоль заснеженного просёлка.

Радость-то какая, надо же! Советчик ко времени.

– Не в деревню ли поспешаешь, дедушка? – взамен привета крикнула ему Наталья ещё сыздали.

– Туда, красота моя ненаглядная. Туда, – со знакомою ласкою отозвался Урман, – по людям стосковался. Старею, видно. Неделью как дома был и опять потянуло. А ты как?

– Бабы-то в деревне, поди-ка, всё судят меня? – спросила Наталья, опережая ответ.

– Судят, должно, – отозвался старый, да и пошутил. – Судить – не бобы садить: за каждым разом сгибаться не надо.

Тут он, подойдя вплотную, оглядел Наталью со вниманием, узнать захотел:

– Пошто это тебя закрутило? Осенним прям-таки листочком свернуло? Али опять чего на заимке стряслось?

– Стряслось, – отозвалась Наталья. – Наскрозь проняло!

И доложила тревожно:

– Нечистая сила объявила себя наглядно!

– Да ну! – подивился Урман. – А я, признаться, думал, что Назар твой, почуявши смерть, сам в тайгу убрёл – тебя чтоб горем не убить, надежду оставить.

– Не-ет. Душа моя знает – жив Назар. И не уберусь я из Глухой пади, покуда верю в это! А там, где есть вера, и век делу – не мера.

Обсказала Наталья всё как есть.

Выслушал её Урман. Со вниманием выпросил обо всём том, о чём мы с вами уже знаем, головой покачал, языком поцокал. Насчёт рукавицы заячьей сказал:

– А может быть, вовсе и не в спешке забыта она? Может, кто с умыслом оставил её на видном месте – себя обозначить захотел?

– Я и сама пробовала так думать, – призналась Наталья. – И оттого пала мне в голову мысль: уж не сам ли земляной дедушка бывает у нас в леснухе?

– Вот-вот! – подхватил её догадку Урман. – А лопухое поганище – не та ли это самая ведьма, которая будто бы никак не даёт чудодею определиться со своей заботой в Глухой пади? Уж не надеется ли земляной дедушка на то, что повезёт приструнить злодейку? Вот он и улавливает моменты, чтобы подмогнуть тебе, когда допекает тебя нужда.

– Похоже, что всё это так и есть, – согласилась Наталья. – Только одного не пойму: чего бы тогда ему меня таиться? Пошто он мне-то не покажется? Не доверяет, что ли? Он же наверняка знает, что мне приходится над вопросом этим голову ломать?

– Бог его поймёт! – пожал плечами Урман. – Ить у всякой тайности свои крайности. Надо тебе ещё маленько потерпеть. А то, может, лучше, и правда, совсем в деревню вернуться?

– И не подумаю! – нахмурилась Наталья. – Мне бы вот только Назарку на время до кого-нибудь определить – тут же обратно ворочусь. Уж коль я уверена, что жив Назар, так как же я с уверенностью с этой в деревне останусь жить? Кем же тогда я буду перед собой?

– Ладно, ладно, – заторопился Урман успокоить её, – и без того вижу: крепко связала ты себя верой своей да клятвою с Глухой падью. Настолько крепко, что и мне теперь грешно умалчивать о том, о чём знаю, о чём в первый раз не досказал. Ведь до незабытого ещё народом землетрясения в наших таёжных краях никакого чудодея и в

помине не было. Объявился он тут сразу после того, как образовалась Глухая падь. Должно быть, и в самом деле, только в этом провале земном находится то место, где умение его колдовское способно добыть из камня кровь.

– Зачем?

– Время говорит о том, что земляной дедушка вечен. И ещё оно говорит о том, что жить он давно устал, но помереть может, только напившись каменной крови. Надо тебе знать, что земля наша матушка в необъятном мире Господнем малым островком плавает. Кроме неё много в общем хозяйстве таких островков. Далеко не на всяком живность разведена, но случается. И вот на одной из таких удачных земель как-то взял и выродился такой умник, который домудрился до того, что сотворил для себя полное бессмертие. Торопиться ему стало некуда, бояться нечего. Оставил умник мудрые дела свои, занялся одними сладкими радостями. Прошло сколько-то времени – засахарился умник. Всё ему стало приторным, оскомным и потому виноватым. Вот и стал он гасить сладость жизни своей всяким безобразием. Вскорости умник так осточертел сородичам, что те, за неумением избавиться от него, сговорились не замечать выродка, какой бы пакости он ни натворил. Много, много зла принял он на свою душу. Наконец отяжелел. Забился в одиночество. И от нечего делать вспомнил опять о мудрых делах своих. И тогда решил он отлучить от себя всё содеянное зло и уничтожить его. Долго пришлось ему опять высчитывать да выдумывать. Всё вроде бы учёл. Одной только циферкой и ошибся. Отделиться-то зло полностью от него отделилось, даже своё собственное безобразное тело обрело, да только, вопреки желанию умника, сохранило в себе его столь надёжное бессмертие. Однако творить кому-то стороннему большие беды оно уже не могло. И вот это умниково дурище всею злобой перекинулось на своего создателя. Можешь себе представить, какова у него вечная жизнь наладилась. Одного дня не проходило без отчаянья. И всё-таки ухитрился он, при полном-то надзоре зла своего, выведать у природы, каким ему путём вернуть себе смертность. И вот что подсказало умнику его миропонимание: убудет он из жизни кошмарной своей только тогда, когда напьётся каменной крови. С ним пропадёт и его зло. Вроде бы всё определилось. Но ему опять пришлось схватиться за голову тогда, когда он узнал, что на родной его земле нужного камня нет. Вот уж когда распотеши-

лось над хозяином сотворённое им чудище! И всё-таки умник нашел выход: выведал у природы: подходящий камень есть. А уж как ему выпало добраться до нас, об этом нужно спросить самого земляного дедушку. Но ежели бы и пожелал он тебе об этом поведать, вряд ли бы ты его поняла. Да и на што тебе его доклад? Тебе б только понять, куда Назар твой девался, да как его вызволять? И вот тут, крути не крути, получается так, что тебе, Наталья, выпала нужда подсобить бывшему умнику добыть каменную кровь. А ведь поганищу, из его зла состряпанному, помирать-то не хочется. Потому оно зорко следит за дедушкою земляным. Чуть только потянуло из Глухой пади дымком, оно кидается разгрести подземную кухню. Видала, сколь в провале рытвин? Один будто бы раз этот ведун выварил из камня отраву. Только зло его успело пронырнуть в подземелье, напустить лесного воздуха, от чего каменная кровь спеклась голубым алмазом. Чудище схватило алмаз, втиснуло его себе в лоб и объявило: покуда самоцвет при мне, тебе, умник, не вспомнить порядка добычи каменной крови. Однако успел оговорить своё зло. Оставил он за человеком право отнять у поганища алмаз. Вот почему оно отпугивает людей от Глухой пади...

Покуда дед Урман всё это обсказывал Наталье, оба они не заметили, как поднялись на взгорочек, с которого была уже видна утренними дымками исходящая деревня.

– Ты, вроде бы, сам причастен ко всей этой странности, – сказала Наталья Урману, когда тот умолк. – Вот слушаю тебя и всему верю.

– Не мудрено, – усмехнулся старик. – Не зря же говорят, что меня сама тайга родила. Выпадало мне видеть в ней не только зверя. Довелось как-то встретиться и с земляным дедушкой. От него и причастился. Поганище его и на самом деле не способно причинить человеку большой беды. А вот заневолить его может. Случись и с тобою такая неволя, сказать я тебе не могу, сколько она продлится, сколько придётся сыну твоему сидеть за чужим столом. Но ежели ты всё-таки надеешься исполнить свой зарок, то положишься-ка в Назаркином определении на меня – доверь мне своего сапуна. Я его лучше всякой няньки догляжу.

– Вот те раз! Ты же сам говоришь, что со мною может случиться долгая неволя. Куда ты тогда с малым-то с таким денешься? Года-то твои, поди-кась, Богом не один раз уж подсчитаны...

– Э-э, нет! Ты не гляди, что я стар, – весело заявил Урман. – Я ещё тебя с твоими двумя Назарами переживу. Я ведь и правда тайгою рождён да на диком меду замешен. Да и не верю я в то, что ты позволишь нечистой силе долго себя в плену держать...

– Ну, коли так... Гляди! – решила Наталья. – Тогда что ж! Тогда принимай доводок...

Вот так вот. Безо всяких проволочек, оговорок и условий передала Наталья старому Урману бечёвку от широкоступных салазок, на которых спокойно посапывал Назарка, развернулась на пригорке, скользнула на лыжах по ранней заре и скоро утонула в тёмной чаще тайги. И, конечно же, не мог видеть старый Урман, что творилось этим временем в её материнской душе.

А творилось в ней то, что сцепились там драться беда с бедой – не разлить водой.

«Ежели всё-таки взяться да развернуться, пока не поздно? К Назарке воротиться? Вряд ли кто осудит меня. Только ведь я сама себе покоя до самой смерти не дам. Ну, а вот так – идти на авось? Кабы плакать всю жизнь не пришлось...»

Не так, конечно, складно, не столь ясно думалось Наталье. Целый туман забот стоял над болотом её горя. И всё же успевала она видеть переливы зимнего рассвета: то сизое, то пепельное, то голубое серебро заснеженной тайги. И понимала она, что случись с нею долгая неволя, когда-нибудь сын её Назарка, полный мести, пойдёт по этой же самой дороге. Сумеет ли он воротиться к людям? Будет ли он волен надышаться вдосталь земною благодатью или канет в вечную тайну Глухой пади?

– Нет, нет, нет! – голосом возражала Наталья жившему в её уме чудищу. – Не мать я, что ли? Не жена ли я мужу? Не заступница ли я кровным своим?

Оказавшись по-над Глухой падьёю, Наталья не стала огибать крутояра – пустила широкие лыжи напрямик. Внизу она хорошенько огляделась и медленно заскользила по тишине...

Небо уж пылало полным рассветом. Таёжный провал дышал прелестью несказанной. Сосны на залитой солнцем стороне стояли теперь не в застенчивом блеске снегового серебра – горели чистейшим золотом. Этот утренний праздник бодрил Наталью, как бодрит молодого воина уверенность, что правом защитника волен дарить он

людям земную отраду. И всё-таки была она крайне насторожена. Так ходят лишь только по тылам врага. Однако же чутьё своё напрягала зря: тайга, знай, меняла красоту на красоту, но ни разочку не дрогнула ни единой веткою.

Кромкой леса обогнула Наталья чуть ли не всю впадину: старалась она заглянуть в забитую снегом чащу – нет ли где какого тревожного следа? До заимки своей подвернула уже с другого края пади, пригляделась и определила, что леснухина дверь распахнута кем-то настежь.

Неужели это она сама умудрилась впопыхах оставить таёжку полой?

Да не может того быть!

– А, Бог его знает, вконец закрутилась, – сказала она себе и заторопилась к заимке, будто вознадеялась успеть прикрыть в ней хоть какое-то тепло.

Но поблизости опять засомневалась – не могла она кинуть избу распахнутой, не могла.

Вот тут и увидела она из-за леснухи топкий, тяжёлый след. Он шёл ко входу. По нему Наталья сразу же поняла, что на заимку пожаловал человек в немалых годах.

Земляной дедушка!

С этой уверенностью постояла она в стороне, пождала, не выйдет ли чудодей наружу. Тихонько подкралась до леснухи и заглянула в её нутро. Увидела: кто-то небрежный отворотил в избушке пару широких половиц и теперь громко сопит в так и не дорытом Назаром подполье. Сопит с такой силою, будто бы кажилится поднять на загорбок всю таёжку разом.

Это ещё зачем?!

Наталья скинула лыжи, на мягких катанках шагнула в избушку и потянулась тайком глянуть в проём. И что увидала? В полутьме испода, пяти минут не дожившая до своей на тот свет очереди, пыхтела бабка Шуматоха. Она с такой невероятною быстротой рыла голыми руками землю, ровно торопилась поскорее добыть себе вторую жизнь. Старица и не почуяла даже того, что кто-то нагнул над проёмом.

По всему увиденному Наталье стало догадно, что задворенка явилась в леснуху не за своим. За своим добром люди ходят спором, а не вором. И не суетятся они до той поры, что даже глаза потеют...

Подумалось так Наталье потому, что бабка Шуматоха отерла рукавом поддёвки испарину со своего лица и...

Вот уж никак не ожидала Наталья, что развязка будет столь не-долгой.

Бабка разогнулась, низкий платок съехал с её лысой, как пятка, головы, чёрными лопухами распахнулись стрельчатые уши, во лбу сверкнул алмаз!

Наталья лишь только на короткий миг отпрянула от проёма. Другим моментом старица, схваченная ею за загривок, уже дергалась на весу и верещала свинячьим голосом.

Другую рукою Наталья хотела выколупнуть самоцвет, да только тот вдруг потускнел под её пальцем, задрожал ртутью, выкатился из гнезда, тяжело хлопнулся об пол, сквозь щели быстро просочился в подполье и пропал безо всякого остатка. Старуха выпустила клыки, завывала, рванулась следом, ляпнулась животом на половицы, стала рвать на себе одёвку. Потом страшно мяукнула, подхватила уже на рысьи лапы, одним скачком вымахнула во двор... Над леснухою громко заорала перепуганная ворона...

В полном безволии, в горе от того, что она ничего не успела узнать о Назаре, Наталья присела на нары. Посидела сколь могла. Не понимая для чего, поднялась и только теперь разглядела на столе никем не тронутую рукавицу заячьего пуха. И тогда ей подумалось, что она для земляного дедушки сделала всё, что могла, теперь он волен прийти в леснуху, в которой ей самой оставаться больше не-зачем.

Вроде бы и не очень долго провозилась Наталья с лопухой не-чистью, однако же полдень когда-то успел перевалить через Глухую падь, и теперь небо теплилось на вечерней стороне. А выбраться из провала удалось ей и вовсе тогда, когда низкое солнце успело уже исполосовать тайгу длинными тенями сосен. Оно, зная, торопи-лось спрятаться за лес, потому что боялось заглянуть в Натальину душу.

Что же там такое невыносимое творилось в её душе? Вязкая ли досада от прежней неясности, дурнота ли от увиденного, страх ли от предчувствия долгого опять одиночества? Того самого, от которого сходят с ума даже куры...

Пожалуй, что только забота о Назарке удерживала теперь На-

талью от позыва кинуться неистовой тварью в бескрайние черни, ломиться по буреломам-кочкарникам туда, где исходят на нет любые страдания. Да, лишь ради сына не могла она допустить себя до такого предела, откуда срываются люди в вечный покой. Однако того пути, по которому она шла, Наталья не понимала и не отменяла его ни усталостью, ни временем...

Очнулась она тогда, когда не осталось никакой силы. Увидала вокруг полную ночь, глупо улыбнулась щекастой луне, которая до самого до пробора была нацежена разлитым светом...

Не сразу поняла Наталья, в каком углу тайги она находится. Когда же выбралась по глубокому снегу из-за сосен на луговину, то поразилась – стояла она аккуратно против своей заимки.

Вот те раз – чёртов пляс: из влумины¹ да в яму... Когда она столь круто сумела развернуться в тайге, когда соскользнула с яра обратно в Глухую падь? Казни её, не сумела бы Наталья ничего объяснить толком. Что теперь поделаешь?

«Надо перебыть до утра в леснухе, – подумала она. – Мороз крепчает. Ещё где-нибудь застыну».

Двинулась она до леснухи и скоро заметила, что лунный свет над избушкою колышется. Похоже, труба дышит теплом!

– Все-таки пожаловал... дедушка земляной, – сказала себе Наталья и заторопилась до крылечка.

Минуя светлое оконце, не утерпела, заглянула в леснуху. Так оно и есть! На плите чайник пыхтит-парует, на просторных нарах кто-то спит, укрытый шубою до самой маковицы.

И вот уже Наталья отворила дверь. Вошла.

Сразу отметила, что на столе не одна – две рукавицы лежат. Потянулась сравнить их, да мимоходом, по привычке, глянула за огородку высоких яселек. Глянула и обомлела: поверх мягонькой перины лежал Назарка.

Наталья ахнула, не сторожась более, кинулась ощупать сына – живой ли?!

Малый потянулся под её руками и громко засмеялся во сне. Спящий на нарах поднял голову.

– Назар!

¹В л у м и н а – яма, выбоина.

Ох и долго же не могла Наталья успокоиться. Она то плакала: припадая до груди мужа, то смеялась, обнимая крепкого его да здорового. Удивлялась-спрашивала:

– Где ж ты столько времени был?

– Рассказать – не поверишь, – отвечал Назар. – Совсем рядом был. В нашем подполье. Подкопать маленько, можно там дверку обнаружить. Там земляной дедушка живёт. Ты ж его знаешь. Ты же сама ему нашего Назарку препоручила. А теперь он нас отпустил. А тебе вон подарочек переслал.

И показал Назар на рукавицы заячьего пуха.

Наталья приняла со стола подарок, вздела одну из рукавиц на руку; мешает что-то. Сняла. Тряхнула. Стукнулся об пол, порхнул во все стороны яркими лучами голубой алмаз...

Ну, вот и всё!

Чего ещё вы от меня ждёте?

Да. Пробовали Наталья с Назаром погреб подкопать. Хорошее подполье вырыли, а дверки в жильё земляного дедушки так и не обнаружили. И оставили эту тайну для нас.



СТАРИК-БОРОВИК



частье — оно чудо такое, которое за тебя никто не сотворит. Смолоду мы все тянемся к такому чуду. Но земной путь долог. На том пути перехватчиков ой как много! Кого жадность одолевает, кого беда осилит, кого хвороба заест, а бывает, и простая дурь голову закрутит... и ко всякой беде первым прибедрком можно подставить наше глупое «авось». Спрячешься за него, и не найдёт тебя твоё счастье. Так вот кабы не «авось», куда бы лучше жилось. К примеру, будет сказано, жила в деревне, что вверх по нашей речке этак версты на четыре отстояла... жила, значит, в той деревне Дашутка Найдёнова. Жила, как все живут, ничем особым от своих однолеток не отличалась. Разве что без матери рано осталась. Так и сиротство не ахти выделяло её, жалеть было не за что. Отец её, Федот Найдёнов, второй раз не стал жениться, а привёз в дом сестру свою, кривую Финету. Финета в девчонках ещё потеряла один глаз. С подружками в лесу играла да и наскочила на острый сучок. От кривоты своей и осталась на всю жизнь одна.

— Мне, — говорила, — на себя один раз самой-то глянуть тошно, а человеку — всю жизнь смотри...

Когда же Финета к брату перебралась, очень радовалась — в семье

жить будет. Привязалась она к Дашутке как к родной дочери, но держала её в работе и строгости.

Семья была со жменьку, а всё не на серебре едали. Бедность тогда у простых людей большая была. Многих невест в стороночке держала. А и замужество тоже не приносило великого праздника.

Понимала Финета, что и к её Дашутке не князь приедет свататься, и всё же больше того боялась – не повторила бы племянница её судьбы... Вот она и приглядывала для Дашутки жениха.

– Пусть, – говорила, – хоть худая крыша, а всё не каждая капля на голову упадёт.

Дашутка же по молодости подсмеивалась над Финетиными заботами.

– Ты гляди, гляди, тётка Финета, а я посмотрю.

И отец ей потакал:

– Человеку на земле всего по одному разу отпущено: один – родиться, один – помереть, и любить тоже один раз дано. Так что не спеши загадывать, торопись думать!

Оно, конечно, и для Дашутки женихи находились, но больно долго не упрашивали: дело твоё – не хочешь, как хочешь... Другие сговорчивее.

Финета всё охает, а Дашутка ластится к ней:

– Молчит моё сердце, милая моя тётечка. Слыхала я в людях, что сердце петь начинает, когда узнает суженого своего.

– Верно, – поддакивал Федот, – в хороводе плясать и то не с каждым хочется...

И тут пошла по деревням молва: ходит-де по дворам Христа ради Старик-Боровик – самой земле родной брат, тайге нашей хозяин заботливый. Ходит Боровик, и всё чего-то вынюхивает, всё высматривает. А сам под сумошника рядится, чтобы его, значит, от других попрошаев отличить нельзя было. Как только пригреют его в каком дворе от чистого сердца, так он, уходя, в том хозяйстве прибыток оставляет.

И не то чтобы выдернуть в огороде вместо свёклы узелок с деньгами, а так: коли в доме больной человек лежит – встанет, или хлеб в тот год невиданный на полосе уродится... Не то сваты налетят со

всех сторон – разом выдадут замуж ту, которой прежде и другого-то имечка не было, как «горевушка».

Финета на эти рассказы и клюнула:

– Вот бы нам с тобой, Дашутка, заманить Старика-Боровика!..

Всё чаще, всё громче заповторяла Финета свои слова. Стала она хожалых людей выглядывать, к заплоту часто выходить – высматривать... Потом и зазывать принялась...

Ну и навадились у ихнего стола каждодневно сироты убогие пастишь...

Федот сестру не останавливает:

– Пусть её... – смеётся. – До костей поди-ко не обглодают...

Напоит Финета, накормит бесфамильника дорожного, спать укладёт... Утром не успеет сумошник узел свой собрать, а уж Финета все окна проглядела, сватов ожидаючи.

Ну погарцует у окон, посуетится и плюнет – осердится. А потом опять своё, опять залучает всяких захребетников. Дашутка стала укорять тётку:

– Смеются надо мною подружки... Что же ты делаешь, тётка Финета?

И Финета уже понимает свою пустую затею. Уж и грозитя с досады:

– Не пущу никого! Хоть помирай под забором, не пущу!

И почти той же ночью постучись кто-то в калитку. Ночь расходилась ветренная, мокрая... А стукоток уж такой несмелый, будто и не надеется тот, кто стучит, что его в тепло пустят.

Если бы Финета не прислушивалась ко всяким шорохам, не услышать бы ей того стука. Встрепенулась, Дашутку посылает:

– Беги скорей, отвори! Может, его судьба послала?..

– Ты ж зарок дала, – сидит Дашутка. – Уж лучше пусть человек в чужом дворе попытает добра. Может, там его за простое благословение примут.

– А я говорю, ступай! – осердилась Финета. – Неспроста у меня колотится внутри: он это!

– Эх, тётка Финета, тётка Финета, какая ты хорошая раньше была! – упрекнула Дашутка.

Но послушаться – послушалась. Пошла отворять калитку.

На дворе дождь хлещет, берёза обтрёпанная жмётся к самой стене дома, а ворота ветром распахнуло... Старик же убогий в калитку скребётся – слепой!

У Дашутки сердце занялось. Взяла она старика за руку, ведёт:

– Пойдём со мною, дедушка. Тепло у нас, сухо...

А Финета от нетерпения на крыльцо выскочила, стоит, присматривается. В темноте такой разве чего сразу разглядишь?

– Э, нет! – вдруг замотала руками Финета. – Этого не веди! Не веди, говорю, этого! В который раз он завертает к нашей калитке. Ишь ты! Узнал дорогу. На той неделе я кого два раза кормила? Хватит, батюшка мой, хватит!

Дашутка в слёзы:

– Кого ты гонишь, тётка Финета?

Стали втолковывать одна другой свои понятия. А старик тем временем выбрел на улицу, напрямки сырою луговиною захлюпал куда-то: добрую дорогу сослепу да с горя потерял.

Дашутка хватилась, в сенях отцову шубу да сапоги натянула, старика уж у самого леса догнала.

– Ты, дедушка, шибко на тётку мою не серчай, – плачет... – Она ж из-за меня такою сделалась. Слыхал, поди-ко, про Старика-Боровика?

– Слыхал, – гладит её старик по голове, – а то как же...

– Так тётка моя Финета уж больно в того Боровика поверила, обнадеелась... Раньше-то, бывало, она и без того каждому подаст, а теперь всё Боровика ждёт. А идут другие да другие... Она и досадует, как малец на палку, которая не стреляет. Она бы хотела, чтобы с его лёгкой руки ко мне добрые сваты приехали, а то приданое такое бы дал, на которое женихи кидаются... Не может никак понять: зачем бы тому Боровику нищенствовать, если бы у него у самого чего за душою было?

– Так ить может статься, что он лохмотьями только прикрывается?

– И ты, дедушка, про то же, – улыбнулась Дашутка. – Скажи лучше, куда ночью пойдёшь-то? Может, к нам воротимся. Поди-ко, отошла теперь тётка моя, сидит, кается...

– Да уж нет, дитятко, – отвечает старик. – Я уж лучше до Белояровки пойду. Там у меня родня никакая с краешку деревни живёт. Ты меня, внука, только на дорогу выведи.

– Какая ж такая Белояровка? – спрашивает Дашутка. – Не слыхала я об такой деревне.

– Успеешь ещё услышать, – загадкой ответил слепой. – Твоё время впереди.

– Такая ночь поганая, – жалеет старого Дашутка. – Куда ты? День настанет – тогда пойдёшь.

– У меня, внученька, и ясным днём в глазах чёрная звезда полыхает. Я уж и помнить забыл, какой он, день-то, бывает.

– Ой, дедушка. Не то я говорю, – кается Дашутка. – Провожу я тебя, сколько надо.

– Пойдём, – соглашается слепой. – Проводи, когда тётка не заругает.

Вот и пошли они хлипкою дорогой повдоль тёмного лесу. Разговаривают идут, посмеиваются, где смешно, вздыхают, где тошно... Дашутка про своё говорит, старик – про Дашуткино... И про дождь забыли, и про ветер... Да и кончился тот дождь, улеглась погода... Дорогу подморозило. Луна выплыла. Светло Дашутке.

Слепой и говорит:

– Шибко ты, внучка, ноги погоняешь. Запалила меня вконец... Дай-ко передохну. Тут брёвнышко должно у дороги лежать. Сиживал я тут...

Дашутка и правда бревно увидела.

– Какой ты памятный! – удивляется.

– Нельзя мне, внученька, по-другому... Я памятью вижу...

Сели они на бревно. Сидят, толкуют. А старик всё чего-то ногой пришаривает у бревна.

– Погляди-тко, внучка, что это за камешек у меня под ногою ка-тается.

Подняла Дашутка старикову находку, подивилась:

– Тяжёлый-то какой! Поди-кось, фунтов с пять будет.

– Отри камешек хорошенько, – советует слепой. – Сними грязь-то.

Отерла Дашутка находку об отцов полушубок...

– Дедушка, – шепчет, – кабы ты видел, что ты нашёл. Однако золото! Помереть мне на месте, золото!

– Ну ты, – хитрит старик. – Откуда? Золото! Кто ж нам с тобою его на дороге поклат?

– Истинный Христос! – крестится Дашутка. – На-ко вот, держи. Это хорошо, что золото. По дворам скитаться тебе нужда сразу отпадёт, будешь теперь на своей печи есть калачи...

– Не-е... На печи я скоро помру. Не привык я к баловству. Возьми-ко ты себе этот камешек. Тут столько, что и тётка Финета об таком не думала, не гадала.

– Не возьму, – дёрнулась Дашутка. – Как же я после того жить на свете стану, слепого обобравши. Мне отец говорил, что золото – оно зоркое. Оно само видит, кому в руки даваться. Ты его нашёл, ты его и бери. Мне чужого не надо.

– От неслух! – смеётся старик. – Я ж от чистого сердца... Кабы тётка Финета его увидела, с руками бы оторвала...

– Ты мою тётку не скупи. Она не жадностью болеет, а заботой. И не суй мне своё золото.

После Дашутка повинилась перед стариком:

– Вишь вот. Не успели мы его, проклятое, в руки взять, а уж, гляди, поругаемся скоро. Убери ты его подальше.

– Дело твоё, внучка. Тебе не надо, и мне ни к чему... – сказал так слепой и бросил золотой камень подальше от дороги. – Лети, камень-приворот, во невестин огород.

Дашутка было кинулась в тайгу да раздумала. Назад вернулась, а слепого на дороге нету. Дашутке страшно стало: заблудится в лесу слепой, пропадёт старый!

– Ау, дедушка... Ау, миленький... Вернись.

И увидела она: идёт кто-то к ней из леса. Ей и не к уму, что уж больно прямо идёт, уж больно смел для слепого... Побежала навстречу.

А луна, а луна!..

Дашутка от испуга к дереву спиной привалилась, ноги не держат: старик-то – не старик, и не слеп, и не сед, кудри волною льются, чистый голос молодо звенит.

Дашутка слушает и не слушает: смотрит на парня во все глаза, и поднимается в ней сила, какой она сроду в себе не чуяла. И не то чтобы сердце её запело, а так, будто кого загибшим считала, а он вернулся... Такая горячая радость, что, не остуди её слезами, сгорит сердце, не выдержит.

– Ты чего плачешь-то? – спрашивает парень. – Испугал я тебя. Ну что теперь поделаешь? Ты уж не сердись. В лесу-то почему так запозднилась? Пошли, я тебя к деревне выведу.

Пришла Дашутка домой и не знает, как ей о лесном человеке думать, а тут ещё Финета её донимает:

– Чо он хоть тебе говорил-то?

– Ничего такого, – таится Дашутка.

– Как ничего? Обижался поди-ко. Ах ты, Господи Боже мой! Прости ты мою душу грешную. По тебе вижу: проклинал меня старик. Как я могла прогнать слепого человека, да еще в этакую-то ночь. Будь он трижды неладный, Боровик этот! Совсем задурил мою головушку.

Дашутка видит такое Финетино раскаянье и не стала долго молчать, только про парня скрыла, а что старик сказал, камешек бросивши, про то чисто выложила.

Не надо было ей про огородную-то приговорку Финете сказывать. Лишнее оказалось.

Ночь-то она кой-как прокрутилась, а утром чуть свет побежала в огород – самое время было капусту рубить. Дашутка тоже привыкла от тётки не отставать. Прямо у первого кочана села Финета на землю:

– Тошно мнешеньки! Золото!

Дашутка видит, прячет что-то тётка в руке, прижимает к груди.

– Выброси ты его, – просит Дашутка. – Давай будем жить, как жили.

– Да в уме ли ты, бросить! Теперь нас голою рукой не ухватишь! Богатенькие мы... Все женишки наши будут... Хи-хи-хи.

Говорит Финета Бог знает что, а сама одноглазо шмыгает по сторонам: куда найденное спрятать?

Побежала в пригон, там побыла, выскочила, как ошпаренная, да в баню. Из бани – в курятник. Из курятника – опять в пригон. Сама вся белая, колотится... Дашутку увидела, остановилась, страшно поглядела, кричит:

– Уйди! Чего доглядываешь? Уйди, нечистая твоя сила!

Поняла Дашутка, какой подарочек преподнёс Боровик тётке Финете. Убежала в избу, ревёт. Страшно ей за Финету, и отца, как нарочно, дома нет – в извозе Федот. А ещё тошней ревёт девка оттого, что лесного парня не может из головы выбросить.

Прошёл день впустую, ночь проползла темнее тёмного. Финета всё во дворе мытарится, всё золото прячет. А уж сама его давно куда-то засунула да вместо золота яйцо в руке держит.

Так и застал их утром Федот: одна слезами в нетопленной избе исходит, другая расплатилась, по двору бегают.

Федот только к сестре подступать, а она ему:

– Пошёл, пошёл, – кричит. – Явился вор. Много вас на моё золото...

У ограды люди стоят.

– Спятила, – судят.

Федоту и раньше приходилось бешеных-то видеть; давай он сестру вожжами вязать. Финета силой налилась, не даётся. Мужики помогли. Еле справились. В избу унесли Финету, на постель поклали.

Дашутка, плача, всё как есть отцу обсказала, только про парня опять язык не повернулся помянуть.

Ну уж тут и не колко, да прытко. Тут уж и Федот запоохивал:

– Ой, непростое задумал старик. Да кто ж его знает, кто он? Может, злой шутики ради, подсунул он вам в капусту жёлтый камешек, а вы тут с ума посходили?

– Золото, – шепчет Дашутка. – Оно и страшно, что золото. Простой камень таким тяжёлым не бывает.

– Тогда надо нам так сделать. Найти самородок, распилить поменьше и раздать тем же нищим. Может, тогда простит нас, грешных, твой старик. Ты, Финетушка, помнишь ли, куда самородок засунула?

Финета вроде послушалась, согласилась пойти показать. Развязал её Федот. Пошли искать. Одно место укажет Финета – нет ничего, второе... опять пусто... Долго бились...

– Ждать надо, – решил Федот. – Может, Боровик сам вернётся из лесу за своим добром.

Стали ждать. Месяц, другой проходит... Рождество на носу... Никто ничего. Никаких перемен. Финета больше не буйствует, но и в себя не приходит. Всё в землю смотрит: не то о чём-то вспоминает, не то забыть не может. Зима в самых морозах стоит, а старика и не чуется. Где уж тут про женихов говорить, простые-то люди стали обходить стороною Найдёнов дом. Боятся на свою голову беду накликать.

– Вон он, Боровик-то, какие подарочки раздаёт...

– Тут не до жиру, быть бы живу...

Сам Федот Найдёнов, на что мужик твёрдый, и тот домой идти не хочет. С мужиками стал где придётся дотемна просиживать. Так ведь и мужикам с таким гостем не очень весело: какая ж пляска на гнилом болоте?

Финета скоро и узнавать никого не стала. Раз как-то ушла из дому и не вернулась. Побежали искать. На речке над прорубью стоит и в воду командует:

– Отдай золото! Ишь космы-то распустил, глаза вылупил. А то слепым, старый чёрт, прикинулся!

Уговорили её, увели от воды, а ночью Дашутка проснулась оттого, что Финета над нею склонилась и слепо шарит по постели руками.

Поняла Дашутка: некогда больше ждать Боровика, надо ей самой к нему на поклон идти.

– Отыщу! – решила она. – А нет... Так уж лучше замерзнуть, чем так-то маяться. – И пошла.

Дошла она до того места, где брёвнышко у дороги лежит, и свернула в лес. А время самое лютое и снега столько, что по шею, гляди, где-нибудь увязнуть можно.

Сколько смогла Дашутка, прошла по такой оказии. Потом и ноги потеряла. И сама не помнит, на чём думка её остановилась. Сковырнулась она на ходу, и припала на мягкий снег, и притихла... Стоит кругом лес, не шелохнётся, куржак горит на солнце, деревья потрескивают. Уж и тепло вроде Дашутке. И видит она: дорога перед нею в снегу открывается, до самой земли протаивает высокий снег. Пошла Дашутка по той дороге... пошла и пошла... Кругом зима, а у неё брусника под ногами... А деревья кругом плотные, белые стоят, как терема сказочные! А и терема... Высокие, узорчатые! Дворы чистые... И стоит Дашутка с самого краешку, у чужой деревни, осталось только в улицу войти. Мимо малец весёлый бежит.

– Какая это деревня? – спрашивает Дашутка.

– Белояровка! – кричит малец.

– Вон что! – подивилась Дашутка и пошла вдоль дворов, любуется.

Всё прямо нарисованное... Собаки и те с повизгом лают, будто соскучились. Посреди деревни церковь стоит, на взгорочке... А с её колокольни благовест льётся. Люди нарядные к той церкви торопят-



ся. Дашутке тоже узнать хочется, какая радость у людей в будний день?

Подошла поближе, а там народ шумит:

– Невеста идёт. Невеста!

Взяли её в круг и ведут скопом на тот взгорочек, прямо к церкви. Хочет Дашутка пояснить народу, что-де с другою её спутали. Какая ж, мол, я невеста, когда и жениха-то в лицо не видела?

Не успела Дашутка подумать – вот тебе и жених! Навстречу из церковных дверей слепой старик торопится, руки к ней тянет. Что же это! Да что же это такое?!

И поплыли перед Дашуткою и церковь, и люди, и дома... Слышит бедная, ведут её куда-то, о чём-то спрашивают... Она кивает, вроде соглашается, а в голове ни памяти, ни мысли, ни заботы... Вот уж и кольцо на палец воздевают... Матерь Божья глядит на неё с иконостаса недобро, усмехается... А сердце так и стонет, так и рвётся на кусочки... И перед нею уже не лик Богородицы – безумное лицо тётки Финеты...

Дернулась Дашутка назад – жених за руку держит. И не слепой вовсе. А стоит рядом с нею парень тот лесной, улыбается.

– Ты чего придумал? – задохнулась Дашутка. – Какая тебе свадьба? Не для свадьбы я сюда шла. Зря ты в молодого перекинулся. Не пойду я за тебя. И колечко своё заberi.

Заплакала она от смелости, но своё долдонит:

– Чего ты натворил с моею семьёю? Уж ежели ты такой умелый да ловкий, так почему же у тебя не хватило ума понять тёткины корысти? Я ж тебе говорила: меня жалеючи, натворила она беды, меня и наказывай... А её прости, Христа ради!

Упала Дашутка лесному парню в ноги, и опять голова её пошла кругом. Качнулась она и память потеряла.

Когда же в себя пришла, уж она дома лежит. Рядом отец сидит, Финета суетится:

– Ой же, смертно напугала ты нас! Вовсе мёртвой была, когда тебя чужой человек из лесу принёс...

Федот себе с разговором лезет:

– Гляди-тко, доченька, со страху-то и мы с Финетою поумнели. Ну давай, поправляйся теперь.

А весною, когда Дашутка стала выходить на молодую зелень, по-

встречался ей на поляне добрый молодец. Он тут, в нашей таёжной земле, с другими учёными мужиками что-то полезное для людей искал.

Они прямо в нашей церкви и повенчались потом.

А когда стал он ей колечко на палец надевать – признала Дашутка колечко: то самое, какое зимой она лесному парню вернула. Вот она где, хитрость-то!

И всё-таки дело тут без Боровика не обошлось.



ОНЕГИНА ЗВЕЗДА



Внуку Илье

Илька Резвун был ещё каким подскокышем – у батьки своего на ладошке помещался, а уже тогда нырял да плавал по омутам-заводям речки Полуденки, что твой шурёнок-непоседа. И всё потому, что опять же батьку своего, Матвея Резвуна, повторил.

Был Илька в семье, после сплошного девчатника, пятым, каб не шестым приплодом. Зато последним. Потому, знать, и прирос он к отцову сердцу больше всякого сравнения. Селяне говорили, что раздели Резвунов хотя бы всё той же речкой Полуденкой – вода меж ними чистой кровью возьмётся!

Эта самая речка Полуденка больше всего и соединила их непоседливые души. Сам Матвей на речке таким был рыбаком да ныряльщиком, что сказывали, меньков¹ под водою зубами хватал. А то брался пронырнуть из проруби в прорубь.

Шибко тому вся округа дивилась. А надивившись, похваливала. А похваливши, поругивала. Особенно изводились тревогою всезнающие старухи. Они-то и пугали Матвея:

¹М е н ь – самая скользкая рыба.

– Гляди, чёрт везучий! Кабы твоего задору-смелости да водяной не присёк! И чего ты всё шныряешь по его наделам? Каку таку заботушку потерял ты в речке Полуденке? А и правда ли нами слыхана, что сулился ты Живое бучало¹ скрозь пронырнуть? Что ж, нырять-то нырни, да обратно себя верни. Хотя бы мёртвым, – добавляли они и дальше стращали. – Не было ещё такого удальца, кому провал тот измерить довелось. Когда-никогда, а доныряешься! Расщелкнёт тебя водяной, как сухое семечко!

– А может, я и есть тот самый водяной, что в Живом бучале обосновался? – как-то позубоскалил над чужими страхами Матвей Резвун. – Только скроен я не по привычным меркам. Разве вам не помнится, что пращурка моя, древняя бабка Онега, два века жила?

– Помнится. А то как же.

– Так вот, ежели б она своё бессмертие мне не передала, топтать бы ей землю и по сей день! Понятно? Потому я никаких глубин, никаких водяных не боюсь.

– Изгаляется над нами Резвун, – засуетилась меж говорух самая неуёмная страшалка Марьяна Лупашиха. – Вровень с недоумками ставит нас. Играется вроде с нами, старухами. Ничо-о! Доиграется бычок до верёвочки... Ежели его из-под воды никто не дернёт, так на бережок выбросит... Ведь мною чего слыхано: будто Матвей, ныряючи, рыбу под водой из чужих снастей выбирает! Он и сына своего Ильку тому же самому научает...

– Брось ты, Марьяна, золу поджигать! – тут же присекли её болкотню редкозубые товарки. – Что ж ты греха не боишься? Не такой уж кот вор, чтобы кобылу со двора свёл... Ежели не тобою самой придумана эка блажь, то какого-то лоботряса тянут завидки за язык. Наловивши, поди-ка, одних головастика, он от безделья и разбирается о Резвуне брехалки. А ты подбираешь...

– Так ведь моё дело дударево, – поторопилась оправдаться Лупашиха. – Я ить только дуду про беду, я к ней ноги не пришиваю. Но скажу и от себя: резвый конь подковы теряет. Помяните моё слово!

Вот ведь штука какая!

¹Б у ч а л о – бездонный омут.

Будто на чёрных картах выгадала та Лупашиха подтверждение своему пророчеству.

Да и сам Матвей Резвун как бы почуял правоту Марьяниных слов. В ночь, как тому быть, пошёл он с Илькою на сеновал отдыхать. Там и поведал сыну тайну, что завещала ему пращурка Онега в последний час своей непонятно долгой жизни.

По словам Матвеевым получалось, будто бы древняя Онега, будучи ещё в одних годах с теперешним Илькою, собственными глазами видела, как среди бела дня упала в речку Полуденку с высокого неба яркая звезда! Упала она туда, где верстах в трёх от деревни, ниже по течению, в кольце Колотого утёса ныне таится то самое Живое бучало.

В то время Онега не смогла всполошить народ своим испугом – свалилась замертво! И пролежала она без памяти аж трое суток. А после того долгую пору владела ею немота.

Будучи безъязыкой, она и додумалась до того, что о звезде лучше будет вовсе молчать. Одно дело – никто не поверит, другое – могут приписать безумие, а и того хуже – святость! Кто её тогда замуж возьмёт? Никто!

Вот так и прожила древняя Онега свой чрезмерно долгий век с великой в себе тайною.

Может быть, с годами, накопивши сомнений, она и сама бы колебалась в правде виденного. Однако с той самой поры правду её просветляло то, что вода в провале, прежде стоялая, теперь время от времени оживала – как бы принималась дышать. Омут разверзлся широкой воронкою, и всякий, кому выпадало быть тому очевидцем, бежал в деревню с криком:

– Бучало ожило! Снова хлебает...

И опять занимался тревогой народ! Гадали-перегадывали: ни ворочается ли кто в провале настолько большой да неуклюжий, что и всплыть-то ему нету никакой возможности...

Когда Онегин век перевалил за сто, сохраняя хозяйку в полной силе, сообразила она, что столь крепкую и долгую жизнь подарила ей полуденная та звезда за её молчание! Поняла и веры своей до самой смерти из головы не выбросила.

А умерла Онега очень даже завидно.

Притомившись топтать землю, она признала в себе ещё одну особенность: не избыть ей века своего до той поры, покуда носит она в себе замкнутой великую тайну. Вот тогда-то древняя Онега взяла и натопила жарко баню, выпарилась в ней, как душа того просила, обрядилась во всё смертное, легла на лавку и попросила остаться возле себя одного лишь Матвея. Ему-то она и поведала сокровенное. А поведавши, померла...

— С той поры и взялся я нашу речку обживать, по омутам-заводям упражняться, — признался Матвей сыну, когда лежали они на сеновале. — Хотелось мне к воде привыкнуть настолько, чтобы до самого дна пронырнуть Живое бучало. Мне и теперь хочется верить, что не погасла навовсе Онегина звезда! Вот и прикидываю — ни она ли ворочается в провале: пытается воротиться в небо? Не упомню, сколько раз кидался я в омут, только достичь его предела так мне и не довелось. Не получился, выходит, из меня тот самый ныряльщик, который способен дать звезде подмогу. На одно теперь уповаю: может, из тебя получится...

Высказал Матвей такую надежду, обнял своего любимца, и скоро они засопели в два носа на весь льготный сеновал...

Утром Илья распахнул глаза оттого, что мать тормошила да спрашивала его:

— Куда отец подевался, не знаешь?

Только за полдень, когда уже вся деревня полыхнула тревогой, бабу Лупашиху вдруг осенило. Вспомнила она, догадалась наконец:

— Так ведь то ж Матвей нонешней ночью да перед самым рассветом Полкана моего булыгой угостил...

И закрутилась старая меж людей — каждому взялась подносить по худому слову.

— Подхватила я темнотой от собачьего визга. Ни скотина ли, думаю, чья шалавая в огород мой запёрлась да кобеля рогом поддела? Выбегла я глянуть. Присмотрелась. Вижу — чей-то мужик берегом Полуденки в сторону омута ушагивает. Идёт и на звёзды широко-о так крестится — ну, точно, как перед смертью! Так до Живого бучала прямиком и подался. Теперь-то вот я вспомнила, что левой рукою он точно так же помахивал, как Матвей Резвун. Ночью-то его махание мне было ни к чему, а теперь понятно...

От Лупашихиного понимания Резвуниху пришлось водою отливать. Сёстры ж Илькины в шесть голосов так реванули, что парнишка в коноплю кинулся. Забился он в те зелены да и пробыл в них, сгорая душой, чуть ли не до новой ночи.

На закате Илька понял – не потуши он в себе слезою душевного пожара, пламя может охватить его голову, испепелить разум.

Однако мальчишке показалось больно стыдным ощутить на своих глазах мокрень, оттого он и припустил к реке, оттого и бросился в её глубину, где дал волю невидимым в воде слезам.

Нанырившись до одури, Илька доверил свою усталость волнам – дозволил реке нести себя неторопким течением, куда той вздумается...

И надо же было парнишке очнуться от забытья да прямо против Живого бучала.

С трёх сторон охваченный высокой подковой Колотого утёса, омут при закате отливал кровавым глянцем своего покоя. Кругом было тихо, безлюдно...

Не больно раздумывал Илька – доплыл до пологого за скалой берега, вышел на песок, глянул на вершину утёса. Не раз и не два сиживал он на обрывистой его кромке – смотрел на стальной покой омутовой воды. Все прежние разы провёл он там в ожидании – не покажется ль из глубины косматая голова чудища?

Но теперь, со слов отца, Илька понимал, что никакого чудища в провале нет. А если что и имеется, так скорее всего Онегина тайна. И что познавшему эту тайну держать её надо при себе, иначе – худо!

Вишь вот, затянуло Живое бучало Илькиного отца и ни единой морщинкою скорби не покорило его тяжёлого покоя. Сиди теперь, Илька, не сиди над омутом, вряд ли дожждаться ему добрых перемен...

Однако Ильку, который успел за невесёлыми думами подняться на утёс, будто приморозило до каменного среза. Так и досиделся он над провалом до той поры, когда завспыхивали, заотражались в омутовой глубине страшно далёкие звёзды...

С каждой минутою подводное небо густело этими неведомыми огнями, мрак меж ними густел и проваливался того глубже...

Вот и заподмигивали парнишке из чёрной бездны те огни – попро-

буй, дескать, пронырни до нас: может, здесь отыщешь своего отца? Нырять же. Ну!

Понятно, что за отцом Илька нырнул бы до того самого, до поддонного неба. Только ведь не пропустит омут. Не пропустит...

И тут вроде бы лёгкий ветерок пробудился внизу. Вспорхнул ветерок до парнишки, и в тёплом его дыхании тот явственно распознал отцовский шёпот:

– Пропу-устит!

Илька отпрянул от провала, неловко подвернулся, опрокинулся на спину и покатился безудержно с каменной крутизны к подножью Колотого утёса...

Весь в ушибах, царапинах, опомнился он только внизу. Немного посидел, посоображал – что к чему, и настырным неусеюю полез обратно. Ему захотелось удостовериться – на самом ли деле была тому причина, чтобы так потерять себя.

Добрался Илька опять до крутого края, но садиться над обрывом не стал, а лишь головою повис над ним и замер в ожидании.

Сколько он там ни проглядел вниз, а вот и видит – вода в провале задышала! Будто огромная живая грудь заходила туда-сюда. Глубина омутовая вспенилась, взялась обильными пузырями, забурлила, закрутилась и раздалась посередке просторной воронкою...

Была бы внизу сквозная дыра, вода бы в неё устремлялась постоянным самотоком. Тут же и вправду выходило, будто бы кто-то огромный сидит в глубине и время от времени разверзает немеренную пустоту... Пока Илька думал так, поверхность омута сомкнулась, ровно тот, кто сидел на дне, опомнился и захлопнул крышку.

Вот когда Илька задался отцовским рассказом всерьёз: что как и в самом деле закатилась в глубину Онегина звезда?! Что как ею заткнуло в омуте подземную протоку? Звезда ворочается там, рвётся на волю, да не хватает в ней силы одолеть водяную тягу. Эвон какое жерло-то просторное отворяется! А вода каково рвётся вниз! Что как потоком этим да захватило отца? Да унесло Бог знает куда? Может, сидит он теперь в какой-нибудь глубине, кличет на подмогу сына, а голос его из невидимой расщелины идёт наружу. Эх, взять

бы теперь Ильке да кинуться в ту широкую воронку! Вдвоём-то они с отцом уж как-нибудь выбрались бы наружу...

Вот какие отчаянные думы наложило на Илькино сознание! Отворись перед ним заново Живое бучало, он этих дум и отбросить бы не успел – так бы вниз головой и кинулся со скалы...

И Живое бучало отворилось!

Уже на великой глубине почуял ныряльщик, как вода сомкнулась над ним, завертела, закружила его малой соринкою, упругим обвоем¹ потянула за собой вниз, вглубь, в неведомое...

Скоро Илькина голова от бешеной карусели потеряла ясность, дурнота подступила к горлу, а там и вовсе – заволокло память безразличием...

Снова живым человеком понял себя парнишка тогда, когда осознал вокруг толщу совсем спокойной воды; ему оставалось только лишь разок-другой отдать ногами да руками гребануть, чтобы привычно подняться на поверхность, что Илья и проделал машинально. Вынырнул парнишка и сразу же почуял в душе досаду. Похоже было, что пронырнуть ему никуда не удалось. Видно, Живое бучало вытолкнуло его обратно к материнским слезам, непоправимому горю. Только вот над собою не увидел он ни тех небесных огней, ни чёрных в ночи стен Каменного утёса. Не почуял он и земной сумеречной прохлады. Да и слух его настороженный не уловил ни шуршания речной воды, ни дальнего брёха деревенских собак, ни близкого стрекота луговой кобылки...

По духоте, по тишине, его обступившей, Ильке показалось, что он вовсе и не выныривал из воды!

«Когда это столь плотная туча успела заполнить небо? – подумалось Ильке. – Ажно земля перед грозой задохнулась».

Подивился он спёртому воздуху и размахкою пустился до невидимого предела, чтобы ощупью отыскать выход на реку.

Но никакого скорого предела перед собою он не обнаружил. Становилось похожим, что вынесло его потоком в какой-то неведомый простор и теперь парнишке оставалось надеяться только лишь на везение.

Илька уж забеспокоился всерьёз, когда перед собой ущупал ру-

¹О б о й – спираль, винт.

кою плоский да ровный, вроде скамьи, камень. Парнишка вылез из воды, устроился на нём, стал гадать, в какой такой глуши мог он оказаться за столь недолгое время? Ничего не выгадал и потому решился подать голос: не вскинется ли на крик какая-нибудь чуткая собачонка? А повезёт, так, может, откликнется запоздалый рыбак...

Никакая собачонка, никакой рыбак на зов не отозвались. Да Илька и сам-то путём не расслышал своего голоса – так глухо прозвучал он в темноте. Зато, немного спустя, на крикуна обрушилась целая лавина отголосья, будто бы надумала дразнить его из темноты ярая ватага злых озорников.

Однако темноте на этот раз не удалось обмануть Илью. Он вдруг сообразил, что раскололо его тревогу подземное эхо.

Стало понятным – поток и в самом деле затянул его в какую-то пещерную пустоту, наполовину залитую водой...

Илька прислушался – не последует ли за угасающим эхом ответный голос отца? Но ожидание никаких перемен не принесло. Выходило так, что либо отец погиб, либо вовсе его тут не было. Тогда кто ж подавал Ильке голос? Морока? Что ж тогда получается? А получается то, что парнишка зря отчаялся нырнуть в омут. Зря!

И тут Илька представил себе бедующую наверху мать. Теперь она наверняка хватилась не только отца, но и сына. Представил Илька мать, и сам забедовал окончательно. Такая ли безысходность навалилась на него, такая ли память разыгралась, что и получасу не минуло, а уж ему стало казаться, что он в западне своей больше году сидит. А вот уж, гляди, и почудилось малому, что зовёт его, кличет голос матери. Да и не голос то вовсе, а скорее всего само отчаянье. Будто бы материнская душа оставила тело, проникла в подземелье и заполнила собою всю чёрную пустоту. И вот теперь, заодно с Илькою, она, в страхе перед бесконечной разлукою, и тоскует, и мятётся, и жалуется...

Скоро материнская боль сделалась для Ильки настолько доступной, что он мог бы словами пересказать её. Да вот только из пересказа складывалось что-то этакое не совсем понятное. Получалось-выходило так, будто бы каким-то боком Илька оказался причастным не к одним страданиям матери родной, а изнывает в нём и неведо-

мая ему, какая-то неземная душа. Вроде сочится она в подземелье откуда-то из межзвёздной бездны, проникает в парнишку и теснится в его и без того трепетном сердце как бы его собственным отчаяньем и его же собственной болью пытается растолковать ему что-то, край как необходимое. Вот и слышит в себе Илька явную скорбь оттого, что

до чего же страшна доля матери,
у которой сын, точно как Илья,
в западню попал по случайности.
Уж не час, не день
и не год земной –
третий век идёт ожидание...
и терзаться ей страшной мукою,
безотвязною
нескончаемо!
А и жить она не живёт теперь,
и глаза закрыть нет возможности...
Лишь одно в удел остаётся ей –
день и ночь просить мироздание,
чтоб оно мольбу материнскую,
не рассеявши, приняло в себя,
унесло бы в даль бесконечную,
заронило бы в душу добрую,
в ту, которая согласилась бы
своей волею пособить в беде;
в ту, которая своей жалостью
через смертный страх несуразности
до конца пройти
пожелала бы...

Сидит Илька на камне, вслушивается в то, что помимо воли изливается в темноте из его сердца, и понимает – что странная в нём кручина звучит уже заклинанием, от которого начинает как бы оживать глубина подземного озера.

Поначалу робкими, потом всё более решительными световыми штрихами вспыхивают и обрисовываются в толще воды какие-то занятные знаки. Получается так, будто сидит в озере некий искусный мастер изображения и молниеносно прочёркивает воду тлеющим концом лучины...

Вот быстрые линии осмелели, перестали гаснуть и принялись смыкаться да заполнять охваченное собою пространство мерцанием разного цвета...

Илькою же озёрное представление воспринималось так, словно бы неведомая, далёкая чья-то мать надеется таким способом ознакомить его с чем-то позарез необходимым, приблизить его к чему-то необычному и одновременно не напугать его внезапностью...

Понимал парнишка ещё и то, что, пожелай он, и в подземелье придёт прежняя тишина и темь. А может и такое произойти, что он вовсе очнётся ото всей этой наволоки и вдруг очутится дома, на сеновале, под боком у своего отца...

Однако же, наряду с пониманием, Илька того острее осознавал боль вечной разлуки, потому и встряхивал упрямой головою – как бы отнекивался, покуда быть отпущенным на волю. При этом он старался не отрывать глаз от озёрного чародейства.

А в глубине, мастерством прямо-таки обаянного своим чудесным умением живописца, уже распускались цветы прелести несказанной! Они живым ковром выстилались по огромной чаше озёрного дна, всползали по крутым уклонам боковин до самой поверхности, струили красочным многоцветием покой и надежду...

Постепенно всякая тревога отпустила Илькино сердце. А в подземелье уже звучал голос не безысходной тоски – напев уверения и согласия...

В чистой озёрной глубине Илька мог различить теперь даже самые малые лепестки чудесного сплетения. Ему становилось всё догадней, что перед ним открывается не случайная красота какой-то неземной природы, а видит он творение ума! Узоры по живому коврику были наведены с великой выдумкой и явным повторением. Перед Илькою красовалось не то разубранное чьё-то гнездо, не то богатый покой. Покой тот имел на глубине сводчатый выход куда-то под скалу...

Недавнее Илькино представление о возможном водяном или о большеротом чудище со всем тем, что представилось его глазам, никак не вязалось. Не может в такой красоте обитать лихая жизнь – так подумал парнишка и без особой тревоги уставился на ту дыру. Он ждал непременно появления в мерцающем свете сказочной мор-



ской владычицы, прекрасной и печальной, как сам голос подземелья. Но из темноты сводчатого проёма осторожно высунулась гибкая, узкопалая, только до запястья голая лапа. Выше того она была покрыта не то поседелой ухоженной шерстью, не то порослью жемчужной, стриженной травы.

В переливе дрожащего света лапа повела туда-сюда распушенной, похожей теперь на плавник, пятернёй. Ей вроде бы хотелось дозволить Ильке полностью разглядеть себя. Затем она добавилась точно такой же второю лапой. Обе они сцепились в пожатии, потянулись в сторону Ильки и откровенно его поприветствовали...

Парнишка от воды не отпрянул, а ещё с большим интересом взялся наблюдать, что будет дальше? А дальше, понятно: следом за лапами образовалась в проёме голова. Сплошь покрытая мелким пластинчатым перламутром, она была увенчана красным продольным гребнем. Гребень брал своё начало от самого переносья, уходил через темя на затылок и дальше, на захребетье. По обе стороны его основания блестела пара ярких зелёных вздутин. Они сильно смахивали на глаза лягушки. Эту зелень подчеркивал толстый выворот жёлтых губ.

Если бы на голове имелись хоть какие-то уши, можно было бы сказать, что жёлтый рот растянут до ушей – так зеленоглазая улыбалась Ильке. Чуток приотворяясь, улыбчивый рот выпускал те звуки, что наполняли подземелье и ласково проникали в Илькину душу. Это пение было теперь посулой долгого возможного счастья – если у Ильки хватит терпения довести дело до конца...

Скоро желтогубая улыба образовалась в глубине полным видом своим. Сплошь покрытая седой шерстью, она была поставлена своею природой на перепончатые красные плюсни¹. Сама небольшая, Илькиного росточку, она владела великим хвостом. Хвост не метёлкой, не верёвкой – лёгким шлейфом колыхался за её спиной. Был он окаймлён цветными блёстками, а сам сплошь искрился, будто свежий снег в полнолуние.

Красотища невероятная!

Если бы да существо это имело какую-нибудь мрачную окраску,

П л ю с н я – широкая стопа.

Ильке, может быть, показалась бы и не очень приятной его необычайность. Могла бы вновь зародиться в нём тревога при виде этой, из всех видов собранной, живности. Но естественный ли наряд красавицы, придуманный ли добрым разумом столь ладный костюм её до такого согласия сливался с чистотою голоса, что парнишка напрочь забыл о себе. К тому ж зеленоглазая взялась извиваться гибким телом да медленно кружиться на всплыве, почти полностью укрытая кисеёю сверкающего хвоста...

Порою красавица оказывалась так близко от Ильи, что тот мог ухватить её за шлейф. Но лишь пробовал он пошевелиться, как сразу же осознавал ненадёжность, одну только видимость происходящего. А он пока не желал никаких перемен и потому затаивался вновь — ждал, что будет дальше.

А дальше? Дальше зеленоглазая красавица вдруг прилипла телом до крутого озёрного уклона, маленько перевела дух, шевельнула гребнем и побежала по боковине, как по ровному полу.

На близкой глубине, против Ильки, она остановилась, подождала чуток, затем осторожно принялась всплывать к поверхности воды. Зелень её глаз была уставлена прямо на Ильку! И хотя человеческих зрачков среди той зелени он не обнаружил, однако неудобство передалось ему точно такое, какое зарождается в любом из нас при чужом дерзком внимании.

Но не сморгнуть, не отвернуться от пристального глядения Илька уже не сумел — его так и приковало полным вниманием к тем лягушачьим наростам, хотя ни злонамерения, ни алчности какой в красавице по-прежнему не чувствовалось. Во всем её виде была лишь мольба...

Как у неё такое получалось, понять Илька не мог. Он только ясно осознавал, что бояться ему нечего, что видимое всего лишь призрак, отражение далёкой подлинности. Что этот мираж сотворён силою бескрайнего горя где-то в межзвёздной пропасти и неимоверной материнской верностью направлен сюда. Как всякой мороке, ему не дано обратиться плотью, но и раствориться теперь уже немыслимо, потому как не выдюжить повторения! О, как слаб он перед неимоверной далью, куда как, может быть, слабее Ильи, оказавшегося в западне.

И ещё зеленоглазая заверяла парнишку в том, что лишь обоюдное их согласие, обоюдная подмога способны вызволить и того, и другого из непонятности, избавить от беды. Но для того, теперь же, надобно Ильке, волею подсказанного ею воображения, оборотиться мерзким гадом, способным одолеть какие угодно глубины, уклоны и пролазы; гадом, наделённым неимоверной силою, ловкостью, цепкостью...

И не только осознавал Илька такую необходимость, он уже успел когда-то почуять себя многоногим, огромным, косматым пауком!

Им-то парнишка, не раздумывая больше, и нырнул в озеро. Махнул он косматыми лапищами раз, другой и вот, гляди, оказался в окне какого-то колодца. Колодец стволом своим уходил в чёрную неведомую высоту.

Илька легко оставил воду и проворно побежал по отвесной стене колодца...

Скоро подъём осёкся, круто завернул в сторону, оказался узким пролазом, который заставил Ильку удивляться тому, как это удаётся ему каждой шерстинкой на теле чують самый малый впереди выступ, загодя зная любой подъём и поворот. А сколь верно, сколь ухватисто действовали его ноги, сколь надёжна была в них жилистая сила! Сколь неуклонно желание пройти до предела взятый путь...

Наслаждаясь полнотою своих новых способностей, человеческое в пауке завидовало ловкому гаду, хотя больно-то увлекаться этой завистью Ильке было некогда. Его несла и несла вперёд тупая сила направленной к бесповоротной цели многоногой твари...

Скоро Илька почувствовал впереди глухую стену. Вот его паучьи лапы нащупали помеху; человеческий же рассудок подсказал парнишке, что расщелина в скале пресечена вовсе не каменной преградой, а, скорее всего, каким-то щитом, покрывкою ли. В неё-то и не замедлил Илька тут же удариться тараном; перегородка отозвалась долгим, тихим гулом. Так отзывается на хлопок ладонью огромный, но чуткий колокол. Для верности Илька шибанулся в перегородку ещё разок и вдруг почуял, что она шевельнулась, вроде как пожелала отодвинуться в сторону. Но не смогла одолеть неведомой тяже-

сти и потому осталась на прежнем месте. Её, видать, заклинило в скальной расщелине.

Косматому гаду в Ильке сразу же потребовалось порушить помеху. Он с тупой, остервенелой силою рвущейся к выживанию твари упёрся растопыренными лапами в каменные стены лаза, резко ими выпружинил и паучьим своим хребтом ударил в перекрытие!

Илька ещё успел услышать, как над ним что-то хрястнуло, затем опрокинулось, дало ему тупым краем по спине и... вновь водяной бешеный поток узлом скрутил все его паучьи лапы, поволок обратно – вглубь, вниз, в подземную западню...

На этот раз осознал себя Илька живым оттого, что слышалось ему далёкое петушиное пение. Сразу привиделась мать. Она шла мимо, не касаясь ногами земли. Вся чёрная и слепая! Встречный ветер пытался развеять её черноту, да не мог. Только зря рвал на ней платок и просторное платье...

Илька вдруг понял: теперь идти ей да идти такою чёрною до самой оконечности земной, а там и до смерти, а там и того дальше...

Сердце в парнишке захолонуло от жалости. Он потянулся к видению, крикнул:

– Мама!

И сразу же солнце опалило ему глаза. Во всё горло грянул на заплоте петух своё победное кукареку, заговорили радостные голоса:

– Во! Очухался! Гляньте-ка!

– Поди ж ты, живучий какой!

– Так то ж Резвун – чему тут удивляться? Им всем по крови от древней Онеги живучесть досталась...

И тут до Ильки дошло, что лежит он, ровно малец какой, на отцовых руках. Улыбчивый родитель так глядит в его глаза, будто бы ему всё как есть известно – ничегошеньки не надо Ильке ни спрашивать, ни рассказывать. Так всё хорошо, столько покою!

А некоторое время спустя не отходивший от постели ещё долго слабого сына Матвей Резвун среди ночи разбудил Ильку, поднял его на ноги, потихоньку от всех семейных вывел за недалёкую околицу, сказал:

– Гляди!

И вот. Над рекою Полуденкой, над тем самым местом, где покоилось Живое бучало, медленно засветилась чистая зарница. Она чуток подрагивала, разгораясь, словно бы ей спросонья немного было зябко подниматься в ночной прохладе.

Вот она, как бы нехотя, оторвалась от вершины Колотого утёса, неспешно сгустилась, вспыхнула и... вдруг пошла ввысь! Полоснула по небу яркой звездой и вскоре затерялась среди своих сестёр...



СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
Соболёк-королёк.....	7
Акентьево озеро.....	20
Медведко	32
Таёжная кладовая	41
Кириянова вода	47
Чужане	66
Федорушка седьмая.....	92
Память выдумки	99
Пройда	135
Пантелей Звяга.....	146
Куманьково болото	155
Берегиня	194
Земляной дедушка.....	222
Старик-Боровик	251
Онегина звезда.....	263

**Таисия Ефимовна
Пьянкова**

БЕРЕГИНЯ

Редактор Н. К. Герасимова

Технический редактор В.В. Злобина

Корректор Т. Ю. Сенокосова

Подписано в печать 20.05.13. Формат 70х100/16.

Усл. п. л. 22,75. Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз.

ООО «Сибирское книжное издательство».

630099, Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 33. Тел.: 227-09-67.